З4Р6
Б44

Библиотека Атамура

Герольд

БЕЛЬГЕР



529080

ДОЖДЬ СО СНЕГОМ

Герольд

БЕЛЬГЕР

Рассказы и миниатюры

ДОЖДЬ СО СНЕГОМ

АЛМАТЫ
«АТАМҰРА»
2005

ББК 84 Нем 7-44
Б 37

Бельгер Г. К.
Б 37 Дождь со снегом. Рассказы и миниатюры.– Алматы: Атамұра, 2005.– 360 стр.

ISBN 9965-34-171-0

В книгу лауреата премии Союза писателей Казахстана им. Б. Майлина, премии Казахстанского ПЕН-центра, известного казахстанского прозаика, переводчика, публициста и эссеиста Герольда Бельгера вошли рассказы и миниатюры.

529080

Б 4703010100–028 / 418(05)–2005 Без объявл., 2005 ББК 84 Нем 7–44

ISBN 9965-34-171-0

© Бельгер Г. К., 2005
© Издательство «Атамұра», 2005

Северо-Казахстанская
областная библиотека
им. С. МУКАНОВА
г. Петропавловск

ТАМ, В ДОЛИНЕ

Автобусная станция на краю большого города ошарашила многоголосицей и буйством резких, диковинных красок. От пестрой толпы, сновавшей взад-вперед, рябило в глазах. Разноязычный говор, среди которого явственно выделялся гортанный тюркский, взмывал к выгоревшему знойному небу и плыл густо, слоисто, перемешанный с терпким духом восточных яств.

Возле кассы, картинно-небрежно избоченясь, взгогатывала ватажка кудлатых парней в батниках навыпуск и обтерханных джинсах. Загорелые, обросшие, заметно возбужденные, они, должно быть, стерегли окошко кассы, твердо решив никого не пускать к нему близко. У ног их бугрились, точно оседающие, грязные сугробы, пыльные, в бурых пятнах рюкзаки. Поблескивая молодыми крепкими зубами, парни смачно обсасывали палочки шашлыка и с видимым удовольствием острили. Временами их неистовый гогот взламывал монотонный гул станции, и тогда седобородые старики, удобно устроившиеся на скамейках неподалеку, укоризненно косились в их сторону.

– Астафиралла!

– Сдурели, что ли? Или огненной водицы хлебнули?

– Молодые, беззаботные... вот и горланят.

– Да простит их аллах!.. В ауле все такие смирные, учтивые, а вырвутся на волю – дичают.

Старики, в стеганых халатах, в мягких сапожках-ичигах, полукругом расположились вокруг маленькой старушки в черном плюшевом камзоле и высоком белом тюрбане и, по-домашнему облокотившись на туго набитые полосатые сумы-курджуны, потягивали из крохотных пиалушек зеленый чай. Видно, спешить им было особенно некуда, и весь мир вокруг воспринимался ими родным домом. В середине круга возвышались два объемистых термоса.

Стайка девушек в длинных цветастых платьях и вышитых тюбетейках, держа в руках замасленные кульки,

лакомилась в сторонке горячими и круто поперченными, исходившими острым соком мантами. Стройные, легкие, девчонки весело щебетали, то сторожко оглядываясь на стариков, то постреливая искрящимися черными глазами в сторону живописных парней возле кассы.

На маленький пятачок перед станцией время от времени выруливали, тяжело колыхаясь, громадные автобусы, и тогда к ним отовсюду, точно на приступ, опрометью кидались толпы пассажиров. В душном, раскаленном воздухе бились-трепетали хриплые голоса:

— Кому шашлык — подходи!

— Кому манты — бери, бери!

— Самса, самса — лучшая еда. Спеши сюда!

— Эй, эй — кумыс пей!

— Шубат, шубат!

— Чебуреки, чебуреки!

Одуревший от гомона и людской суеты серый ишачок возле фонарного столба застриг ушами, завопил:

— И-ааа! И-ааа!..

Все вокруг колыхалось, бурлило, шумело, клокотало, полыхало яркими красками, исходило ором, куда-то спешило.

Прибыл я сюда несколько часов назад из чинного, опрятного Рижского взморья, где пробыл около месяца, и памятью я находился еще там, в благопристойных зеленых, ухоженных городках со звучными именами, и во мне еще жили, звучали торжественно-величавые раскаты прославленного органа и таинственное дыхание многовекового собора, а здесь буйствовала живая, неуемная плоть многоликой Азии, и разительный контраст этот как-то особенно резко бросался в глаза и даже ошеломлял.

В ожидании автобуса я слонялся по автостанции и ловил себя на мысли, что волнуюсь, что возбужден предстоящей встречей с Хайнрихом, двоюродным братом моим, которого, чудится мне, знаю всю свою сознательную и немалую уже жизнь, но еще ни разу не видел.

Так все сложилось.

Уж больно сокрушительным оказался ураган прошедшей войны, так нещадно разметавший моих близких и дальних родственников, что даже теперь, многие десятилетия спустя, все еще не со всеми удалось свидеться. Хайнрих — теперь самый старший после моего отца из некогда вполне внушительного по численности нашего, так сказать, клана. Из разных источников ведомо мне, что

после долгих житейских мытарств и неурядиц, в которых, понятно, не всегда он один бывал виновен, обосновался мой двоюродный брат на юге, сошелся с вдовой, односельчанкой еще по тем, давним, будто в ином веке, временам, еще с Поволжья, построил дом, обзавелся хозяйством и ныне охотно приглашает к себе со всех концов страны разросшихся потомков по линии Карлсонов-Науман-Зельцер. Дождь времени основательно размыл некогда крепкий фундамент родственных чувств, иные истончившиеся, хрупкие нити и вовсе оборвались, и Хайнрих на склоне своих лет, должно быть, задался целью каким-то образом укрепить ослабевшие родственные узы, соединить — насколько возможно — оборвавшиеся нити родственных связей хотя бы в третьем-четвертом поколениях, если, разумеется, вести счет не с очень уж давних предков, а конкретно с нашего с Хайнрихом деда. Честно говоря, о более древних предках ничего путного нам и не ведомо. Даже от деда сохранился один-единственный документ — полуистлевший послужной лист, выданный ровно сто лет назад уездным воинским начальством. Из этого документа явствует, что наш дедушка пять лет исправно служил в Александровской бригаде пограничной стражи и что в кампаниях не был, медалей и знаков отличия не имел, состоя на службе, ничему не обучался, довольствовался выданными ему казенными вещами и штрафован тоже не был. Должно быть, стражник-рядовой Фридрих Генрихов Карлсон отличался тихим, кротким нравом и вполне соответствовал распространенному законопослушному типу поволжских немцев, всю жизнь усердно копошившихся в скудной земле, чтобы хоть как-то удержаться на плаву жизни. Правда, это не помешало ему произвести на белый свет довольно многочисленное потомство, хотя, по свидетельству того же послужного листа, в тридцатилетнем возрасте он был еще холост.

Вот и стекаются теперь к Хайнриху со всех сторон необъятной нашей родины двоюродные, троюродные братья и сестры, дядья, тети, племянники, внуки, зятья, снохи, свояченицы и золовки, свояки и шурины, сваты и свахи и даже такие, чьи родственные отношения к давным-давно истлевшим в земле родителям Хайнриха определить становится почти невозможным. Всех, всех без исключения радушно привечает, однако, Хайнрих со своей Эмилией. И неназойливо, без нудных назиданий исподволь внушает всем простые истины о святости род-

лакомилась в сторонке горячими и круто поперченными, исходившими острым соком мантами. Стройные, легкие, девчонки весело щебетали, то сторожко оглядываясь на стариков, то постреливая искрящимися черными глазами в сторону живописных парней возле кассы.

На маленький пятачок перед станцией время от времени выруливали, тяжело колыхаясь, громадные автобусы, и тогда к ним отовсюду, точно на приступ, опрометью кидались толпы пассажиров. В душном, раскаленном воздухе бились-трепетали хриплые голоса:

— Кому шашлык — подходи!

— Кому манты — бери, бери!

— Самса, самса — лучшая еда. Спеши сюда!

— Эй, эй — кумыс пей!

— Шубат, шубат!

— Чебуреки, чебуреки!

Одуревший от гомона и людской суеты серый ишачок возле фонарного столба застриг ушами, завопил:

— И-ааа! И-ааа!..

Все вокруг колыхалось, бурлило, шумело, клокотало, полыхало яркими красками, исходило ором, куда-то спешило.

Прибыл я сюда несколько часов назад из чинного, опрятного Рижского взморья, где пробыл около месяца, и памятью я находился еще там, в благопристойных зеленых, ухоженных городках со звучными именами, и во мне еще жили, звучали торжественно-величавые раскаты прославленного органа и таинственное дыхание многовекового собора, а здесь буйствовала живая, неуемная плоть многоликой Азии, и разительный контраст этот как-то особенно резко бросался в глаза и даже ошеломлял.

В ожидании автобуса я слонялся по автостанции и ловил себя на мысли, что волнуюсь, что возбужден предстоящей встречей с Хайнрихом, двоюродным братом моим, которого, чудится мне, знаю всю свою сознательную и немалую уже жизнь, но еще ни разу не видел.

Так все сложилось.

Уж больно сокрушительным оказался ураган прошедшей войны, так нещадно разметавший моих близких и дальних родственников, что даже теперь, многие десятилетия спустя, все еще не со всеми удалось свидеться. Хайнрих — теперь самый старший после моего отца из некогда вполне внушительного по численности нашего, так сказать, клана. Из разных источников ведомо мне, что

после долгих житейских мытарств и неурядиц, в которых, понятно, не всегда он один бывал виновен, обосновался мой двоюродный брат на юге, сошелся с вдовой, односельчанкой еще по тем, давним, будто в ином веке, временам, еще с Поволжья, построил дом, обзавелся хозяйством и ныне охотно приглашает к себе со всех концов страны разросшихся потомков по линии Карлсонов-Науман-Зельцер. Дождь времени основательно размыл некогда крепкий фундамент родственных чувств, иные истончившиеся, хрупкие нити и вовсе оборвались, и Хайнрих на склоне своих лет, должно быть, задался целью каким-то образом укрепить ослабевшие родственные узы, соединить – насколько возможно – оборвавшиеся нити родственных связей хотя бы в третьем-четвертом поколениях, если, разумеется, вести счет не с очень уж давних предков, а конкретно с нашего с Хайнрихом деда. Честно говоря, о более древних предках ничего путного нам и не ведомо. Даже от деда сохранился один-единственный документ – полуистлевший послужной лист, выданный ровно сто лет назад уездным воинским начальством. Из этого документа явствует, что наш дедушка пять лет исправно служил в Александровской бригаде пограничной стражи и что в кампаниях не был, медалей и знаков отличия не имел, состоя на службе, ничему не обучался, довольствовался выданными ему казенными вещами и штрафован тоже не был. Должно быть, стражник-рядовой Фридрих Генрихов Карлсон отличался тихим, кротким нравом и вполне соответствовал распространенному законопослушному типу поволжских немцев, всю жизнь усердно копошившихся в скудной земле, чтобы хоть как-то удержаться на плаву жизни. Правда, это не помешало ему произвести на белый свет довольно многочисленное потомство, хотя, по свидетельству того же послужного листа, в тридцатилетнем возрасте он был еще холост.

Вот и стекаются теперь к Хайнриху со всех сторон необъятной нашей родины двоюродные, троюродные братья и сестры, дядья, тети, племянники, внуки, зятья, снохи, свояченицы и золовки, свояки и шурины, сваты и свахи и даже такие, чьи родственные отношения к давным-давно истлевшим в земле родителям Хайнриха определить становится почти невозможным. Всех, всех без исключения радушно привечает, однако, Хайнрих со своей Эмилией. И неназойливо, без нудных назиданий исподволь внушает всем простые истины о святости род-

ственных чувств, об единстве, человеческой близости, любви, доверии, долге. Насколько мне известно, Хайнрих отнюдь не грамотей и не силен в отвлеченном мышлении, в выражении неких глобальных, основополагающих постулатов, он, судя по его редким письмам ко мне, и слов-то таких не знает, по крайней мере, вполне обходится без них, но каким-то для меня непостижимым образом он утверждает в сознании своих гостей-родичей значительную мысль о том, что у каждого поколения, естественно, своя жизнь, но молодые должны помнить о пережитом старшими, должны чувствовать их время и знать их чаще всего непростые пути-дороги, их судьбы, иначе оборвется магическая связующая нить, и вырастет сытое, бездумное, безродное племя. А что такая опасность существует, Хайнрих отчетливо видит в повседневной жизни. И это, кажется, его тревожит, пугает.

Давным-давно раздобыв мой адрес, Хайнрих и меня не однажды настойчиво приглашал к себе, и я тоже не раз намеревался съездить к нему, приникнуть, причаститься к тому необъяснимому, невыразимому, что живет в нас, и что, может быть, зовется тягой к прошлому, к непроходимому, неосознанным стремлением к истокам нашим. А Хайнрих для многих наших сородичей является теперь как бы живым воплощением той жизни, ушедшей безвозвратно, навсегда, осколком, отголоском общей судьбы нашей, которая хоть и всего-то на несколько шагов, но все-таки поближе к тем истокам, по которым душа нет-нет да и испытывает подобие неясной тоски, как по детству или как по чему-то необратимому.

«Приезжай, — писал в последнем письме Хайнрих. — Не пожалеешь. Обещают нынче приехать...» И дальше шел длинный список тех, кто собирался на исходе лета приехать к нему, и подробное объяснение, кто есть кто и кем кому приходится по отцовской и материнской линиям.

С некоторых пор меня охватывает странное желание отрешиться от повседневной, привычной суеты, от всех нескончаемых и нередко монотонных дел и остановиться, вслушаться в себя, оглянуться назад, услышать то, что некогда тебя окружало, томило, радовало и выплеснуло в нечто огромное, беспредельное, что именуется Жизнью. Мне хотелось бы определить и уяснить хотя бы для себя это состояние, нащупать его оттенки, весь этот сумбур, хаос, выразить все это в пределах своего чувственного опыта, но все мои попытки ни к чему не приводили, мысль

неизменно дробилась, растворялась в бездонных, необозримых человеческих судьбах, и слова упорно ускользали, уводили в дебри, откуда не было выхода.

— Оу, кого я вижу! Ты-то откуда здесь взялся? С неба свалился? Из-под земли вырос?

Я не сразу нашелся, что сказать, увидев перед собой еще более раздобревшего увальня Нукена. Был он, как всегда, возбужден, шумен. Щекастое лицо лоснилось довольством. Густая грива с легкой проседью буйно разметалась, широкие ноздри раздувались. Он заграбастал меня по-медвежьи, потискал, словно испытывая мои кости на крепость, загудел, загрохотал без умолку, без перехода, восторженно:

— Эй, хорошо получилось! Прекрасно! Кстати! Лучше быть не может! Просто тамаша! Аллах видит, тамаша! Поедешь со мной! Увидишь мой край! Мой эль! Мою обитель! Моих родных! Моих земляков!

Нукен прямо-таки захлебывался от восторга, от избытка чувств, голос его нарастал с каждым словом, как бы взмывал все круче, накаляясь в неудержимом пафосе. Можно было подумать, что для него не было высшего счастья, чем встретить меня здесь, на шумной станции. Он не дал мне опомниться, хотя бы смекнуть, что к чему, хватал меня за руку, дергал за пуговицы, хлопал по плечу, колотил в грудь, увлекал куда-то, гудел над моим ухом:

— Здорово! Как раз тебя не хватало в нашей компании. Поедем! Сейчас же! Место есть. Вон видишь — две райкомовские машины стоят. Надо будет — третью возьмем. Меня знают! Мне дадут! Поедем, друг мой, брат мой!

Я с трудом выбрался из-под лавины нукеновских слов, и пока он переводил дыхание, чтобы обрушить на меня новый поток восторга, спросил:

— Подожди. Объясни толком: куда меня зовешь, чудак?

Нукен тряхнул густой гривой, вновь завелся:

— Как куда? Он еще спрашивает! Не знаешь, что у меня нынче юбилей? Забыл, что твоему другу стукнуло пятьдесят?! Не помнишь, что родина моя, мой эль жаждет чествовать меня — своего сына, своего джигита, своего азамата, своего сокола?!! Вот и едем в родные аулы, туда, где пуп резан, понимаешь? Недалеко отсюда, считай, рядом, менее ста километров. На райкомовских вороных нас мигом домчат. А там — о-о-о! Сам знаешь: от пуза наешься свежей баранины, казы, карта, жал-жая, шужык, напьешься всласть кумысу, шубата, местных певцов послушаешь,

кюйши-домбристов, каких в столице нет, айтыс будет, кокпар будет, той будет. Подарками завалят! О-о-о, что и говорить! Край родной — золотая колыбель. Посмотришь, как мой эль ценит меня. Да и вас, друзей моих, по достоинству приветит-обласкает. Вот, познакомься!

Я только теперь заметил внушительную свиту Нукена — все сплошь видные из себя, холеные джигиты, знающие себе цену и исполненные достоинства столичные гости, в вельветовых костюмах, в кожаных пиджаках, при галстуках, отутюженные, выбритые, надушенные, будто не в отдаленные аулы собирались, а своих жен-келиншек дожидаются у парадного театрального подъезда.

Нукен все той же восторженной скороговоркой начал представлять своих спутников: один из них оказался композитором, и звали его Такен; другой — поэт-импровизатор по имени Накен; третий — преподаватель, доцент Сакен; еще двое — Бокен и Токен — корреспонденты газет, в обязанность которых, надо было полагать, входило писать репортажи о встречах юбиляра-писателя со своими читателями-земляками; еще один, Жукен, был фотограф...

— А? Какова компания? Каков юбиляр — таковы и спутники! А с тобой, представляешь, и вовсе здорово будет. Сородичей твоих у нас навалом. Хочешь — шпрехай с ними. Хочешь — калякай по-казахски. Хочешь — болбочи по-русски. Тебе ведь все равно, и все тебя поймут. Давай, давай, не раздумывай!

Свита учтиво улыбалась. Некоторые лица почудились мне знакомыми.

Я был ошеломлен натиском Нукена и начал сбивчиво объяснять ему, что — увы! — не могу сейчас составить ему компанию, ну, никак не могу, хотя, конечно, отлично понимаю, как это соблазнительно, тронут оказанной честью, как же, как же, это большая радость — сопровождать товарища, коллегу, да еще такого, в его поездке по родному краю, увидеть его эль, его род, но что поделаешь, недосуг сейчас, в кои века выбрался вот наконец к брату, которого никогда не видел, а там будут и другие родственники, среди них и пожилые, дряхлые, вряд ли когда еще увижу, не могу, прости, извини, пойми...

Нукен потемнел лицом, выкатил большие, белесые глаза:

— Э, ладно... Оставь... Никуда брат не денется. Потом на обратном пути сам доставлю, на райкомовских вороных прикачу, а сейчас айда со мной, юбилей все-таки, торжество, понимаешь, родной эль, а тебя ведь не родной

край ждет, а так, кое-какие родичи, в любое время поедешь, что там, ну, зарубят для тебя петушка, или индюка в лучшем случае, квашеной капустой да кислым, самодельным винцом угостят, ну что это, сам посуди, по сравнению со свежей бараньей печенкой, с курдючным салом, с казы, с кумысом?! Давай, поехали!

Я все же настоял на своем, уперся, отказался, обещав непременно на каком-то этапе примкнуть к юбилейным торжествам, ведь они, надо полагать, продлятся не один месяц, и даже выступить при случае с проникновенным словом о творчестве коллеги, но Нукен, раздосадованный, нахмурился, надулся и, махнув безнадежно на меня рукой, решительно направился со своей разнаряженной свитой к поджидавшим их в сторонке двум черным «Волгам». Однако, собираясь сесть в машину, он обернулся ко мне, помахал рукой, прокричал:

– Как называется место, куда ты едешь?

– Березовка.

– А-а... знаю. Каинды, значит. Ладно... Салем передай!

Обе «Волги» тотчас исчезли за поворотом. Ишачок на привязи опять напомнил о себе своим тоскливым «И-ааа!» Я оглянулся. Ватагу горластых парней возле кассы как ветром сдуло. И стайка девушек в тюбетейках куда-то успела упорхнуть. И только старики на скамейке с отрешенно-невозмутимым видом потягивали из пиалушек зеленый чай. Один термос был отставлен в сторону.

Через час на пятачок перед станцией выюркнула запыленная, раздрызганная «коробочка», и я, протиснувшись в ее раскаленное, заваленное мешками, баулами, узелками, ящиками нутро, отправился в путь – в неведомое мне село, где жил мой Хайнрих.

II

Громыхая и подпрыгивая на ухабах, резко катится по проселочной дороге старый автобус. За ним клубится, ширясь и разрастаясь во все стороны, сизая степная пыль. Вокруг простирается бурая, иссохшая, измученная непосильными за множество веков родами земля. Сереют пологие склоны холмов. Долина сплошь в хлопковых полях. Крохотными оазисами бросаются в глаза сады, виноградники. Все изрыто арыками, канавами. На узких придорожных полосках, едва прикрытых чахлыми кустарниками и скудной травой, пасутся безучастные ко всему

на свете узкомордые овцы с увесистыми курдюками. И над всем этим библейским ландшафтом взмывается, клубится причудливыми пластами сказочный пухляк.

Автобус переполнен. Едет люд местный, шумный, свойский. Все загорелые, обветренные, пропыленные, прокопченные. В чапанах. Тюбетейках. В шапках. Кепках. Чалмах. В расстегнутых до самого пупа ковбойках. Даже в неопределенного цвета майках. Проход завален разномастной поклажей. Сзади, в мешке, конвульсивно дергается. взвизгивает поросенок. Старик-казах, устроившийся у окошка, недовольно косится на мешок и презрительно сплевывает себе под ноги. Из глубокой корзины угрожающе вытягивает шею красноглазый гусак.

В автобусе царит диковинная мешанина речей: казахская, узбекская, немецкая, русская, таджикская, азербайджанская, корейская, уйгурская. Поистине вавилонское смешение языков и наречий, столь свойственное нашему южному краю.

Я не питаю слабости к дорожным разговорам. Дорога располагает к раздумьям. Приятно глядеть на незнакомый ландшафт, все приметное и значительное как-то само собой фиксируется в подсознании, а сам в это время погружаешься в свои мысли — веселые или грустные, все равно.

В памяти всплыли недавние слова взбудораженного своим юбилеем Нукена: «мой эль», «родной эль», «а тебя ведь не родной край ждет». В каждом языке существуют такие слова, понятие которых значительно шире и объемнее, чем их примерный синоним в других языках. Они часто просто не имеют адеквата. Вот, к примеру, казахское слово «эль». Перевести его можно на русский язык как «население», «народ», даже — «страна». Так это слово толкуется в словарях. И это в общем-то верно, хотя при этом теряются кое-какие весьма значительные нюансы. Казах говорит: «мой эль», «что обо мне эль скажет» и так далее. И означает это: мой аул и его окружение, край моих предков, моя малая родина, место, где капнула первая капля крови от моей пуповины, край-опора, край-защита, край-отрада, земля моей чести, моей совести, люди, живущие на этой земле, где каждый друг перед другом в ответе, где издревле, может, даже с незапамятных времен один за всех и все за одного. Вот что означает столь короткое слово «эль»! Оно, слово это, произносится с радостью, с гордостью, с любовью. И что бы ни случилось на

свете, пусть даже небо обрушилось на землю, если человек вправе говорить: «мой эль», он не потерян, он не песчинка, он не бездомный бродяга. Ибо у него есть корни, и никакая черная буря не может его сорвать и погнать по земле, точно куст перекати-поля, находящий себе пристанище в каком-нибудь овраге, где и суждено ему сгнить, истлеть. Счастлив, благословенен тот смертный, обладающий этим бесценным даром — всюду и везде громогласно заявлять: «МОЙ ЭЛЬ». И как мне понятны гордость, возбуждение, неуемная радость моего собрата по перу Нукена, решившего отметить свой первый юбилей в своем родном краю. Он ведь чувствует свою ответственность, свой сыновний долг перед родимой сторонушкой, где жили и умерли его предки, где живут и поныне его родственники, где вырос он сам, откуда уехал в большой город, стал известным писателем, написал несколько книг, в которых воспел свой край, свой эль, своих земляков. И еще он сознательно или подспудно понимает, что отпадение от родового ствола бесследно и безнаказанно не проходит. Вдали от дома, от своего родного края, от своего кровного эля, непременно обнищает душа, теряются или тускнеют какие-то неведомые, но ощутимые качества твоей человеческой сути. И нетрудно представить, как встретят его там, в родном ауле, в окрестных аулах, как отовсюду соберутся люди, чтобы поглядеть на своего именитого земляка, разделить с ним его скромное торжество, помянуть мертвых, воздать живым, благословить и вдохновить своего птенца на новые свершения. Обласкав его, земляки отправят его в город с почестями, с благими пожеланиями, с подарками, и потом еще долго будут вспоминать в аулах прошедшее торжество, обсуждать каждое его слово, каждый поступок столичного сородича и его друзей и ставить в пример подрастающим аульным шалопаям. Все это я знаю, сам не раз видел и пережил, и потому нетрудно мне вообразить, каким окрыленным вернется Нукен из родного края в город, как всюду будет говорить о том, что он только что навестил эль, и не один, а с друзьями, что встретили его там-то и там-то, угощали щедро, от души, столько-то барашков было съедено, столько-то бурдюков кумыса выпито, и его будут слушать с горящими глазами, восхищаясь, восторгаясь, прицокивая языком: «Ах, хорошо! Ах, азамат! Ай, что там, еще предки говаривали: родной эль — золотая колыбель!» И Нукен тут, по древнему обычаю, не оставаясь в долгу, пригласит всех друзей, при-

ятелей и просто знакомых домой, выставит на дастархан все аульные угощения – конскую колбасу, вяленый огузок, янтарно-золотистый копченый подгривок, масло в брюшине, сушеный сыр и творог и прочие диковинные яства, и гости, испробовав все, опять восторженно защелкают языками: «Пай, пай! Какой вкус, какой аромат! Это тебе не городская мокрая сосиска! Э-э... верно, верно: родной эль – золотая колыбель. И вода родного края – слаще и даже пыль родной земли – благодать».

Да, по-доброму, по-хорошему завидую я своему другу Нукену. Да будет благословенным его путь!..

Только как-то невзначай обидел он меня, задел больную струну, сказав: «А тебя ведь не край родной ждет, а просто так... кое-какие сородичи». Понимаю: не уколоть меня хотел Нукен, и сказано это было без злого умысла, без намека, без подвоха, а все же как-то не по себе стало, грустно от чего-то. О чем печаль? Как мне выразить ее?

Эль... эль... да, да, но где он, мой эль? Какое место, какой уголок на земле я могу назвать, подобно Нукену и многим моим сверстникам этим словом – «мой эль»? Может, тот город на Волге, где я родился? Но в памяти моей сохранился лишь маленький пятачок – детская игровая площадка с качелями и крохотными деревянными домиками – перед трехэтажным кирпичным зданием, в котором обитали служащие и курсанты летной школы. И это все, или почти все. И в том, что больше ничего не помню, – нет моей вины. Или село Мангейм Гнаденфлюрского кантона, родное село моих родителей, следует считать моим «элем»? Что ж... об этой точке земли я помню чуть больше, хотя бы потому, что когда оттуда нас... как бы это сказать поделикатнее, помягче... эвакуировали, мне было полных шесть лет. И я неплохо помню бабушкин дом со всеми его пристройками и неизменной летней кухней-бакхаузом, помню улицу, хлипкий палисадник с чахлыми деревцами, и даже шаткий мостик, через который проезжала полуторка с колхозными музыкантами-духовиками в соседнюю деревню Зихельберг, и я среди них, – помню. Помню кое-кого из сельчан, типы лиц, песни тех предвоенных лет... во мне и поныне живут дух и облик того удивительного, как мне теперь чудится, времени. Но разве могу я то местечко назвать своим родным краем, своим «элем», если десятки лет там ни разу не был и если оно просто-напросто более не существует? И названий-то таких – Мангейм, Гнаденфлюр, Зихельберг –

и в помине не осталось. Вернее, названия эти остались лишь в памяти пожилых людей, тех, кому ныне за пятьдесят-шестьдесят, а вот от самих этих некогда многолюдных, цветущих сел в буквальном смысле и следа на земле не существует. Там, где некогда находился Мангейм, теперь ни одного дома, ни даже развалин, ни кладбища за селом – ничего, ни-че-го не сохранилось. По свидетельству одного моего знакомого, бывшего жителя Мангейма, несколько лет назад посетившего отчий край, на месте школы и колхозной конторы торчат три чахлые акации – единственная примета той, не столь уж и давней жизни...

Так, может, мой эль – казахский аул на берегу Ишима, где я вырос, учился, обрел друзей, приют и с которым связаны едва ли не все лучшие мои воспоминания? О, да... это место я вспоминаю с благодарностью, с добром, ибо там я почувствовал себя человеком и оттуда, через Ишим, отправился в далекий путь жизни. Собственно, долгие годы, пока в том ауле жили мои родители, я и называл его моим элем. Сердце мое каждый раз сладко сжималось, когда я возвращался на каникулы в отчий дом, и моему приезду искренне радовался весь аул, и стар, и млад приходили в наш дом поздравлять моих родителей, посмотреть на меня, намекнуть, что по такому случаю не грех почтенному Карлу «окровавить нож», то есть, заре-зать ярочку и угостить достойных аульчан, и я, по казахскому обычаю, непременно обходил каждый двор, отдавая старикам «салем», принося старухам свои немудреные подарки – плитку чаю, горсть городских конфет, пачку-другую печенья, крохотные плитки шоколада, а потом, в свой черед, каждый аулец считал своим долгом пригласить меня, чтобы я отведал яств родного эля. А после, когда приходила пора снова уезжать на учебу, я опять навещал стариков, прощался, получал их «бата» – благословение,– и на мои проводы вновь собирался весь аул. И я чувствовал себя не только сыном отца, но сыном аула, душой проникался, что это мой аул, мой эль, и, вернувшись в город, говорил всем знакомым с понятной и законной гордостью: «Вернулся из эля», «Навестил эль», и это звучало так естественно, так искренне, что никто ни разу не усмотрел некой странности, некоторого, что ли, несоответствия между этим исконно казахским выражением и моим явно не казахским обличием.

Так все было.

Но время идет, обстоятельства диктуют свою волю. Родители уехали вслед за дочерьми, повыскакивавшими замуж, все более тончала нить связей с тем аулом на берегу Есиля, да и аул весь изменился, ушли старики, помнившие меня ребенком, сменилось поколение, и ныне в том краю и нравы иные, и внуки тех стариков, которые когда-то благословляли меня, знают обо мне разве лишь по слухам, да по моим писаниям, и я никак не сподоблюсь навестить тот уголок земли, и сейчас вроде уже не к лицу мне называть его «моим элем», ибо теперь это звучит нарочито, с некой натяжкой, неубедительно. И мне печально, и печаль эта неизбывна, она всегда со мной.

Не могу я также назвать родным элем столицу соседней республики, где ныне живут мои родители и сестры, породнившиеся в последнее десятилетие с русскими, украинцами, татарами, армянами. Мне нравится этот огромный пестроликий город, исстари прозванный хлебным, у меня там много друзей, знакомых, я радуюсь отчему дому, сохранившему запахи моего детства, бываю я там охотно и часто, но элем назвать его не могу, ибо не там родился, не там вырос, не там даже пригодился. Место жительства — не эль, не колыбель, не обитель, а обиталище.

Так что же получается? Выходит, у меня нет родимой сторонушки? Нет моего эля? Чудесно: есть большая родина, где предки мои живут более двух веков, а малой — нет? Нет на огромных просторах моей необъятной родины крохотного уголка, который я мог бы назвать моим элем? Разве такое может быть? Не то ли имел в виду, сам того не ведая, Нукен, когда давеча как бы вскользь бросил: «Тебя ведь не край родной ждет»? Или один я такой бедолага на белом свете? О, нет... не один, не один. Не случайно мой друг, поэт, написал как-то стихотворение, в котором задал себе все тот же вопрос: «Где мои корни?», и, перебрав, точно четки, длинный ряд своих сомнений, пришел к бодрому выводу, что корни его всюду, где сияет солнце, где звучит смех, где слышатся звуки родной речи. Совсем немало, конечно, и утешительно, и поэтически эффектно. Но, кажется мне, поэт искал совсем иные корни и, запутавшись в своих сомнениях, скоропалительно прибегнул к испытанной метафоре.

Все на свете объяснимо. И для всего на свете можно подобрать доказательства. Так отчего печаль? Отчего взбаламутилась душа? От сознания того, что у каждого живущего на земле должен быть свой эль, должны быть свои

корни? Должны быть, но не всегда бывают? Или от сознания того, что возможность – или необходимость, или вынужденность – переноситься с места на место связана с неизбежными и чаще всего горькими утратами и уничтожает различие в нравах и образе жизни, что не всегда благо? Или оттого, что малые истины в человеческой жизни не менее важны, чем истины большие? И настоящая гармония наступает лишь тогда, когда эти истины находятся в соответствии? Или от яростного несогласия с тем, что человек – всего лишь песчинка в мироздании? Оттого ли печаль?

Не знаю, не знаю...

Может, все мои мудрствования об эле– просто-напросто анахронизм? И человечество вступает в такую пору развития, когда мыслить следует совершенно иными категориями? Не случайно, быть может, иные философы и литераторы так настойчиво стремятся ныне переглобалить любую проблемку, ибо на фоне глобального ее можно и не заметить. И, может, также неспроста отсутствует адекват понятию «эль» во многих языках? Коль нет этого слова, значит, нет и понятия, которое оно выражает или должно выражать. А раз нет такого понятия, то о чем разговор и о чем печаль? Так, что ли?

Нет ответа.

И все же хочется думать, что между такими понятиями, как «родной край», «отчий дом», «моя земля», «мои родичи», «мои земляки», «страна», «сограждане», «Родина» существует извечная, кровная взаимосвязь, и выпадение любого звена из этой цепи – по вине ли отдельного человека или в силу стечения обстоятельств, все равно – всегда, во все времена несчастье, трагедия. И необходимость всячески объединять усилия, чтобы связь эта не нарушалась. Влекомые повседневными суетными делами и делишками, мы не всегда понимаем, не всегда сознаем людскую и у́же – родственную взаимосвязь. А ведь не откуда-нибудь, а именно от нее тянется нить к человеческим взаимосвязям и от них – к всечеловеческим, общечеловеческим. И не всегда помним, что, каждый из нас в отдельности – будь мы хоть семи пядей во лбу – ничто, песчинка, пылинка, если за нами не стоит надежной опорой крепкая, спаянная, многочисленная родня.

И еще: печаль и счастье исстари ходят бок о бок, рядком. Оттого, может, и печаль, что где-то неподалеку притаилось счастье, к которому тянется душа, как к чему-то

5290080

Северо-Казахстанская
областная библиотека
им. С. МУКАНОВА
г. Петропавловск

неведомому и прекрасному? А, может, счастье есть надежда? Может, в конкретной надежде сокрыта тайна счастья?

Автобус свернул на асфальт, по обе стороны дороги замелькали бугры, холмы, ручьи, каналы, внушительные кирпичные дома и саманные развалюхи, ишаки, лошадки, овцы. Потом дорога свернула в зеленую долину, окаймленную стройным рядом тополей, на косогоре показалась березовая рощица, стоявшая особнячком, и шофер, круто остановив запаренную «коробочку» возле бетонной изгороди с двумя бетонными скамьями, хрипло выдавил:

— Березовка!..

III

Село широко расстилалось по всей долине и утопало в зелени. Я долго шел по обсаженной деревьями прямой тенистой дороге и вскоре понял, что найти мне дом Хайнриха будет непросто, хотя адрес его и был мне известен. Добрел до школы — ни души: занятия еще не начались, и вся детвора, надо полагать, на уборке хлопка. Выскочил из-за угла велосипедист, полуголый, кудлатый парняга, и на мой вопрос, не переставая крутить педали, кивнул неопределенно куда-то в сторону. И опять потянулась ухоженная, тенистая улочка, за заборами виднелись аккуратные сады, из-за верхушек деревьев белели шиферные крыши. И ни одной живой души: пора страдная, дел невпроворот в садах, на кукурузном и хлопковом полях, в виноградниках. Возле магазина, тоже закрытого, стайка девчушек — рыженькие, конопатенькие, голубоглазые — играли в классики. Они с любопытством уставились на мою палку, потом — на «дипломат», потом — и на меня, переглянулись. То, что я задал свой вопрос по-немецки, их слегка удивило.

— Онкель Хайнрих?.. Здесь много дядей с такими именами.

— Хм-м... Фамилия его Карлсон.

— Который живет на крыше? — прыснула одна егоза, и вся стайка рассмеялась.

— Нет, — улыбнулся и я. — Он живет в своем доме.

Девочки озабоченно вскинули брови. Самая бойкая и, видимо, заводила наморщила лобик. Самая маленькая, в густых веснушках, рыжие, выгоревшие косички торчком, начала озадаченно ковырять в носу.

— А как зовут его жену?

— Эмилия-танте.

— А-а, тетка Миля! Милье-танте! — радостно завизжала, закричала конопатая орава. — Та, что в пекарне работает?

И все наперебой, взахлеб принялись объяснять мне, в какую сторону следует идти дальше.

Дом Хайнриха я нашел в тихом закоулке. Я потоптался возле массивной резной калитки, косясь на сытого, гладкого пса у крашеной будки. Пес поднял одно ухо, в добрых глазах его на одно мгновение вспыхнул подозрительный блеск и тотчас погас. Потом пес приветливо взмахнул хвостом и равнодушно зевнул, дескать, ну, что же ты, проходи, коли пришел, милости просим, я ведь ничего против не имею. Так я понял пса и уже более решительно вошел в великолепную ограду. По обе стороны выложенной цветными плитами дорожки тянулся вверх, смыкаясь, виноград. Тяжелые грозди свисали, точно гирлянды с потолка. Сперва белел нарядный, с синими наличниками, с просторной верандой дом-пятистенка. За ним сквозил яблоневый сад. Слева, за вишенником, выглянула такая же беленькая летняя кухня. Рядом в блиставшей белизной ванне бродил давленый виноград, и над ним неистово кружились, роились осы и шмели. Далее тянулись еще какие-то пристройки, сарайчики, закуточки, но я не успел все это окинуть глазом, потому что из летней кухни вышла крупная старуха в длинном, почти до пят платье, в чистом переднике, в белом платочке, вся какая-то благостная, светлая, добрая, потеребила передник, посмотрела на меня вприщур, приветливо и выжидающе улыбнулась. И я улыбнулся: старуха точно сошла с фотографии, на которой запечатлена моя бабушка еще в канун Октябрьской революции.

— Простите, не здесь ли живет Хайнрих Карлсон?

— Стэзь, стэзь, — тотчас отозвалась бабушка и перешла на немецкий.— Ах, ду, ах, ду... бист воль нихьт Хайнрихс хальббрудер?[1]

— Йа, муттер... штиммт.

— Анхен и Карлуши сын? — уточнила бабушка.

— Йа... — ответил я с запинкой, ибо как-то непривычно было слышать, чтобы моих родителей, разменявших восьмой десяток, называли ласкательными именами.

— Ах, как обрадуется Хайнрих... Проходи, проходи, майн либер!

---

[1] Уж не Хайнриха ли ты двоюродный брат? (нем.).

В летней кухне царили безукоризненный порядок, чистота и прохлада. Посуда сверкала, скатерка отливала крахмальной белизной, все, что следовало укрывать, было прикрыто изящными, тщательно выглаженными салфетками.

– Где же хозяева?

– Милье на работе. Повела с собой Марию и Гильду показать новое оборудование в пекарне. Христьян на хлопке. Хайнрих поехал на склад.

– Ах, зоо... Так, значит...

Я стал соображать про себя, о какой Марии и Гильде, о каком Христьяне шла речь, а также о том, кем же бабушка сама приходится Хайнриху. Я точно знал, что она ему не мать; почти наверняка мне было известно, что и у швегерин Эмилии нет матери в живых. Все же покопавшись в памяти, я вспомнил, что бабка Амалия – мать бывшей жены Хайнриха. И хоть и приходилась она ему, таким образом, бывшей тещей, и где-то здравствовали ее родные сыновья, она по-прежнему оставалась жить у бывшего зятя, продолжая чувствовать себя едва ли не единовластной хозяйкой в доме. Редкий случай в наше время.

Расспрашивая про моих родителей и сестер, бабушка Амалия навалила мне на тарелку полкурицы, налила суп с домашней лапшой, отрезала от буханки домашней выпечки большой ломоть, придвинула соль, перец.

– Ну а ты, я слышала, работаешь бухгалтером?

Я едва не поперхнулся. Откуда пришло бабке такое в голову? Странно: старшее поколение моих родичей никак не может (или не хочет?) понять суть моей профессии. То, что я переводчик и постоянно скриплю пером по бумаге, кажется им малопочтенным, а то и вовсе недостойным занятием, причудой. Когда я говорю про работу («мне нужно поработать», «я работаю»), они нередко искренне недоумевают и даже испытывают вроде неловкость: какая работа, ты же всего-навсего пишешь или читаешь, а работа – это если на тракторе или комбайне вкалываешь, или – на худой конец – кетменем орудуешь, топором тюкаешь. Помню, тетка Гермина, понаблюдав однажды со стороны, как я усердно царапаю пером, то и дело заглядывая в рядом лежащий толстенный том, решила, что я переписываю казахские книги на русский язык. «Бедный, бедный, – делилась она потом своей догадкой с соседками, – целыми днями строчит, киргизские книжки переписывает». Дедуля Франц, самый авторитетный среди ста-

рух в той деревне, многозначительно прошамкал тогда: «Как же? Он ведь учился долго. Почерк у него четкий, буковки ровные, как у старых писарей. Да!» Что там древнее старичье, даже иные сверстники из моих соплеменников с подозрением относятся к моему делу. Мой дальний родственник Отто, бригадир тракторного отряда, безобидный, добрый малый, который почему-то предпочитал, чтобы его звали Олегом, спросил как-то без обиняков, повертев в руке казахский роман: «И за сколько дней ты перепишешь такую книжицу?» — «Примерно за полгода». — «Да-а?!.. И сколько за это получишь?» И, разделив в уме названную цифру на количество месяцев, разочарованно протянул: «Фу-у... столько в моей бригаде нынче последний шалопай зарабатывает...» Я понял: с этого мгновения мой авторитет сильно пошатнулся, если вовсе не рухнул в его глазах.

Должно быть, и бабка Амалия прослышала что-то о моем ремесле и, спросив про бухгалтера, хотела мне явно подольстить: в тридцатых годах, когда она вступила в колхоз, бухгалтер в селе был самым почтенным, самым грамотным человеком. Да и самым редким. Сказывают, тогда было легче найти председателя колхоза, нежели бухгалтера. А потом, я ведь имею дело с книгой — с бух, а это этимологически совсем рядом с бухгалтером.

— Нет, вес-Мале, я переводчик. Юберзетцер.

— Шрайбер? — уточнила бабка Амалия. — Писарь?

Я на мгновение задумался: нужно ли объяснять бабушке разницу между писарем и переводчиком, но тотчас решил, что это вовсе не обязательно.

— Йа... нечто в этом роде.

— Ну, что ж... и это дело... Ах, — спохватилась она вдруг. — Я же забыла налить тебе стаканчик винца. Ай, ай, стыд-то какой!..

— Ничего... не к спеху. Да и не охотник я...

Накормив меня и убрав посуду, бабушка отправилась тотчас во двор хлопотать по хозяйству. Я последовал за ней. Под кустами, в закутке, вольно развалился на дощатом настиле громадный кабан, одуревший от сытости и лени. Увидев меня, приоткрыл один глаз, неопределенно хрюкнул. В корыте бугрились комьями виноградные выжимки. Кабан пытался поднять голову, но тут же уронил ее. Глазки были мутные, красные.

— Что с ним? Не болен?

— Какой болен? Пьян чертяка!

– Как это... пьян?

– Хайнрих давит вино, ну, и подкармливает кабана то суслом, то выжимками. Вот он и не просыхает.

– Надо же! Действительно, пьян, как... свинья.

Кабан утвердительно прохрюкнул, дескать, что поделаешь, бывает, прости...

В следующем закутке хрумтела сенцом крупная курдючная овца.

– На шашлык... – пояснила бабушка.

– А корову не держите?

– Как это?! – удивилась моему вопросу вес-Мале. – Разве можно без коровы?.. И бычок есть.

Вдоль ограды пышно разрослись кусты крыжовника, смородины, малины. Потом аккуратным рядком тянулись деревца – груша, слива, персики. Потом шли перегородки с сеточным ограждением. Там гоготали гуси, крякали утки, бубнили индюки, кудахтали куры.

– Живет же, однако, Хайнрих!

– Ну, как же... помаленьку, – польщенная, ответила бабушка. – Жить ныне можно.

– Да-а... Но откуда все это?

– Как откуда? Ничего ворованного тут нет. Сроду никто у нас этим не занимался. Как же... четыре работника в одной семье. И все трудяги. Ленивцев нет.

– И все здесь, в Березовке, так живут?

– Гот зай данк... слава богу, нищих не водится. Если работать – что ж не жить-то? Вот и мы... не хуже других.

– Немцев много?

– Да тут, считай, большинство. И каждый норовит перещеголять другого. Вот Сауйоганнес, прозвище такое, еще с Волги... так он, веришь – нет, вознамерился двухэтажный дом строить. Когда-то в мазанке ютился, теперь ему шесть комнат мало. А Франц Ворм с сыновьями две машины имеет. Христьян наш тоже грезит о «Жигулях». Надоело, говорит, на «Урале» тарахтеть, перед людьми, мол, совестно.

– Живете, прямо скажем, неплохо.

– Работать надо... На все нужны старание и прилежание.

Бабушке Амалии немногим за восемьдесят, но она минуты не сидит без дела, все что-то снует взад-вперед, хлопочет, гусей, индюков кормит, жухлые листья подметает, картошку перебирает, воду по арычкам направляет, кабана, сморенного жарой и хмелем, из шланга обливает, что-то варит, моет, подтирает.

— Не устаете, вес-Мале?

Засмеялась, привычно поправляя передник. На морщинистых щеках обозначился румянец. Глубоко запавшие глаза лучились добром.

— Некогда уставать-то... С двенадцатилетнего возраста как пошла служанкой к пастору Беккеру, так и кручусь по сей день с утра до вечера. Правда, ноги вот тяжелые стали, да поясница иногда ноет.

— В трудармии не были?

— Нет... Зато и Хайнрих, и сыновья мои все изведали. А братья там и погибли, зимой сорок второго...

Она вдруг пристально глянула на меня, всполошилась.

— Ой, да ведь я тебя заговорила, уморила, должно быть. Старая, мелю что ни попадя. Целыми днями, считай, одна домовничаю. Скучно. Ты зайди в дом-то. Или в зал, или, хочешь, в комнату Христьяна. Там прохладно. Полежи, отдохни. Хайнрих вернется только часа через два-три. И то, если не заедет еще куда-нибудь.

В самом деле, не мешало бы прилечь после ночного полета из Риги с двумя посадками и сегодняшней тряски в раздрызганном автобусе. К тому же у меня есть тайная надежда немного поработать: через две недели нужно представить в издательство перевод романа, а перевести предстоит еще целую главу. Может, здесь с утра пораньше и вечером, когда спадет жара удастся пописать в тиши. Хайнрих, вижу, вполне в состоянии выделить мне комнату.

И здесь, в просторном зале, царит порядок. Мебель натерта до блеска. Пол покрашен и покрыт лаком. Покрывало на диване было без единой складочки. Подушечки по краям расположены безупречно симметрично, словно выверенные линейкой.

На комоде я увидел несколько номеров «Нойес лебен». Рядом лежал альманах «Хайматлихе вайтен», из которого высовывалась пожелтевшая закладка. Я раскрыл страницу. То был прошлогодний номер с моей повестушкой. Судя по всему, Хайнрих одолел ее до половины.

Я не осмеливался нарушить девственную опрятность дивана, Опустился на ковер и тотчас уснул.

Разбудил меня Хайнрих. Я даже вздрогнул от неожиданности: так он был похож на моего отца — сухой, длиннолицый, длиннорукий, крупноносый, тонкошеий, импульсивный. Почти всем Карлсонам — даже в третьем-четвертом поколениях — достались от нашей бабушки Элизабет-Катерины в наследство примечательные

носы: не просто длинные, но еще и с мясистой нашлепкой на кончике. Видно, создавая кого-то из наших предков, всевышний взял да и пришлепал оставшийся материал к носу.

– Ну и дрыхнешь, брат! – сизоватые губы Хайнриха расплылись в улыбке до ушей. – Я уж третий раз тебя бужу.

Мы обнялись, похлопали друг друга по плечам. У Хайнриха заблестели глаза. Слова мы вроде растеряли: слишком-слишком долгой оказалась разлука.

– Хэ, надо же, как же? Я тебя вот таким карапузом запомнил, а теперь и ты уж седой. Ах, время, время!.. Помнишь, как мы по Мангейму гуляли?

– Н-нет... Разве было такое?

– Ну, а как же, как же? Я приехал как раз из Марксштадта, а тебя родители привезли к бабушке. Вот мы вдвоем и ходили по домам... неразлучные.

– Не помню...

– Жаль... Впрочем, тебе было года четыре, мог и не запомнить.

– А тебе?

– Мне?.. О, уж двадцать два. В том году женился. Да-а...

Странно: отец Хайнриха, тоже Хайнрих, то есть, следовательно, дядю Хайнриха, я помню, и усы его помню, даже таратайку, на которой он разъезжал по бригадам, – помню, а вот двоюродный брат почему-то в памяти не остался.

Я давно уже понял, что ни одну человеческую жизнь простой не назовешь. Почти у каждого так называемого простого человека чаще всего непростая биография. Особенно у того поколения, которому сейчас семьдесят-восемьдесят: сколько испытаний выпало на его долю!

И мой Хайнрих – не исключение. Вся его жизнь состоит из крутых поворотов.

Из рассказов матери и других источников мне известно, что Хайнрих был живым, добрым, увлекающимся малым. Ветер бурного времени подхватил его, и сельский паренек охотно отдавался новым, дерзким веяниям. Он оказался в числе первых пионеров в захолустной деревне, окончил начальную школу и еще два класса в неполной средней, что по тем временам, особенно в сельской местности, было совсем не мало. Вместе со своим дядей Карлом, которому подражал во всем, вступил в комсомол, в

общество безбожников, поступил в техникум, пел вместе со сверстниками «Песню единого фронта» и «Песню болотных солдат» – Эрих Вайнерт и Эрнст Буш были тогда весьма популярны и среди немцев Поволжья. Потом Хайнриха призвали на службу в РККА. Юной жене, пампушке Вике, он писал бодрые, полные радужных мечтаний письма, вклинивая в текст ласковые украинские словечки, которые не в состоянии был понять никто из мангеймовских грамотеев. По этим словам можно было догадаться, что служит Хайнрих на западной границе. В последнем его письме сквозила тревога. «На той стороне реки мы видим, как копошатся фашисты», – писал он.

Несколько лет никто о Хайнрихе ничего не знал. Впрочем не только о нем.

Лишь потом, немало лет спустя, узнали родные, что хлебнул-таки вдосталь Хайнрих лиха: воевал, был ранен, попал в окружение, из которого выбрался с небывалыми потерями и лишениями, и снова воевал, пока в декабре сорок первого не отозвали его – по совершенно непонятной, непостижимой причине – и не отправили через всю страну в трудармию на Урал. Он не знал ничего ни о родном крае, ни о судьбе родных и близких; поезд монотонно стуча колесами, мчал его все дальше и дальше на восток, в неведомое, и уже на станции Полуночное, встретив земляков, Хайнрих услышал такое, во что не мог верить здравый рассудок. Жесткие, беспощадные и безапелляционные слова Указа от 28 августа 1941 года о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, потрясли, ошеломили его, разом перечеркнув весь смысл жизни, подрубив корни всего, на чем зиждились вчера еще вера, порыв, надежда, мечта и человеческое достоинство. Каждое слово Указа шло вразрез со всем гуманистическим духом нового общества, и это несоответствие было столь вопиющим, что многие соплеменники Хайнриха так и не смогли выбраться из шокового состояния. Всесокрушающие слова и фразы того зловещего Указа преследовали во сне и наяву: «По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья...» Хайнрих недоумевал: «Откуда вдруг они взялись, эти данные? Чем доказывается их достоверность? Откуда вдруг они взялись,

эти – не больше и не меньше! – тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов? Каким только образом живущим открыто, на виду у всех, на небольшой территории среди русских, украинцев, татар, чувашей, мордвин, казахов поволжским немцам удавалось средь бела дня скрывать такое полчище замаскированных врагов советского народа и Советской власти? Это, получается, в каждой захудалой деревеньке таились по несколько диверсантов? Хайнрих перебирал в памяти всех многочисленных знакомых, всю родню, всех жителей сел Мангейм, Мариенбург, Зихельберг, которых знал поименно, всех кантонных партийных и советских работников и не мог себе вообразить, даже допустить мысли, чтобы кто-нибудь из них сгодился бы в шпионы. Уму непостижимо! И разве мыслимо разбрасываться в столь серьезном документе такими унижающими, оскорбляющими целый народ словами, как «если произойдут диверсионные акты», «если случится кровопролитие», «по законам военного времени», «вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья», «переселить все немецкое население»? Примечательны эти «если». Преступление только предполагается в чьем-то параноическом воображении, а наказание – на всякий случай! – уже определено, вынесено и осуществлено. Черт знает что!.. В числе едва ли не безнадежно подбитых, нравственно, душевно подломленных оказался и Хайнрих. Легко ли жить на свете беззащитным детям, от которых отреклись и которых прокляла родная мать?!

Работал Хайнрих честно, истово, строил заводы, валил лес, прокладывал железную дорогу, в душе сознавая: случилась несправедливость, но надо жить и трудиться ради победы, все для победы, а там все образуется, непременно все наладится, ибо иначе быть не может, просто не должно быть.

Двадцать три года и один день спустя Президиум Верховного Совета СССР Указом от 29 августа 1964 года постановил ОТМЕНИТЬ Указ 1941 года «в части, содержащей огульные обвинения в отношении немецкого населения, проживающего в районах Поволжья». В том достопримечательном документе будет прямо сказано: «Жизнь показала, что эти огульные обвинения были необоснованными...» Двадцать три года, почти четверть века понадобилось, чтобы публично – после неисчислимых жертв, невосстановимых моральных потерь – признать не-

состоятельность того абсурда, приписанного позже культу личности решения, охарактеризовав его кратко – «огульные обвинения».

Справедливость, истинность этих слов из Указа 1964 года не вызывала сомнений ни у кого, но ждать их пришлось долго, очень долго, двадцать три года и один день, и очень многие их так и не дождались, и немало из тех, кто их дождался, уже не в состоянии оказались воспринять великую правду, заключенную в них. За двадцать три года и еще один день человеческая душа, оказывается, может очерстветь, онеметь под непосильным бременем огульного обвинения. Не приведи аллах отныне и во веки веков ни одному народу, ни одной народности, ни одному племени пережить такого! Обвинить огульно можно одного человека, обвинить огульно народ – жестоко.

Кончилась война, но не кончились мытарства. Все злоключения, выпавшие на долю Хайнриха, в самой толстой книге не перескажешь. А начнешь пересказывать – кровавыми слезами обольешься, сердце разорвется...

Все же жизнь налаживалась, почти каждый год приносил какие-то облегчения. Правда, время от времени продолжала обрушиваться на головы спецпереселенцев лютая стужа. Так, в Указе от 26 ноября 1948 года говорилось о том, что «немцы, калмыки, ингуши, чеченцы, финны, латыши и др. переселены навечно и что выезд с мест поселения без особого разрешения органов МВД карается каторжными работами до 20 лет». Здесь все было примечательным, особенно это – «и др.». Однако, самая страшная беда – война – была позади. Кто сорок бед вытерпел, тот и сорок первую вытерпит. А в самом конце 1955 года с советских немцев были сняты ограничения по спецпоселению. Правда, и тут оставалась значительная оговорка: «Установить, что снятие с немцев ограничений по спецпоселению не влечет за собой возвращения им имущества, конфискованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда они были выселены». Бог с ним, с имуществом. Плохо, что нельзя возвращаться в родные места. И Хайнрих впервые всерьез задумался: «Где обосноваться? Где пустить корни?» До этого он жил в неопределенности, будто на промежуточной станции. Мать умерла. Пампушечка Вика – он это знал – давным-давно обзавелась новым мужем. И он, Хайнрих, сошелся было с одной вольной казачкой, да уж больно хрупкими оказались брачные узы. Да и как им быть

крепкими, узам-то, если она – вольная птаха, а ты – спецпереселенец? Мудрено... Дядю, племянника и двух двоюродных братьев Хайнрих сам похоронил на севере лютой, голодной зимой сорок второго. А остальных родичей еще предстояло разыскать – если только живы – по всей стране.

Подался Хайнрих на юг – «хоть кости на старости лет погреть». Пошел в садовники. Здесь, в Березовке, и в ближайших селах нашел немало своих земляков по Волге. Судьба оказалась у всех схожей. Разве кто чуть больше, другой чуть меньше изведал горя и напастей.

Здесь же встретилась Хайнриху Эмилия из Мангейма. Помнил он ее озорной девчушкой Милушей, Милей, в многодетной семье полевода Наумана; теперь она вдовствовала с двумя сыновьями в недостроенной мазанке. Сошлись. Две половинки – одно целое. И, как видно, на счастье.

– Что задумался?.. Или спишь еще? – продолжал тормошить меня Хайнрих.

– Та-ак... вспомнилось разное.

– Хм-м... ты рассказывай. Или только пишешь? – Хайнрих кивнул на номер «Хайматлихе вайтен». – Читаю, читаю... ничего... Только вроде недоговариваешь что-то... Или не знаешь, или кишка тонка, а?..

– И то, и другое, наверное... Наговоримся еще... Я, возможно, пробуду у тебя с недельку. Уж очень здесь тихо, уютно. Хорошо работать.

– Как работать? – вскинул Хайнрих белесые брови.

– Ну в смысле писать.

– А-а-а...

Хайнрих достал из-за зеркала на комоде пачку сигарет, похлопал себя по карману. Со двора донеслись обрывки фраз.

– О, вернулись старушки. Пойдем. Вот удивятся, как увидят тебя. Они тебя тоже малолетним помнят.

– Кто?

– Да Мария с Гильдой у нас гостят. Марию ты, наверно, не помнишь, а Гильду, тетку свою, должен знать.

– Как? И тетя Гильда здесь?

– Ну... с внуком прикатила. Пойдем. Пошпрехай с бабками, утешь их. Ну, и горло промочить надо перед ужином, а? Завтра, хочешь, в сад съездим, по селу походим. Посмотришь, как люди нынче живут. Договорились?

И Хайнрих сграбастал меня, потерся небритой щекой

о мою щеку, быстро-быстро заморгал, затрепетал белесыми ресницами — точь-в-точь как у моего отца. И только теперь шевельнулось во мне что-то теплое, братское.

Вольно и широко раскинулась Березовка в долине, окруженная пологими холмами, чуть в сторонке от шоссейной трассы между двумя древнейшими городами. Бог весть, в какие времена поселился здесь впервые человек. Когда в начале века прибыли сюда на скрипучих повозках, запряженных вконец измотанными волами и лошадками, пятнадцать семей немецких колонистов с Волги, местность эта представляла собой малолюдную, диковатую по своей первозданности знойную степь, по которой наперегонки мчались пыльные смерчи, и лишь кое-где у подножья холмов лепилось по нескольку плоскокрыших мазанок, вокруг них резвилась черноглазая малышня в пестрых лохмотьях, и еще кое-где серели почерневшие от зноя кошомные кибитки. В долине между двумя холмами разрешили поселенцам обосноваться. Пустынные дали привели поселенцев поначалу в оторопь. Единственное, что вселяло надежду и ласкало душу — полноводная Дария неподалеку да березовый колок у холма — верные свидетели неистребимой жизни.

Предстояло строить жизнь сначала, приноровиться к новому месту, к иному способу хозяйствования, научиться орудовать кетменем, ладить арыки, выращивать кукурузу, переносить жару, трусить на ишаках на шумные восточные базары, наловчиться выгодно торговать, выменивать немудреный товар, словом, в который раз обживать новый край, вжиться в новый, почти во всем непривычный быт.

Земля была благодатная. При старании и умелом поливе она щедро вознаграждала за труд. А в старательности и прилежании пришельцам нельзя было отказать. Через год-другой прибыла с Поволжья еще одна партия переселенцев, согнанная с насиженных мест недородом и очередной засухой. Загадочный туркестанский край манил, точно сказочный «шларафенланд» — страна с молочными реками и кисельными берегами.

Однако бедность крепко породнилась с поселенцами. Трудились круглый год от мала до велика, копошились на своих участках от зари до зари, и все же едва держались на плаву, кое-как сводили концы с концами. Старики, случалось, поговаривали, что, должно быть, преследует их, бедный немецкий люд, злой рок. Иначе зачем было их

предкам, выходцам из Вестфалии, Пфальца, Баварии, Саксонии, Швабии, искать лучшей доли в необъятных просторах «Русланда». А потом, когда обжили нижневолжские берега, пустили корни, облагородили трудом и тщанием запущенные степи, опять тесновато стало, голодно, неуютно, и вновь двинулись в забытые богом и людьми места – в Сибирь, в Туркестан, в Крым и Кавказ, неустанно уповая на лучшую долю. И, кто знает, куда потом, через десятилетия, тронутся – по своей или по не своей воле – внуки и правнуки, может, в неведомые пустыни, в Голодную степь, или даже на необитаемый остров. Видно, так уж записано в Книге судеб. А, скорее всего, допустили-таки оплошность далекие предки, решившие покинуть «фатерланд». С другой стороны, и уехали предки не от хорошей жизни, нет, не от хорошей. И отнюдь не авантюрные порывы руководили законопослушными бауэрами и ремесленниками.

Так, бывало, ныли-нудили, дымя самосадом, старики в редкие часы досуга, а потом, как бы спохватываясь, вновь принимались за дело, внушая потомкам древнюю и неизменную истину о том, что только труд делает жизнь сладкой. О, йа... арбайт махт дас лебен зюс...

Свое новое место жительства поселенцы назвали Биркенталь – Березовой долиной. Так, сказывали, называлась местность, откуда более века назад прибыли предки; так называлась деревня и на Волге; так сразу решили назвать и здешнее поселение, благо расположилось оно в долине, да и березовая рощица под боком, и к тому же звучит приятно, славно – Биркенталь. Ничуть не хуже, чем, скажем, Розенталь, Блюменталь или Лилиенталь.

Жили поначалу обособленно, замкнуто. Знали: под холмом слева в кошомных юртах обитают киргизы. Пасут в степи, возле рек, скот, доят кобылиц, сушат сыр, пьют квашеное молоко. В праздники устраивают конные скачки, вырывают друг у друга козлиную тушку, тренькают на деревяшке с двумя жильными струнами, поют во всю мощь глотки, словно хотят, чтобы их услышали по всей степи или докричаться до кого-то заблудившегося в песках за Дарьей. Возле холма справа, в плоскокрыших мазанках, домовничали сарты. Те не расставались с кетменем, целыми днями, пестрея тюбетейками, копошились во дворе за глиняным дувалом, обрабатывали маленький клочок земли, пропадали на базарах. Неуемный, предприимчивый народ этот пришелся поселенцам особенно

по душе: он знал толк в земледелии и никакого труда не чурался.

Холм слева в Биркентале называли киргизским – «Киргизер Хюгель»; холм справа – сартским – «Сарт Хюгель».

Жили в общем мирно. Никаких недоразумений или стычек не случалось. Поселенцы отличались кротостью и некоторой настороженностью. Бабушки пугали неслухов-внуков: «Смотрите, прискачет киргиз и в мешке тебя утащит». Однако не было случая, чтобы киргиз позарился на рыжих сорванцов из Биркенталя: у него своих черноглазеньких да круглоголовеньких целая орава копошилась вокруг юрты. И взрослые внушали озорникам: «Гляди, не смей залезать в сад к сарту». И не лезли, ибо то, что росло за глиняным забором, имелось вдосталь и в садах переселенцев. Предметами некоторого вожделения биркентальских мальчишек были, пожалуй, лишь тандырные лепешки, но и их можно было при кое-какой расторопности обменять на пышные немецкие «кухи».

Шли годы. Биркенталь разросся. Аккуратно выбеленные домики с ухоженными садами и виноградниками все заметнее подбирались с обеих сторон к холмам. И на холмах стало многолюдней. На одном вперемешку с юртами паслись овцы, коровы, над земляными печками бугрились прокопченные котлы. На другом холме мазанки с надстройкой-балаханой выстроились в чинный ряд, дворики становились все меньше, но зеленее. Над каждым двором из тандыров-печей тянулся-вился жидкий кизячный дымок и пряно пахло свежими лепешками и раскаленным кунжутным маслом.

Заводились знакомства. Почти у каждого биркентальца появились закадычные дружки-тамыры и из киргизов, и из сартов. Случалось, на базар ездили вместе. Сады поливали, собирая строгую очередность. Малышня затевала общие игры. Тут-то и выяснилось, что тех, кого по стародавней привычке называли киргизами, и не киргизы вовсе, а казахи, и сарты – это прозвище, кличка, на самом деле народ этот называется узбеками, да и биркентальцев соседи справа и слева стали называть не аллеманами, как раньше, а «немис», то есть, немцами.

Время обрело другой смысл и значение, иную окраску. Народ обретал свое подлинное имя. Говорили о переменах и перемены эти просачивались в долину меж холмов. Еще недавно тихая, точно безмолвная округа наполнилась звуками. Над правым холмом все чаще рвал

тишину и взмывал к небу утробный рык кернея, а ему заунывно подтягивала зурна. Слева глухо бормотала что-то бесконечное, монотонное домбра и надрывал душу кобыз. А из долины доносились звуки бесшабашной, огневой польки, звучно перезванивали цимбалы, пиликала скрипка, тренькала, рассыпая искры, балалайка.

В начале тридцатых годов здесь был организован колхоз. Назвали его «Кызыл кайрат» – «Красная мощь». Название это в устах колхозников звучало по-разному. На левом холме, как и положено, говорили «Кызыл Кайрат», на правом – «Кизил гейрат», в долине – «Гсил Хайрат». Поскольку от казахского «кайрата» до немецкого «Heirat» (брак, женитьба) не так уж и далеко, то биркентальцы в своем простодушии решили, что колхоз их называется «Красная свадьба» и имеется – по всему – в виду свадьба долговязого Яшки Фишера с коротышкой Оленькой Швааб, состоявшаяся как раз накануне создания колхоза.

В новом колхозе с самого начала дела пошли на лад. Камиль-ака, первый его председатель, на общем собрании разделил колхозников – без каких-либо на то возражений – по трем бригадам по сугубо деловым качествам, решив, что «уртакларам-казахам» сподручнее заняться скотоводством, «агаинам-узбекам» отвечать за бахчеводство, а долинным «немисларам» взять в свои руки земледелие. Вот так, тремя постромками-бригадами и потянули колхозный воз. Еще до войны колхоз «Кызыл кайрат» прослыл одним из богатейших во всем туркестанском крае.

Осенью сорок первого привезли в колхоз около двадцати семей переселенцев – немцев Поволжья. Говорили на одном диалекте, даже находились кое-какие общие знакомые, но за четыре десятка лет между бывшими волжанами-биркентальцами и новыми поселенцами с Волги обозначилась кое-какая разница в нравах, повадках, поведении, обычаях, манерах, не говоря уже о моральном состоянии и имущественном положении. Появились выражения: «коренной немец» и «пришлый немец», и понадобилось еще несколько десятилетий, чтобы эти условные определения стерлись, ибо со временем стало совершенно очевидно, что все по сути в одинаковой степени и «коренные», и «пришлые», и подобная классификация не имеет оснований. Особенно это стало ясно, когда сюда прибыли переселенцы – кавказские швабы, крымские меннониты, а также эвакуированные с Украины, Белоруссии. Позже в

многонациональный колхоз влились еще чеченцы, ингуши, кумыки, карачаевцы, греки.

Село потеряло свое первоначальное название Биркенталь. Некоторое время оно именовалось Каинды (Березовое), а потом прочно и навсегда стало Березовкой.

И вот теперь предстала она передо мной, вобравшая в себя столько судеб, столько жизней, немалый отрезок истории, приют некогда сирых и обездоленных, а теперь благодатная обитель, каких много, просто не счесть всюду в нашей стране, и на севере, и на юге, и на западе и востоке, современная центральная усадьба со всем тем, что окружает нынешнего сельского человека, украшает его жизнь, его суть, его повседневное бытование.

— Ну, вот, здесь мы и живем, — задумчиво произнес Хайнрих.

Мы стояли на краю холма, где обрывался огромный совхозный сад, в котором Хайнрих помнил почти каждое деревце, каждый кустик. И немудрено: четверть века жизни моего двоюродного брата связано с этим садом. Отсюда, с обрыва, хорошо просматривается все село — зеленый остров, оазис в холмистой долине.

Невозможно представить, какой была эта местность в начале века, когда прибыли сюда пятнадцать семей немецких колонистов с Волги. «В пятьдесят лет обновляется земля», — гласит казахская поговорка. Мне вспомнилось, что созвучную мысль высказал некогда и Гете в беседе с Эккерманом: «... каждые пятьдесят лет дела человеческие претерпевают изменения...» А тут прошло почти дважды пятьдесят лет, и, понятно, о подобных переменах в этом краю не мог подозревать ни один переселенец на заре века.

— Хорошо, не правда ли?

Сухое лицо Хайнриха смягчилось, складки разгладились, глаза стали светлые-светлые, под стать выбеленному зноем небу.

— Правда...

Меня подмывало спросить Хайнриха, какой край, в котором приходилось ему подолгу жить, кажется ему теперь милей, родней, к какой земле он чувствует на склоне лет большую привязанность, однако спохватился, передумал, не спросил. И так все ясно: Березовка для Хайнриха ныне больше, чем место жительства. Здесь, думаю, за четверть века он успел обрести некое душевное равновесие. А это так важно, едва ли не самое главное:

человек не должен быть переселенцем на земле, не должен чувствовать себя временным поселенцем. Здесь, в долине, в Березовке и далеко вокруг в ее окрестностях, живут многие мои соплеменники, и многие успели пустить тут глубокие корни, ибо родились здесь, и выросло здесь не одно, а два-три и более поколения, и значит, для них это и есть родной эль, хайматорт, малая родина, и уже многие из потомков бывших поселенцев или спецпереселенцев теперь вправе говорить: «моя земля», «мой край». И, может, именно это имел в виду немногословный Хайнрих, когда спросил неожиданно: «Хорошо, не правда ли?»

Хорошо, брат мой! Конечно, хорошо! Земля всегда хороша и благословенна. В изломанных людских судьбах она не виновата.

— Да, а нам ведь надо еще к Вилли зайти, — вспомнил Хайнрих. — Нехорошо... обидится... Я обещал.

— Какой еще Вилли?

— Есть тут у нас один чудаковатый мужик. Всем интересуется, разные старые книжки собирает. Каждый раз, как встретимся где, говорит: «Приедет брат — обязательно приведи». Ладно, говорю. Твои статейки он знает, даже написать тебе хотел, адрес спрашивал.

— Как, говоришь, зовут?

— Вилли. Вильгельм Артурович Эрнст. Говорит, в Энгельсе когда-то учился. Долго у нас главбухом работал. Здесь все его знают.

— Давай, отложим на завтра. Находился я сегодня, да и поработать бы надо еще часок-другой.

— Как хочешь. На завтра так на завтра. Тем более от Вилли так просто не отделаешься. Заговорит. Он такой...

Хайнрих хмыкнул, и я не понял: то ли одобряет, то ли осуждает.

IV

Сообразив, что для моей работы необходимы уединение и тишина, хозяева отвели мне комнатку, выходившую окном в сад, постель, стол, термос с кок-чаем. Благодать! Монотонно тикали громоздкие настенные часы и переливчато били через каждый час, напоминая о скоротечности жизни. Но работа не шла. И для того, чтобы переводить, нужно сосредоточиться, настроиться на события и время переводимого произведения, на его лад, тональность и бог знает еще на что. В романе, который я

переводил, назревали трагические события: к процветающему, богатому древнему городу Отрару надвигались полчища Чингисхана. Вокруг крепостных стен спешно сооружались камнеметы; поэт Хисамеддин и ученый Исмаил предпринимали дальновидные меры по спасению знаменитой Отрарской библиотеки; славный наместник города Иланчик Кадырхан, которого автор расхваливал на все лады, готовился к последнему бою с захватчиками. Надо было проникнуться страстями храбрых кипчаков, отстаивавших свою независимость семь с половиной веков тому назад, живо вообразить трагедию Шелкового пути, мысленно совершать многомесячные путешествия с купеческим караваном, а тут, в современной Березовке, царила размягченная тишь, сердито болботал индюк, ворковали без устали горляшки, доносились обрывки немецких фраз, хлопала калитка, то и дело забегала малышня, внуки Эмилии, чтобы посмотреть «мультики» по телевизору, и вообще вся современная обстановка со всеми атрибутами цивилизации и весь мой нынешний душевный настрой не позволяли окунуться в грозную эпоху чингисхановских нашествий. Не способствовали моим стараниям и участившиеся визиты Готлиба, или Гоши, как его домашние называли, старшего пасынка Хайнриха. Гоша — рыжий детина, увалень, толстолицый, с пивным брюшком, с запорожскими усищами. То ли он считал на правах какого ни на есть родственника обязанным развлекать меня, то ли просто маялся от безделья (накануне он повредил руку и теперь бюллетенил), сказать трудно, но наведывал меня по два-три раза в день, устраивался рядом за столом, шумно отдувался, палил папиросу за папиросой, тут же усердно разгоняя дым под моим носом, и удивлялся тому, что пишу я не на разлинованной бумаге и все равно так ровно ложатся строчки.

— Ты строчи, строчи, — простодушно говорил он. — Я тебе не помешаю.

Я успел заметить: Готлиб любит трепаться обо всем на свете — о политике, о международном положении, о крупных взяточниках, которым, как мне показалось, он завидует, о спорте, об искусстве и всегда с таким апломбом, с такой напористостью, с абсолютной уверенностью и несокрушимой претензией, что становится неловко. Спорить с ним или возражать его благоглупостям выше всяких сил, просто немыслимо. Он убежден: все, что делается на свете, преследует корыстную или пакостную цель, а

люди только и заняты тем, что стараются друг друга обмишулить. «Знаю, знаю... – говорит Готлиб, многозначительно щурясь. – Я человек проницательный. Насквозь всех и все вижу».

– Слушай, – сказал он при первом же знакомстве. – Напиши обо мне книгу, а? Я поставлю тебе четверть вина и буду рассказывать, а ты пиши. За неделю роман настрапаешь. Уверяю. Только всякие эти штучки-дрючки... как это... домысел-вымысел разный оставь. Не люблю. Пиши все, как есть. Во книга выйдет!..

Я отшучивался, отмахивался, а он все наседал:

– Что? Не сможешь? Слабо, да?

Неодобрительно отнесся он и к моим переводам.

– Кому это надо? Этих писак и по-казахски никто не читает. Не веришь – спроси моего напарника Андербая. Только бумагу зря переводишь.

– Ну, скажешь тоже...

– Что? Не нравится? А я всегда правду говорю. Зайди в наш магазин. Книг до потолка, а никто на них не смотрит.

В другой раз спросил вприщур:

– Слушай, это верно, что проучился семнадцать лет?

– Верно.

– Ну и что имеешь?

– Как что?.. Работу, интересы разные...

– Я не про то... Работу у нас все имеют. Дом, дачу, машину, хозяйство имеешь?

– А-а... квартира казенная...

– Казенная... – передразнил Готлиб. – А я вот, например, шесть классов кончил, понимаешь?! А любого твоего профессора за пояс заткну. Не веришь? Имею собственный дом, шесть комнат с верандой, хозяйство, сад двенадцать соток, машину, тридцать уликов и сберкнижку, потолще твоего романа будет. Так-то вот!

Готлиб ткнул пальцем в раскрытую книгу «Шелковый путь» и противно хохотнул.

Возразить я не мог, да и не хотел, потому промолчал. Увы, подобные суждения и аргументы были мне знакомы. Мне их приходилось и раньше слышать от некоторых моих соплеменников, и это-то меня всерьез беспокоит. Я еще не уяснил для себя, в чем тут дело: то ли так уродливо аукнулись ограничения тридцатилетней давности, то ли сказывается пресловутый немецкий практицизм, то ли это проявление какой-то непостижимой ограничен-

ности, бездуховности, — не знаю, не знаю, но совершенно очевидно, что многие юноши и девушки из отечественных немцев в последние годы не очень-то рьяно стремятся к высшему образованию, предпочитая быть механизаторами, техниками, хлеборобами, рабочими. Греха в том большого, может и нет, наверняка нет, но крен в общем интеллектуальном развитии намечается все явственней, а это обстоятельство не может не тревожить, ибо неминуемо ведет к невежеству, замкнутости, самоуверенности, бюргерскому бахвальству и самодовольству, своеобразному чистоплюйству и чванству.

Накануне по телевизору передавали концерт. Сцена из балета вызвала у Оскара, восьмилетнего отпрыска Готлиба, саркастическую усмешку:

— Фуй, фуй! Такой лобан, а скачет, как козел. Его бы на стройку запрячь, попрыгал бы, голубчик!

И уставился на меня, надеясь, видно, что я восхищусь его заемной остротой и по достоинству оценю ее. Запела певица, и опять Оскар прокомментировал:

— Ой, ой! Орет, будто режут. Вот отправить бы ее на хлопок канар тягать. Посмотрел бы на нее!..

И опять этот хохоток со всеми отцовскими интонациями.

Грустно. И то, что такое свойственно — увы! — не только иным моим соплеменникам, — слабое утешение.

Говорят, Готлиб — классный электросварщик, хороший хозяин и семьянин, все к себе гребет, своего никогда ни за что не упустит, не брезгует и левыми заработками, мастерски, даже художественно изготавливает могильные ограды. Может, действительно так, может, и трудяга отменный, умеет вкалывать не задарма, но душа его черства и завистлива, он слышать не может, чтобы у кого-то было хорошо: лучший дом, лучший двор, лучшая свинья и собака, лучший заработок должны быть у него одного. Особенно тяжко слушать его разглагольствования об ансамбле «Фройндшафт», о немецком театре, о немецких газетах, о немецких передачах по радио — все это Готлиб характеризует одним словом: хундстрек — собачье дерьмо. Это его едва ли не самое любимое определение для всего, что не связано с его личным заработком.

Разоблачить, развенчать кого-либо — страсть Готлиба. Тут он, пожалуй, и родного отца не пощадил бы, будь он только жив.

— А дядя Карл, отец твой,— чудак. Сколько раз приез-

жал к нему, а он все в райкоме торчит. Придумали тоже: совет ветеранов. Ну и что? И что он от этого имеет? Ну, грамоты там, благодарности... Ну, премии иногда, смешно сказать, десятку-двадцатку...

— Как же... — заступился я за отца. — Старый коммунист. Активная душа. Ему до всего есть дело.

— Брось! — поморщился Готлиб. — Какое там дело? Видимость! Виноград-то у дяди Карла — срам. А сад? Полная запущенность! И поливать-то толком не умеет. Какая уж тут, к чертям, активность?

— Что ж... Каждому свое...

— Э-э... Чушь! Лучше бы свиней завел. Или нутрий. Навар все-таки. А он придет из райкома и начинает на скрипке пилить. Смешно! Человеку без малого восемьдесят, а он все вальсики-полечки наигрывает и при этом еще и притопывает.

Мне трудно спорить с Готлибом. Таких не переубедишь. К тому же он, действительно, недалек от истины, когда говорит о житейской непрактичности, бескорыстии моего отца. Что есть, то есть.

Не работалось мне в парадных хоромах Хайнриха, и я на третий день своего пребывания у него перебрался в сарайчик в углу сада, поставил себе раскладушку, рядом ящик из-под яблок вместо стола, и здесь, в суматошной тиши, продолжал переводить роман из эпохи отрарской цивилизации. Бабушка Амалия, кажется, обиделась. Такой чистый, светлый, просторный дом, а он... И Хайнрих недоуменно пожал плечом: что за причуда... Что соседи подумают?

Просыпался я рано, в пять часов. Некоторое время лежал, с наслаждением вдыхал росистую свежесть сада, вслушивался в утренние звуки: на все лады перекликались петухи, сладко бормотали в ветвях горляшки, озабоченно суетились воробьи, в дреме тяжко всхрапывал кабан, у калитки, позевывая, потягивался и позванивал цепями старый пес Каро. Потом доносился приглушенный скрип двери: это выходила из летней кухни бабушка Амалия, как всегда, в темном глухом платье, в расшитом переднике, в платочке. «Трип-трап», «шлип-шлеп» — слышались ее равномерные шаги по дорожкам сада, точно ход старинных часов. И тотчас оживала, завсполашивалась вся живность за железной сеткой в предвкушении утренней подкормки. Потом легкими, быстрыми шажками спускалась по ступень-

кам крыльца Эмилия, шла к колонке, чтобы пустить воду по желобку в сад, и тотчас, схватив по пути подойник, спешила к Марте, степенно дожидавшейся хозяйки под навесом. Первые тугие струйки молока звучно цвиркали о дно подойника. Затем выходил на крыльцо Хайнрих, в майке, в рабочих брюках, в тапочках на босу ногу. Оглядывая по-хозяйски подворье, курил, почесывался, потом отправлялся отпирать кладовки, чтобы впустить в них утреннюю прохладу. Точно к этому времени Эмилия заканчивала дойку, и Хайнрих выводил Марту на выпас. Потом некоторое время слышалось позвякивание из летней кухни, и в запахи сада примешивался тонкий аромат кофе со сливками: хозяева завтракали.

Я невольно ловил себя на мысли, что все это мне знакомо давным-давно, весь этот четкий, отменно налаженный уклад и распорядок. Он существовал — понятно, с некоторыми отклонениями — и тогда, в то, довоенное время, когда я, навещая родное село родителей, попеременно гостил то у бабушки, то у дяди Фрица, то у дяди Виллема. Эти уклад и распорядок существовали и в отчем доме позже, там, в казахском ауле, когда мы, дети, жили еще все вместе с родителями. Весь этот привычный уклад быта встретился мне и здесь, в Березовке, в доме двоюродного брата. Жизнь иная, время иное, разительна разница в достатке, в материальном уровне, в обстановке, а манера жизни, уклад повседневного бытия, распорядок очень схожи. Даже запахи, чудится мне, те же: уютные, по-домашнему теплые, умиротворяющие. Даже слова, словечки и выражения, разные присказки и присловия, диалектно окрашенные, весьма своеобразные и, на мой взгляд, более сочные и образные, чем «хохдойч», то есть, литературный немецкий, в устах бабки Амалии, Хайнриха и тети Эмилии звучат роднее и милее. Может, оттого, что они идут оттуда, из тех глубин, откуда вышли наши предки и, перейдя из поколения в поколение, все еще затрагивают в наших душах почти что онемевшие струны... Не могу судить. Я отбрасываю, как бы стряхиваю с себя непрошеные мысли и принимаюсь за перевод романа из эпохи нашествия свирепого Чингисхана на кипчакскую землю. Смертельная опасность нависла над Отраром, а наместник его, Иланчик Кадырхан, был озабочен спасением древнего книгохранилища.

V

К обеду нагрянули «сестры Федоровы» – Элла, Эльвира и Эрика, и в просторном дворе Хайнриха сразу стало тесно и галдежно. «Сестрами Федоровыми» их прозвали среди родственников давно, во-первых, потому, что их отца звали Федором, точнее Фридрихом, а во-вторых, потому, что они хорошо пели, слаженно, увлеченно, напоминая известное в свое время семейное трио.

Мне они приходились двоюродными сестрами, всех трех помню с детства, почти девчонками; правда, после долгой разлуки, когда встретились вновь, все три были уже многодетными взрослыми женщинами.

Семья и дом дяди Франца – будто ясные, радужные блики в туманной дали моих воспоминаний довоенного времени. Дядя Фриц, рослый, поджарый, молодцеватый, был весельчак и не дурак выпить. Жил легко, размашисто. Дети его, как я теперь понимаю, все обладали очевидными способностями, имели зрячую душу. Сам дядя Фриц играл на скрипке и кларнете; старший, Вольдемар, гордость семьи, играл на всех струнных инструментах, рисовал, питал склонность к сочинительству, в девятнадцать лет его по всей округе называли почтительно – лерер Карлсон, то есть учитель Карлсон. Все дочери, их было четыре, учились легко, все схватывали на лету, пели, плясали, декламировали, слыли заводилами. Там, где появлялись белокурые дочки дяди Фрица, царило веселье. Молодежь льнула к ним.

Лихолетье перечеркнуло все: никто в этой семье так и не смог проявить свои природные задатки и способности.

Вольдемар погиб в трудармии еще в конце сорок первого. Было ему девятнадцать лет.

Дядя Фриц погиб там же, ровно через год, в возрасте сорока четырех лет.

Эльза, старшая из сестер, подорвала здоровье в трудармии, умерла уже после войны в двадцать четыре года.

Пятнадцатилетней попала в трудармию и Элла, но выжила, вернулась. Мать в отсутствии взрослых похоронили в глухой алтайской деревне младшие дочки – одной было тогда тринадцать, другой – семь.

Три сестры оказались цепкими, стойкими: все вынесли, выдюжили. Не сломились. Выросли дерзкими, неуемными, независимыми. Теперь они уже бабушки, но по-прежнему поют, пляшут, вечно шутят, озоруют, командуют

детьми, зятьями, снохами и внуки в них души не чают, прекрасно сознавая, что с такими бабушками не пропадешь. Только, случается, на бабу Эллу находит иногда дурь, тоска лютая, особенно после смерти мужа, и воспоминания выводят ее из равновесия, и поделиться ими не с кем, не станешь же рассказывать про то, что испытала и пережила, перечувствовала в хрупком, девчоночьем возрасте в тайге, на лесоповале, за колючей проволокой, в стылых бараках, внукам, нет, не расскажешь, не поймут, а может, и не надо, чтобы понимали. Прошлое для неокрепших душ юного поколения – непосильное бремя.

Младшие сестры чутко догадывались, когда «бабе Элле» становилась невмоготу, когда на нее накатывалось это, они тотчас соображали какую-нибудь пирушку, или отправлялись в путь, к кому-нибудь из родственников, и там за песней, плясками, за беседой обо всем на свете старшая отходила, вновь обретала душевный покой, а вместе с ней и Эльвира с Эрикой отводили душу.

На пенсию они ушли рано: все три работали на вредном производстве, в шахтах, на руднике. И потому охотно разъезжали, не боясь никаких расстояний и трудностей пути, были легки на подъем. Сопровождали их неизменно во всех походах Яша, точнее Яков Филиппович, муж Эльвиры – плотный, коротконогий, плосконосый, весь какой-то круглый, бугристый, точно из камня тесанный, добродушный мужичок. Сестры незлобиво потешались над его обликом, над неуклюжестью, медвежеватостью, над неторопливостью его во всем, над смешным выговором – как известно, в языке правобережных и левобережных немцев Поволжья также имелась немалая разница. Яков запросто сносил все шутки и розыгрыши сестер, сам при случае способен был отмочить хохму, получалось это у него само по себе, неожиданно, и все охотно хохотали, понимая друг друга, острили, не заботясь о том, удачно или невпопад, и тем самым создавали вокруг себя атмосферу этакого легкого компанейства, бесхитростного веселья. В любую компанию они вписывались без труда.

Вот и сегодня, перепугав дремлющего пса Каро у калитки, ввалилась четверка бравых гостей во двор Хайнриха: впереди с двумя огромными чемоданами в руках и с рюкзаком за спиной, весь потный, красный, пер напропалую Яков, за ним, ежеминутно похохатывая, зорко примечая все вокруг, вышагивали дородные сестры.

— Гот, ах, гот, кого я вижу! — необычно громко воскликнула бабушка Амалия.

— О-о! — торжественно отозвались сестры. — Либе вес-Мале!

И сестры попеременно обняли старушку, расцеловали ее, громко восторгаясь и одновременно смаргивая быстрые слезы.

На шум появилась на крыльце и тетя Мария. Вглядываясь, близоруко щурясь.

— Ах ду, ах ду!.. Уж не Фрица ли дочки объявились?

— Они самые!.. Что, не ждали?!

И опять началось: поцелуи, объятия, слезы, возгласы — ах, ах, ох, либер хайланд, либер цайт, майн гот, ах, боже ты мой, такая встреча, такая радость, ой-ой...

Яша стоял, как ошарашенный, таращил глаза, озирался вокруг, кепкой вытер распаренную лысину, лицо.

— Гутен таг! Попить что-нибудь есть? Жарко!..

Сестры гаркнули.

— Ха-ха-ха, попить ему!

— О-хо-хо, жарко ему!

— Ляг в арык, остудишься!

— Или вон рядом с кабаном... прохладно.

— А что?.. Как раз! Друг от друга не отличишь.

— Как братья-близнецы...

— Хи-хи-хи...

— Вот бабы, а! — укоризненно покачал головой Яша. — Им бы лишь позубоскалить.

Бабушка Амалия засуетилась, зашаркала к летней кухне.

— Что дать? Квас? Молоко? Воды? Минералку? Вино? Чай? Сок?

Яша опешил от такого выбора. Облизнул иссохшие губы.

— Все равно. Лишь бы холоднее было...- И, еще подумав, коротко взмахнул рукой. — А-а... давай молоко!

Сестры опять поддели:

— Ишь ты, губа не дура!

— Рразбирается!

— Старый бык, а молочко любит.

Бабушка Амалия вынесла кринку молока, и Яша, запрокинув голову, судорожно водя кадыком, обливая ворот рубахи, побагровев весь, принялся пить долго, наслаждаясь.

— Эй, эй... оставь немножко.

– Обопьешься!.. Лопнешь!..
– Смотри, как бы что не случилось.
– А до конца сада далековато.
– А-ха-ха... О-хо-хо... Хи-хи-хи...

Яша выпил все до капельки, заглянул в кринку, перевел дух.

– Да-а... – изрек степенно. – Молоко – это вещь! А душ у вас где?

– Глянь, душ ему теперь понадобился.
– Вон под колонкой помойся.
– А после душа еще что-нибудь захочешь, а?

Яша, не обращая внимания на привычную болтовню сестер, распотрошил чемодан, достал пижаму, деловито потопал в глубь сада. Гостьи попеременно шмыгали в дом, переодевались с дороги, плескались у колонки, громко обменивались новостями с бабушкой Амалией и тетей Марией. Старухи точно помолодели, глаза их сияли от радости, вот уж теперь-то наговорятся всласть, все-все вспомнят, никого не забудут, мысленно обшарят каждый дом родной деревушки Мангейм и обстоятельно проследят в неторопливой беседе жизнь каждого земляка, начиная с конца двадцатых годов, никого не пропустят, ни живых, ни мертвых, и детей, и внуков переберут, где бы они теперь ни жили – дочки Фрица ведь все и всех помнят, только диву даешься, как это им удается. Поговорят, повздыхают, посмеются и поплачут, за беседой Эльвира будет задумчиво перебирать струны гитары, Эрика тихо, как бы про себя, напевать полузабытый, но столь родной мотивчик из тех, далеких времен, а Элла оторвет какой-нибудь едкий, хлесткий шнёркель-частушку, бывшую в ходу в пору коллективизации. Все это будет, будет, потом, вот уж позабавят и утешат душу по-прежнему бойкие, озорные дочери Фрица, никакого концерта не надо, и в предвкушении этих счастливых часов старухи заранее умиляются, точно душой оттаивают.

Видно, на радостях бабушка Амалия забыла про меня, иначе сестры вместе с Яшей тотчас кинулись бы ко мне и от избытка родственных чувств разнесли бы сарайчик, мое убежище, в щепки. С тех пор, как я переселился сюда и выхожу лишь обедать или для вечерней прогулки, бабушка Амалия смотрит на меня с жалостью. «Ай, ай, сынок мой, тяжелая, однако, у тебя работа, – сказала она на днях. – Разве мыслимо целыми днями читать и писать? Свихнуться можно. А уж глаза непременно попортишь.

Вон Вилли – тоже бухгалтер и тоже все время с книжками водится, а как ты не засиживается... не-ет».

Так и не удалось мне убедить старушку, что никакой я не бухгалтер.

С «сестрами Федоровыми» я встречался в прошлом году дважды – на юбилее отца и проездом через Рудный. Они, понятно, не догадываются, что я сейчас здесь, у Хайнриха. И я не спешу выходить из своего укрытия, думаю, подойду этак незаметно во время обеда, присяду с края стола, как ни в чем не бывало – вот уж переполоху будет. Но вижу: бродит, заложив руки за спину, растелешенный, в одних пижамных штанах Яша по саду. Все внимательно оглядывает, здравым оком все взвешивает, оценивает, круглой головой качает, бормочет: «Да-а...» Вот он медленно приближается к сарайчику, и я откидываюсь на подушку, делаю вид, что сплю. Яша заглядывает в узкий проем, застывает на мгновение и кричит сестрам:

– Эй, бабоньки, сюда... сюда. Сюрприз!

Сестры дружно срываются с места, спешат на зов их предводителя.

Я едва успеваю подумать про себя, что сцену крушения Отрара мне уже здесь не завершить, как оказываюсь в бурных, крепких, горячих объятиях сестер.

VI

Наша беседа, немного сумбурная, клочковатая, длилась третий час, а хозяин, бывший бухгалтер Вильгельм Артурович с неутомимостью все обрушивал на меня бесконечные сведения, факты, цифры, вскакивал ежеминутно, размахивал руками, доставал с полок книги, папки, приговаривая:

– А вот теперь полюбуйтесь на это, мил-человек!

И глядел на меня пристально, косился как-то сбоку, по-птичьи, горделиво, победно и настороженно. Седой хохолок задиристо торчал над высоким, облысевшим лбом. Глаза поблескивали возбужденно.

Собрал Вильгельм Артурович и в самом деле незаурядную библиотеку – большей частью книги по истории, этнографии, статистике. Много было также справочников и энциклопедических словарей. На полках пестрым рядком выстроились книги советских немецких писателей, изданных в послевоенное время в Москве, Алма-Ате, Барнауле. Я скользнул было взглядом по знакомым обложкам, и хозяин тотчас заметил:

– Ну, это вы знаете... Здесь и ваши вещи. А вот что скажете на это, мил-человек?

И совал мне в руки пожелтевшие от времени, но старательно подклеенные книги и журналы на немецком языке, увидевшие свет лет шестьдесят-семьдесят назад в Саратове, Энгельсе, Харькове. Многие из этих изданий я знал лишь понаслышке – по библиографии Ф. П. Шиллера и по разным литературоведческим и критическим статьям в немецкой периодике.

– Откуда у вас все это?

– О! – польщенно воскликнул Вильгельм Артурович. – Кто ищет, тот найдет, не так ли?

Потом, решив сразить меня окончательно, начал молча подавать одну за другой и вовсе редкие книги – сплошь дореволюционные издания. И, наконец, выложил кипы фотокопий газет и журналов «Дер Кемпфер», «Унзере Виртшафт», «Фольксцайтунг», «Темпо», даже несколько номеров «Руссише ревю», издававшегося более ста лет назад в Санкт-Петербурге.

– Ну-у, знаете... – невольно вырвалось у меня.

– Хм-м... а вам известно, сколько жило немцев в Петербурге сто лет назад?

– Нет.

– Так вот, мил-человек... шестьдесят пять тысяч!

– Откуда вы это взяли?

– А вот... пожалуйста, – Вильгельм Артурович подал небольшой плотный томик.

Книжица оказалась любопытной. Некий Фридрих Майер фон Вальдек около тридцати лет прожил в России, преподавал в университете, издавал газету, скрупулезно, дотошно собирал сведения о быте, нравах и обычаях народов, населяющих Российскую империю, и в 1884 году в Лейпциге выпустил книгу под названием «Русланд» с интересными иллюстрациями, репродукциями и фотографиями. Я принялся было читать главу о петербургских немцах, но хозяину не терпелось показать другие свои сокровища. Передо мной на этот раз выросла кипа папок: библиография по истории советских немцев, материалы для лексикона немецких литераторов нашей страны, тексты разных документов от обращения и манифестов Екатерины II 1763 и 1764 годов до Указа Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 года, копии архивных материалов, газетные вырезки, подшивки «Нойес лебен», «Фройндшафт», «Роте Фане».

– Думаю, таким богатством и лучшие библиотеки не обладают, – заметил я.

– Хм... Еще бы! Всю жизнь собирал, мил-человек. Все отпуска на поездки и сборы трачу. А вот это видели?

Я и вовсе опешил, увидев перед собой огромный, более девятисот страниц, богато изданный в начале века том – «История меннонитов в России» П.М.Фризена. Редчайшее издание! В нем подробно, с немецкой обстоятельностью и дотошностью прослежен тернистый путь меннонитов с того времени, как ровно двести лет тому назад в районе Днепропетровска поселились первые двести двадцать восемь меннонитских семей.

Книга шикарно иллюстрирована фотографиями известных деятелей просвещения, духовенства, а также картинами из жизни российских и североамериканских меннонитов-немцев.

– Когда-то эту книгу раздобыл еще мой отец, и я сберег ее, мил-человек. А это, сами понимаете, было непросто.

– Понимаю, понимаю...

Вильгельм Артурович – потомок немецких колонистов Поволжья, но родился он уже здесь, в Березовке. Дед его был в числе первых переселенцев, обосновавших Биркенталь, и Вилли хорошо помнит его рассказы о здешнем крае в начале века. Может, они-то и разбудили интерес мальчика к истории. До войны Вильгельм Артурович успел окончить два курса исторического факультета в Немецком педагогическом институте в Энгельсе, участвовал в археологических и фольклорных экспедициях на Волге. Война, трудармия, годы восстановления и житейские неурядицы вынудили проститься с детской и юношеской мечтой. Он стал дельным бухгалтером, а история так и осталась увлечением на всю жизнь.

– История – это человеческая память. Правда? Прошлое уходит. Верно. Но, заметьте, мил-человек, не умирает. Нет! Я бы даже так сказал: прошлое не проходит. Оно живет в нас. Да, да! Вы согласны? – Вильгельм Артурович раскраснелся, начал возбужденно потирать длинный нос, быстро-быстро заходил вдоль стеллажей небольшой комнаты. Казалось, он спорил с невидимым противником. – История – это память. А память не отшибить. К ней надо относиться уважительно. Мы и так порой излишне усердно внушаем людям, что у них в прошлом ничего не было. А недавно один чудак, облаченный

властью, даже высказал публично такое мнение, будто история советских немцев начинается с выхода газеты «Фройндшафт» в Казахстане, то есть, с 1966 года. Каково? Но это вздор! И вот кое-кто из нашего брата начинает верить в это. Потому что так удобней, так проще – жить одним сегодняшним днем. Но, мил-человек, надо ведь знать, откуда ты взялся. А?! Какой же ты человек, если у тебя нет прошлого, если гордиться тебе нечем. А?!

– Ну-у... завелся, старина. Сельский Геродот! Оседлал любимого конька. Не остановишь!

Мы оба обернулись на насмешливый голос. У двери, привалившись к косяку, стоял в расстегнутой ковбойке рослый мужчина, лет сорока, с бакенбардами и улыбался. Вильгельм Артурович чуть сконфузился, сник, бросил мне глухо:

– Знакомьтесь. Сын мой Петер.

– Здравствуйте! Заморочил небось мой батя вам голову своей историей?

– Что вы?! Наоборот. Очень интересно. Познавательно.

– А я так думаю... – Петер подмигнул мне и сказал отцу: – Никому этот хлам не нужен!

– Как не нужен?!

– А не нужен – и все! Просто! У каждого дня своих забот хватает. А займешься историей – только расстроишься. Много думать начнешь.

– А тебе, конечно, думать неохота, да? Или недосуг, да?

– Кому нужны твои воспоминания? Что было – сплыло. С возу упало – пропало. А некоторые и вовсе считают: то, что было, – не было. И весь сказ!

– А у тебя какие воспоминания? Сколько сегодня накосил, да напахал, да сколько за это получишь, и все?

– Ладно, батя. Некогда лясы точить. Пошли обедать. – Петер обернулся ко мне и опять подмигнул. – Историей ведь сыт не будешь.

И за обедом словесная перепалка между отцом и сыном продолжалась. Петеру точно доставляло удовольствие поддразнивать отца своими безапелляционными выпадами, а Вильгельм Артурович досадливо хмурился и горячо возражал.

– Много нелепостей в вашей истории, фатер. Прежде всего нелепо само это именование – совьетдойче? Зачем эта привилегия? Есть что-то в этом нарочитое, искусст-

венное. Мы же не говорим «советский узбек», «советский киргиз», «советский удмурт или каракалпак». Верно? Так почему же тогда говорим «советский немец»? Разве нельзя без определения?

— То есть? Как бы ты хотел называться?

— Ну, меня лично устраивало бы простое «дойчер»? Что я советский — и так безо всякого сомнения, раз живу здесь уже двести лет. А можно и по-другому.

— Что «по-другому»?

— Ну, называться по-другому.

— Это еще как?

— Ну скажем... — Петер выглянул в окно, в палисадник. — Гиацинт. Или тюльпан... Чем не национальность? Очень даже красиво!

— Глупость! Чушь!

— Почему? Спросят про национальность, а ты: «Гиацинт». И все ясно. Вопросов нет. Претензий — тоже. А скажешь: «Немец», и пошло: «Какой?», да «Откуда?», отсюда или оттуда, из тех или этих, «наш» или «не наш»... Сплошная морока!

— Несешь бог весть что. Стыдно даже!

— Если стыдно — считайте пошутил. — Петер отодвинул тарелку, залпом выпил компот. — Извините. Беседуйте дальше. Я побежал. Два комбайна с утра олухи запороли. Надо подладить, японский бог! Ваша забота — история, а моя — где бы раздобыть запчасти. А ты, фатер, не возбуждайся. Внушай себе: что было — не было. И никаких тебе забот.

За окном прострекотал мотоцикл. Мы дообедали молчком. Вильгельм Артурович сумрачно дергал бровями. Седой хохолок сник и прилип ко лбу.

— Не обращайте внимания... Петер у меня балабол. Правда, так думает не он один.

Это действительно так. Не он один — увы! — так думает. Суждения такого толка — для меня не новость. Нечто подобное приходилось слышать не раз в поездах, на читательских встречах — и в шутку, и всерьез. Мне, конечно, понятно, что дело тут не в истории, а в том, что вокруг иных вопросов излишне много наслоено, накручено, что разные недомолвки и оговорки слишком часто приводят к искажениям и извращениям, и кое-кому, особенно из молодежи, проще и удобнее от всего отмахнуться.

— Беда в том, что и из ученого нашего брата кое-кто так думает, — продолжал Вильгельм Артурович. — Мало о

прошлом «русских» и «советских» немцев пишут. А зря. Есть люди, которые не знают, что это за народ такой и откуда он взялся. Иные даже полагают, что мы едва ли не потомки гитлеровских военнопленных. Да, да, сам свидетель. Смешно и грустно. Историю своего народа нужно знать, нужно пропагандировать. Иначе внуки-правнуки наши вырастут подшибленными, закомплексованными. Просто, я бы сказал, обделенными. Простая вроде истина, а ее все время приходится доказывать. Вот... Часто бываю в школе. Ну, это, в родительском комитете по старой памяти состою. Прихожу раз — изучают индикатив, конъюнктив, императив и прочее что-то в этом роде. Ладно. Прихожу второй раз — весь урок долбят слабые и сильные глаголы. Ладно. Иду еще на один урок в другой класс — опять партицип-айн, партицип-цвай. А в классе больше половины — немцы. Попросил у учительницы разрешения, спрашиваю детей: кто из советских немцев Герой Советского Союза? Не знают. Спрашиваю: каких Героев Социалистического Труда из числа немецкой национальности знаете? Молчок. А из ученых кого знаете? Из музыкантов? Из спортсменов? Ни бум-бум! Смотрю на учительницу. Она говорит: в программе этого нет. Чувствую: и сама учительница не шибко знает. Ладно, думаю, спрошу о чем-нибудь полегче. Говорю: а из писателей, ребята, кого знаете? Одна руку тянет. Обрадовался. Ну, милая, говорю, кого же? Блесни-ка эрудицией. Встает, отвечает торжественно: Иоганн Гете. Это, значит, Гете — советский немецкий писатель. Это как, а?! Это нормально, а? Это справедливо, а?

Я молчу. В чем-то я, пожалуй, мог бы и возразить Вильгельму Артуровичу. Кто интересуется — тот знает. А кто ничего не знает, вернее, знать не желает — тому говори не говори — бесполезно. Кто должен нести ответ за чье-то невежество? Никто ведь не станет утверждать, что о заслуженных людях у нас не пишется, не говорится. И никому сейчас путь к познанию не закрыт. Другое дело, что и литераторы, и историки, и журналисты, и все мы вместе взятые еще слишком мало делаем для воспитания национального самосознания.

— Не-ет, мил-человек, без знания прошлого нового человека не воспитаешь! Вот почему я и собираю все это. — Вильгельм Артурович кивнул на книжные полки. — Пригодится, рано или поздно. И кто-то, может, спасибо скажет. А?!

Провожая меня, Вильгельм Артурович суетливо заходил то с правой, то с левой стороны, озирался, понижал голос:

– Если что лишнее сказал – извините. И зайдите при случае еще. Я ведь не все показал. Кое-что оставил и про запас. Хе-хе...

– Спасибо. Очень рад встрече. Вы энтузиаст, каких немного. И дело делаете нужное.

Вильгельм Артурович замолчал, зашмыгал носом. Потом сказал:

– Я ведь о молодых думаю... Ну, не может быть, чтобы их ничего не интересовало. Когда-нибудь обязательно спохватятся, спросят: «А откуда мы? Кто мы такие? Что хорошее сделали мы на этом свете?» Как вы полагаете?

...Я иду через всю Березовку в совхозный сад к Хайнриху. Походишь в одиночестве среди яблонь и груш – развеешься, все вокруг становится вроде как ясней и мудрей. А в том, что от прошлого не уйти, что прошлое не умирает окончательно, никогда не умирает, бывший бухгалтер, любитель-историк Вильгельм Артурович Эрнст прав. Прошлое продолжает жить в настоящем, составляет основу для развития в будущем. Уродство прошлого обернется гримасой настоящего.

VII

Застолье во дворе Хайнриха разгоралось и находилось в той стадии, когда уже немало съедено и выпито, и уже витает над всеми дух единства, всеобщего согласия, и все более распахиваются души, течет беседа, захлестывают воспоминания, временами налаживается песня, и кто-то непременно норовит пуститься в пляс. В застольях родственных людей мне нравятся именно эти мгновения. Каждый о каждом знает все, или, по крайней мере, многое; все реплики, намеки, шутки доступны и понятны на фоне прошлой жизни, единой судьбы, которая всегда с тобой, как бы незримо присутствует, и все, что делается и говорится вокруг, ты воспринимаешь как еще одну деталь, еще один штрих частной жизни, находящей отзвук, сочувствие в твоем сердце и вливающийся в одну, большую общую Жизнь.

Застольем заправляли главным образом «сестры Федоровы». Гитара в руках Эльвиры не умолкала; Эрика

аккомпанировала ей на балалайке. Элла запевала, отчаянно брала самые безнадежные, казалось бы, «верха». Пели сестры слаженно, в три голоса. К ним сразу пристроился Петер. Меня он удивил тем, что хорошо знал большинство старинных немецких песен, те, которые пели на Волге искони, и ладно, в такт гудел низким, раскатистым басом. «Точно баритон твоего дяди Конрада», — шепнул мне, проходя мимо за очередной бутылью вина, Хайнрих. Я понял, о чем он. Среди немцев Поволжья музыка всегда была в чести. Почти в каждой деревне имелись искусные музыканты; много было духовых оркестров. Они гремели на свадьбах, в дни разных празднеств и торжеств. Духовой оркестр Мангейма славился во всей округе. В нем играли почти все мои дядья и старшие двоюродные братья. И я помню, как всех особенно восторгала игра дяди Конрада. Густой и мягкий, бархатный звук его медного баритона удивительно украшал любой вальс, любую польку, как бы оттенял мелодию, обволакивал, обрамлял ее, купался в слитных звуках оркестра. Репертуар сельских музыкантов был разнообразен и богат. В этом я убедился, найдя недавно в бумагах отца ноты капельмейстера и кларнетиста Давида Гертера, моего дедушки по матери. Нотные эти записи были сделаны в 1914 году.

Подпевали сестрам, подтягивали, как могли, швегерин Эмилия и старухи Амалия, Мария и Гильда. Временами пели все, за исключением Яши и Готлиба. Эти двое с вечера сели рядком, основательно ели и пили без передыху, словно задались целью перемолоть в своих утробах как можно больше добра, и вяло, нудно выясняли один вопрос: где немцам живется лучше, на севере или на юге, на Алтае или в Казахстане, и кто состоятельнее живет — он, Яков, или все тот же Готлиб. Только и слышно было: «У меня в доме...», «А у меня в гараже», «У меня на даче...», «А у меня в огороде», «Мои пчелки...», «Мои хрюшки...», «Я разводил одно время кроликов...», «А я, знаешь, голубей... по пятнадцать рублей штука», «А еще выгодны нутрии...», «Да, нутрии — это вещь!», «Но лучше — песцы...», «Да, но с ними возни много... да и накладно...»

Были уже спеты неизменные, традиционные, самые популярные «Прекрасна молодость», «Усталый путник возвращается домой», «У любимой моей губы — розы лепесток», «Пошел однажды я гулять». Потом общими усилиями вспомнили кое-какие обрывки «жестоких» баллад про «офицера», у которого была «шёне юнге фрау», про

девушку, опозоренную проезжим ухарем, про безответную любовь, о цветке, увядшем на заре.

— Эй, милые люди, не слишком ли тоскливо? — заметил Хайнрих и завел шуточную песню про смазливую мельничиху, которая однажды, когда муж ушел на охоту, вознамерилась сама смолоть муку.

Ну, кто ей помешал? Кто стал тому помехой?
Да, да... свекруха злая. Да, да, она. Свекровь!

И стал бойче гитарный перезвон, и шибче, искристее рассыпалась балалаечная дробь, точно озорной огонек всколыхнул мигом компанию, и уже Элла ринулась из-за стола, вскинула руки, затопала мощно, выдав россыпь деревенских прибауток-шнёркелей бог весть каких времен.

Лю-пу-пу, лю-пупу,
Сказал нам старый Майер,
Что у него, что у него
В штанах . . . . . .

— Фуй, фуй... срамница! — всплеснула руками старая Мария. — Что она еще помнит?!

У Мари-Катрин, толстухи,
Два арбуза в блузе...

— Ха-ха-ха!

— Ай, либер гот! Что только раньше не пели?!

— Давай, давай, Элла! Не робей!

Вильгельм Артурович придвинулся ко мне. Он почему-то посчитал нужным прокомментировать каждую песню, объяснить, когда и по какому примерно случаю она была создана, кто ее записал, в каких сборниках встречаются ее варианты.

— Жаль, пропадает наш фольклор. Я не о таких вот озорных шнёркелях. Их и теперь еще сочиняют с ходу, с лету на немецких свадьбах. Я о песнях говорю, о поговорках, пословицах, шванках, дразнилках, частушках. Когда-то этим занимались Зиннер, Дингес. Где их собрания? Вот и Клейн умер. Всю жизнь собирал, копил. А издать успел одну лишь книжку. Пропадает ведь все, пропадает...

– Давайте споем «Аннечку из Тарау».

– Давай! Начали! «Аннечка из Тарау, сокровище мое...»

– «Ты боль моя, и счастье, и плоть, и кровь».

– Дальше! Что? Никто не знает слов? Вот-те раз!

– Тогда вот эту. «Ганс собрался на охоту...»

– «Но ружья он не нашел...»

– Что?! Опять мимо?

– Ха-ха! Ганс потерял ружье, а вы – песню.

– Надо же! Только начали, а уж – конец.

– Вот, вот... – нашептывал мне Вильгельм Артурович. – Все потеряем. Все забудем. И я не помню. А ведь когда-то все знали, все пели.

– Ой, да еще как пели! – поддержала его швегерин Эмилия. – Заслушаешься! Ездили на работу – пели. Возвращались домой – пели. Помнишь, вес-Мале?

– Как же! Особенно перед войной... хорошие были годы.

– Да, да... Как сейчас помню. В тридцать седьмом году был на Волге сильный урожай. Не знали, куда его девать. На трудодень давали по двадцать одному килограмму зерна. Ну, всего вместе – пшеницы, ржи, ячменя, овса. Больше всех тогда в деревне получала наша семья. Отец и брат работали бригадирами, одна сестра в табачной бригаде, третья – поваром. В семье девять человек было, и все работали. Представляете, сколько получали зерна! Гору! Восемь машин зерна повез отец на элеватор, посадив на каждую кого-нибудь из членов семьи. И над кузовом каждой реял красный флажок. И вся колонна называлась «Науманс Гетрайдецуг». И, понимаете, всю дорогу пели. И сердце заходило от радости. Восемь машин зерна сдали тогда родине. Одна лишь семья!

– Помню вашу семейную колонну, – сказал Хайнрих. – И тебя помню... на второй машине с конца. Сопливая еще была девчонка.

– Ну, да... скажешь! Мне шел тринадцатый год. И я все лето в табачной бригаде проработала.

Тетя Мария между тем рассказывала что-то оживленно тете Гильде, и к ее рассказу прислушались даже Готлиб с Яковом, оборвав свой нескончаемый спор о том, кого выгоднее держать, свиней или овец, и что дает больше дохода – огород или пчеловодство.

– И вот повезли нас на станцию. Эшелон уже стоял наготове. Возле «Спартака» остановилась машина, кончилось горючее. Ужас охватил нас. Вдруг эшелон уйдет, и мы останемся одни, без семьи, без ничего. Нас ведь повез-

ли прямо из бригады. До последнего мгновения работали.

— Йа, йа... и мы так, — поддакнула тетя Гильда. — В обед нас должны были привезти, а утром я еще доила колхозных коров. Еле успела сдать молоко. Михель, учетчик такой был, говорит: «Гильда, запишу тебе два трудодня». А я ему: «К чему теперь?» А он: «Порядок есть порядок. Ты же у нас стахановка... заслужила».

— Ну, вот... — продолжала тетя Мария. — Что делать? Провожатый накинулся на шофера. Диверсант, кричит. Шпион! По закону военного времени я тебя, контру... Побежал шофер в бригаду. Оттуда на верблюдах привезли бензин. Понеслись дальше. За пятнадцать минут до нас ушел поезд. Ой, ой, что было, что было! Реву — сил нет... Провожатый говорит: «Может, с зихельбергцами поедешь на следующем эшелоне?» А я тогда по-русски ничего не кумекала. Плачу и мотаю головой. Провожатый тут усмехнулся, нехорошо так, криво: «Может, домой хочешь?» «Та, та, — говорю. — Тамой, тамой...» Отпустил он меня... втолковал кое-как: смотри, дескать, через три дня поедешь другим эшелоном через Плес. Я ведь в Мариенбурге жила...

— И отпустил? И ты вернулась?

— Йа. Еще трое суток могла пожить в родном селе.

— Счастливая!.. Повезло!..

— Йа-ааа... Это еще как сказать... Пришла в деревню и обмерла. Ни души! Все вымерло. Тихо так — жуть. Бродили недоеные коровы. Бегали собаки. Паслись гуси, утки. Дома брошенные стоят. Будто чужие. Во дворе у некоторых кое-какое бельишко полощется. А ночью как начали выть собаки — думала, с ума сойду. Не доживу до рассвета. Дети, муж, родные — так и стоят перед глазами. Кошмар! Думала, свихнусь... Утром в деревню вошел отряд красноармейцев. Приказали варить. Разрешили подоить корову. Я тотчас направилась на баз. Зову: «Грета! Грета!» А она, коровушка моя, узнала мой голос, с диким ревом через все стадо бросилась ко мне. Обняла ее, будто родного человека, и плачу, плачу. И когда доила — плакала...

Тетя Мария умолкла, слепо уставясь вдаль. И за столом воцарилась тишина. Только Эльвира слегка, точно оглаживая, перебирала струны гитары.

— А потом? — напомнила тетя Гильда.

— Потом... известное дело. Привезли на Плес, там поместили в вагон. Как во сне. Помню: ехали долго. При-

шла в себя уже в Северном Казахстане. А семья, родные, это я потом узнала, попали в Панкрушиху, на Алтай.

– А нас сразу на сельхозработы мобилизовали, – заметила тетя Гильда. – Холод. Жить негде. Не одеты, не обуты...

Эту пору жизни, осень сорок первого, я помню до мельчайших деталей. Будто и не прошло столько десятилетий. И поныне, кажется, даже все щели товарного вагона, в котором нас везли на восток, в моей памяти. И тревожные лица, испуг в глазах людей, растерянность и подавленность, боль, слезы, все непомерное, многоликое горе – все, все навсегда врезалось в сердце.

– А я в ту пору аккурат из окружения выбирался, – как бы про себя сказал Хайнрих. – И ничего этого не знал.

– Это – боль. И от нее не уйдешь, хоть как бодрись, мил-человек. С этим придется свыкнуться. Как привыкает солдат к засевшей в теле пуле, которую и вырезать-то невозможно... опасно для жизни.

– У каждого свое, а вообще-то – все схоже, – встряла в разговор и Элла, вмиг посерьезнев. – Мне недолго пришлось вкалывать в колхозе на Алтае. Уже в следующее лето, мне еще и шестнадцати не было, мобилизовали нас в трудармию. Несколько сот баб и девчонок, все немки, ехали в товарняке через Омск, Тюмень, Киров. Прибыли, значит, на север, а там, в июле это было, днем и ночью, представляете, солнце светило. Трудно было привыкнуть к заполярным чудесам. Ревела поначалу – ужас. В нашей бригаде одни девчонки были. Работали по двенадцать часов. Спали в бараках, на нарах. От цинги спасались разными отварами. Ничего... выдюжили. А домой вернулись аж только в пятидесятом. Вот так долго длилась для нас война... Эх...

– Элла, смени пластинку, – спокойно сказала Эльвира, взглянув на сестру.

– Да, да, кончай, – подала голос и Эрика.

Петер хмыкнул:

– Я же вам всегда говорю, кому нужна история? Прошлое – прошло. То, что было, – не было. И баста.

– Ничего этого я не знал, – вновь заметил Хайнрих. – У нас тогда одно было на уме: вырваться из окружения. Любой ценой. Голодные, грязные, вшивые, измученные, раненые... как только уцелели! И казалось нам тогда, что в глубоком тылу – рай. А оказывается...

Ненадолго воцарилась за столом тишина.

— Тех, что с Волги, вывезли все же загодя, организованно. С кое-каким имуществом. А нас, из Крыма, в страшной спешке, за двадцать четыре часа, — заметила вдруг чем-то выделявшаяся за столом, аккуратно причесанная, подчеркнуто опрятная женщина, соседка Хайнриха.

— Она недавно оттуда вернулась, — шепнул мне Хайнрих. — Три года там жила.

Звали ее Магдалена Францевна. Сказывают, слыла бойкой, веселой, шумливой. Несколько лет назад, не устояв перед соблазнами «свободной жизни», решила выехать к брату в ФРГ. О тамошней своей жизни она почти ничего не рассказывала, должно быть, намытарилась-таки, так и не смогла вжиться в «рай» свободного предпринимательства, вернулась оттуда сама не своя — непривычно притихшая, робкая. Чем-то неуловимым выделялась она среди сородичей. Я даже не сразу определил, чем именно. Лишь прислушавшись к ее редким репликам, приглядевшись, я сообразил, что у Лены-Магдалены чуть иная осанка, манеры, даже сидит, ест и пьет как-то скованно, сдержанно, точно в оглядку, и выговор немножко другой, и слова нет-нет да и мелькали в ее речи непривычные, незнакомые, не нашенские — всякие там «арбайтслозе», «арбайтсхильфе», «казерне», «лагер», «шпэйтхаймкерер», «кранккассе»[1], а в разговоре как-то странно интонировала конец фразы, словно повышала ее в конце, то ли спрашивая, то ли утверждая: «Йа?», «Нихьт вар?» («не так ли?») А поддакивая другим, задумчиво-отрешенно тянула: «Йа... йа...», или «Ах, зоо?!»

— Магдалена Францевна, скажите, только честно, где лучше живут — там или у нас тут? — спросил Готлиб.

— Ах, Готлиб... — Магдалена Францевна чуть улыбнулась. — Разве можно еще лучше жить, чем ты?

— Там хорошо, где нас нет, — добавил Хайнрих.

— Живут сейчас везде неплохо, — заметила тетя Гильда. — Некоторые даже с жиру бесятся. Я теперь много разъезжаю. Всю жизнь в Крещенке просидела, в колхозе от зари до зари. Думаю, помирать скоро, хоть на белый свет погляжу. Беру кого-нибудь из внуков — и в дорогу. И прямо диву даюсь. Вроде недавно еще на коровах пахали,

---

[1] «Безработный», «пособие для безработных», «казарма», «лагерь», «поздний возвращенец», «касса взаимопомощи по болезни».

жмых ели, в рвани ходили, а сейчас... Ой, ой, думаю, бога иные забыли, совесть потеряли. Все есть, а все мало, мало...

– Верно, верно... хапуг поразвелось нынче достаточно. А работать стали хуже. Я это всюду замечаю.

– Да, да, так... Уж немцы какие работящие были, и те разленились.

– И тащат, воровать научились не хуже других.

– Ну, а почему не брать то, что плохо лежит? Не всякий устоит перед соблазном.

– Ладно, люди добрые... – Эльвира ударила по струнам. – Может, споем все вместе, а?

– Drunten im Tale-e-e... – высоко, чисто завела Элла, растягивая последний слог. Младшие сестры ладно подхватили:

...wo der Ostwind wehte...

И, набрав дыхания, тотчас вступило несколько мужчин, в два голоса:

– da stand Luise am Blumenbeete...

И потекла песня, раздольно, мощно, разветвляясь и сливаясь в ладном многоголосье. В основании его щемяще гудел бас Петера. Голоса сестер забирали все круче:

– Dort stand eine Blume...

И, опять в едином восторге хор ровно, слаженно вытянул:

– ...so wunderschö-ö-önnn...

И, снова переводя дыхание, через короткую паузу, по нисходящей, с легкой печалью, завершили первый куплет:

– Solch eine Blume hatt' sie noch nie gesehn...

Бас Петера еще раскатисто, утробно гудел на невозможно низкой ноте, его подпирали, подтягивали вторые голоса, а Элла уже коротко и высоко выпевала начало следующего куплета:

– Am andren Morge-e-ennn

– ...ge-e-ennn... – далеким эхом отозвался бас.

Я заметил: в старинных народных немецких песнях всегда присутствует сюжет, простой, незатейливый, но волнующий, трогающий душу. И слова вроде немудреные, может, даже наивные и сентиментальные, но тоже обладают неким магическим воздействием. Что же происходит в этой песне, которая захватила всех нас, сидящих в саду, за столом, у Хайнриха, и сплотила нас, всех, в едином порыве? «Там, в долине, где веет ветер востока, там, у клумбы, стоит Луиза, – поется в песне. – И растет тут

цветок прекраснодивный, такого цветка она еще ни разу не видела. Она хотела сорвать его с неодолимым желанием, хотела прижать его к своей груди. Но тут цветок произнес: «Пожалей меня, наутро я буду цвести для тебя еще пышнее, еще красивей». А на другое утро, еще на рассвете, отправилась Луиза к клумбе полюбоваться на цветок. Но цветок стоял совершенно оголенный, без лепестков, он цвел, отцвел и цвести больше не будет. «Я любил, и я жил надеждой. Желанные мгновения развеялись, угасли. Я не могу больше любить, не могу быть с тобой. И цветок этот называют «Незабудкой».

Вот и вся песня в моем прозаическом, косноязычном изложении. Нужно еще учесть, что цветок («ди Блюме») в немецком языке женского рода, что, конечно, придает песне особую печаль по невозвратному, скоротечному.

— Ну, вот это мы молодцы!.. Спели, как в былое время. И слова все помнят. Давайте-ка еще раз. «Друнтен им Тале-е-е-еее...»

Я слушаю, впитываю каждое слово, каждый звук старинной песни, и неизъяснимым теплом окатывается мое сердце. Поразительно: в народной песне, даже самой печальной, всегда остается надежда, хоть крохотный намек на желанное человеческое счастье. Может, в песне и сохраняется, сберегается неизбывная людская память? Для чего-то люди жили и живут на свете. И не канут, не должны кануть в небытие все их страдания, радости, тревоги, надежды, деяния. Нет, не права пришедшая сейчас мне на память казахская поговорка, гласящая: «В прошедшем дне нет следа». Не может не передаваться детям, внукам, потомкам хотя бы отдаленная память, хотя бы тень памяти обо всем, чем жили, мучались, страдали, гордились их недавние или далекие предки. Нет, не может. Не должно быть! Иначе жизнь окажется несправедливой. А она не может быть несправедливой.

— Und diese Blume, sie heisst «Vergissnichtmein»... — напоенный грустью раскатистым аккордом заканчивает хор песню-балладу, дошедшую сюда, до Березовки, бог весть из каких времен и далей.

VIII

Ночью долго не мог уснуть. Хотя по календарю и пришла уже осень, но здесь, на юге, днем по-прежнему пекло, как в самый зной, а потом, уже после захода солнца,

из всех щелей и закоулков выползала, струилась липкая духота, налетали откуда-то злые комары, от заболоченной низины возле канала далеко разносилось тревожное, словно перед грозой, лягушачье кваканье.

Но не только духота, комарье да лягушачий концерт были причиной моей бессонницы...

Накануне я съездил с Хайнрихом в соседнее село на похороны. Весть о том, что скончался Рейнгард Якоби, быстро разнеслась по окрестностям. Его тут знали все. И относились к нему — я это успел заметить — по-разному.

— Угомонился, наконец, бедолага, — сухо проронила бабушка Амалия.

— На одного правдолюбца стало меньше,— съехидничал Готлиб.

Тети Мария и Гильда неопределенно вздохнули:

— Ах, гот...

Хайнрих сумрачно оглядел всех, негромко заметил:

— Да-а... здешним святошам сегодня радость.

Бабушка Амалия осуждающе покосилась на него.

Мне и до того приходилось слышать это имя. Иногда как бы вскользь упоминали его и мои родители. Знаю, что когда-то, еще в двадцатых, в начале тридцатых годов Якоби и мой отец были близкими друзьями. Потом судьба их разлучила. И надолго. Но — хорошо помню — отец отзывался о нем непременно уважительно.

Судя по рассказам земляков, отличался Рейнгард Якоби поразительной неуемностью, резким характером и крутыми поступками. Должно быть, успел он кое-кому насолить еще в годы ломки старой жизни в тихих немецких деревеньках на Волге, во время раскулачивания и сплошной коллективизации. Был горяч, нетерпелив. Умел нагонять страху от имени власти. И, конечно, не всегда и не во всем бывал справедлив. Многочисленные перегибы тех времен не миновали его. Превратности жизни изведал он сполна. Был, понятно, репрессирован. Семнадцать лет вкалывал в шахтах Норильска, где за высокий рост, жадность к работе и неутомимость прозвали его Рейнгардом-экскаватором. Потом его полностью реабилитировали, восстановили в партии, он переехал на юг, малость обустроился, обзавелся новой семьей и снова окунулся с головой в то, что называется общественной жизнью: всех будоражил, тормошил, к чему-то призывал, кого-то разоблачал, ратовал за справедливость и законность, выступал, громил, писал, входил во всевозможные комиссии,

не давал разномастным прохиндеям проходу. Ясно: не всем это нравилось. И нажил Рейнгард Якоби среди своих же земляков и соплеменников немало врагов. Особенно доставалось от него местным баптистам. Их он изобличал всюду, даже, бывало, врывался в молельный дом и устраивал разгон.

Болел он долго, тяжело, и умирал медленно, в муках.

Как и Березовка, село утопало в зелени. Но дома мне показались более просторными, заборы — более высокими, сады — ухоженней. Хайнрих подтвердил мои впечатления.

— Да, куркулей здесь хватает. А святош и того больше.

— Что за святоши?

— Ну, как же... Эти самые... евангелисты... или как их там?

Впереди, на пологом холмике, белел аккуратный домик с высокими стрельчатыми, тесно расположенными окнами. Вокруг было чисто подметено, зеленели травка, тщательно подстриженные кусты. Неподалеку стояла группа женщин в темных платках.

— Гутен таг, вайбслайт! — крикнул им Хайнрих, приглушив мотор «Урала». — Где хоронят-то?

Женщины вглядывались в нас и почему-то отвернулись.

— Ясно! — весело сказал Хайнрих и поддал газу.

— Что ясно? — спросил я, захлебнувшись от встречного тугого потока.

— Домик на холме видел? — перекрывая стрекот мотора, прокричал Хайнрих. — Это их молельня. Баптисты долго уговаривали Рейнгарда похоронить его на свой лад. Хотели его перед смертью на свою сторону переманить. Не получилось! Настоял-таки, выходит, он на своем. С музыкой, дескать, хороните, по-граждански. Да он их всю жизнь не переваривал, святош этих.

— И много их?

— Да полсела, считай. Мутят народ, и никто им не указ. Черт знает что!..

Я уже несколько раз ловил Хайнриха на том, как он откровенно неодобрительно, более того, неприязненно отзывался о местных баптистах. Заметил я также, что наскоки его приходились не по душе бабушке Амалии. Она каждый раз как-то сжималась, укоризненно взглядывала на бывшего зятя. А тот еще более распалялся, негодующе, презрительно твердил: «Святоши! Святоши!»

Нетрудно было догадаться, что именно в этом пункте между бабушкой Амалией и Хайнрихом существуют разногласия. Как-то, зайдя рано утром в летнюю кухоньку, я увидел на столике плотную, почерневшую от времени книгу. При моем появлении бабушка Амалия сделала какое-то судорожное движение, будто хотела ее прикрыть или убрать незаметно.

— Библия? — спросил я.

— Найн, — ответила бабушка растерянно, — хайлихе лидер... Духовные песни.

— О, интересант! Вы не могли бы ее дать?

У бабушки Амалии глаза полезли на лоб, и я поспешно добавил:

— Нет, нет... не насовсем, а только на денек-другой.

Бабушка недоверчиво взглянула на меня, видно, было ей невдомек, с какой стати возник у меня интерес к религиозным песнопениям, но протянула увесистую книгу, предупредив, что она напечатана готическим шрифтом.

— Ничего, ничего... разберу.

Это был сборник религиозных песен, молитв, изданный около ста лет назад Московской евангелическо-лютеранской консисторией.

Я ее просмотрел без особого любопытства. Только удивился про себя, найдя в молитвеннике несколько незатейливых, ладно срифмованных песен. И после этого случая еще более утвердился в своей догадке о том, что бабушка Амалия, видно, в какой-то мере благоволит к баптистам, что, конечно же, вызывало неприязнь у давнего «безбожника» Хайнриха.

Наш «Урал» подкатил к колхозной конторе. Здесь стояло много машин, толпился народ. В сторонке под карагачами надрывался духовой оркестр. Сновала взад-вперед любопытная детвора.

Несколько человек с черными повязками на рукаве подошли к Хайнриху, поздоровались.

— Что? Один прикатил?

— Нет, с братом. Эмилия на работе. А бабка не захотела.

— Хм-м... Тоже, значит? Тутошние братья-сестры также бойкот объявили. По домам сидят.

— А-а... святоши эти? Понятно! Им ведь Рейнгард — что кость поперек горла.

— Да, да... Так уж обихаживали его в конце — житья не давали. Ну, ладно. Идите, прощайтесь. Скоро вынос...

Мы отряхнулись, вошли в сумрачную просторную комнату колхозной конторы. У изголовья гроба, заваленного цветами, сидела щуплая, сухонькая женщина в отрешенной, убитой позе, рядом стоял рослый молодой мужчина с двумя бледными, невзрачными девчонками-подростками. В глазах мужчины и девочек каждый раз, когда кто-нибудь подходил к гробу, мелькали испуг и настороженность, словно они чего-то боялись или опасались.

Все было, как всегда. Молчаливое шествие, глухое рыдание, сдавленный шепот, прощальные речи, траурная музыка, оглушительная тишина в момент, когда гроб опускали в могилу, поминальный обед с традиционной курятиной с домашней лапшой и компотом.

И все-таки чувствовались какая-то скованность и настороженность, подозрительность, двойственность, и я никак не мог понять, в чем дело. И вдова, и тот молодой мужчина с двумя девочками-подростками все время оглядывались встревоженно, затравленно, будто ждали кого-то или испытывали некую вину перед кем-то. И еще чувствовалось, что многие сельчане не явились на похороны своего земляка, соплеменника, что какой-то невидимый водораздел глубоко пролег между людьми в этом богатом поселке, где, казалось, так ладно и складно устроена жизнь и обустроена земля.

С тягостным чувством возвращались мы домой. «Урал» со свистом рассекал раскаленную послеполуденную духоту, плавно скользил, будто летел, по асфальтовой дороге.

— Кроты! Забились в своих норах! — Хайнрих на мгновение повернулся ко мне. — Видел? Так и не пришли. Мстят покойнику. Свято-о-ши-и!..

— Ты почему такой злой на них?

— Долго объяснять. Мне, скажу тебе, до дряхлого старичья дела нет. Пусть собираются, поют, тешатся. Зло берет оттого, что разная шантрапа, жулье, дармоеды, горлохваты вдруг свили там гнезда. И молодым головы морочат, с толку сбивают. Знаю иных: жил — пакостил, а теперь вдруг евангельским христианином заделался, святошей стал.

— А, говорят, тихие, работящие...

— Х-ха, работящие! На себя и работают. «Ти-и-ихие!» А иной тихоня опаснее разбойника. Теперь им лафа! Один Рейнгард, считай, и воевал с ними.

— А надо было воевать-то?

— Спрашиваешь!..

Хайнрих что-то пробурчал под нос, досадливо поправил каску и весь нахохлился.

Я знал что в последние годы в этих краях среди немецкого населения заметно оживились так называемые евангельские христиане-баптисты. Построили молитвенные дома, обзавелись музыкальными инструментами, кое-где даже оргбном, разучивали духовного содержания немецкие песни, организовали хоры (большей частью — хорошие), слушали проповеди на русском языке. Но кому от этого плохо? Однако с религиозными пережитками подобает бороться. Ну, и начали бороться, грубо, бестактно, наскоком, прибегали к испытанным административным мерам. Понятно, от такого атеистического воспитания проку не было. Наоборот. Потом махнули рукой: э, ладно, это у них вроде как национальный клуб, живут тихо, работают хорошо, не дебоширят, не пьют, дети скромные, совестливые, говорят по-немецки. Правда, всем было видно, что баптисты живут уж больно обособленно, замкнуто, отстраненно, ничто происходящее вокруг их не интересует, пассивны, инертны, тусклые какие-то, не радуются, не негодуют, смиренные, послушные... Ну, и это вроде не беда. Пусть... Их дело. Главное: в работе безотказные, исполнительные, безобидные, претензиями не донимают, ну и ладно...

Приходилось слышать и такое: верим — наше дело. Верующий — еще не последний человек, а бывает, даже наоборот. Ну, а дети пусть слушают немецкую речь, пусть помнят, что они немцы, а когда вырастут — сами поймут, что лево, что право и что лучше: жить с верой или без веры.

Что тут ответишь? Вроде резонно, в чем-то даже — правда. Но это только так, с первого взгляда, если не вникать в потаенное, подспудное...

— И все им мало, мало! — разразился вдруг снова Хайнрих. — Отгрохали себе хоромы. Добра нажили, натаскали до самого... как его... Армагеддона. Теперь народ сбивают на выезд на родину, видишь ли, предков, в Дойчланд, будто там их ждут молочные реки с кисельными берегами. Дураки! Взбредет одному в башку шальная мысль, и все за ним. Даешь родину предков! Нужны они там!...

— Что, и здесь есть желающие выехать?

— А как же?! Двадцать две семьи из этого села подали заявление на выезд.

– Мотивы?

– Какие там мотивы?! Вот Магдалена, ну та, что у нас бывает, соседка моя, к брату ездила, в войну разлучились. Ну, это называется «воссоединение семьи». Какая-никакая причина. Добилась своего, поехала, помаялась, обожглась в том краю, раз пять, может, и видела за все эти годы брата, а теперь вернулась и рада-радешенька. А эти? У них же там никого. Да и откуда бы там взялись родственники у поволжских немцев?! Блажь! Чушь!

– И все-таки... что они сами говорят?

– Да известно что. Хотим, говорят, среди своих жить. Хотим, мол, чтобы дети по-немецки говорили. Ну, кого-то когда-то обидели, кого-то невзначай или со зла обозвали, кого-то обошли, обделили... Мало ли что... Поймите их! А в молитвенном доме их, понятно, подогревают.

Хайнрих опять умолк. Мы уже въезжали в Березовку. Навстречу с выпаса брел скот, и «Урал» сбавил скорость.

– А-а... – махнул рукой вконец раздосадованный Хайнрих. – Что обо всем этом говорить?... Много еще вокруг бестолковщины. И не видать, чтобы вскорости все наладилось...

Весь вечер Хайнрих был не в духе. И у меня было тяжело на сердце. Ужинали молча.

– Ну, как? – не удержалась бабушка Амалия.

– Что как? – буркнул Хайнрих. – Был человек – нету человека. Закопали – разошлись.

– Народу много было?

– Много, хотя твои святоши и попрятались по щелям.

Бабушка Амалия обиженно подобрала гармошкой губы. Тети Мария и Гильда по обыкновению вздохнули:

– Ах, гот... либер хайланд...

«Сестры Федоровы» и Яша увлеченно резались в карты под ореховым деревом.

Пожелав всем спокойной ночи, я убрался в свой сарайчик. Чувствовал, что устал, намаялся за день, надеялся тотчас уснуть, но тщетно. Сон не шел.

То, что увидел и услышал сегодня, не было в диковинку. Но, может, впервые так остро, так больно почувствовал, что не все ладно среди моих соплеменников, что за внешним материальным благополучием, за опрятностью и сытостью кроется много подспудного, сложного, неоднозначного, путанного, что следует не только выявлять и объяснять, но трудно поддается лечению.

Казалось бы, все худшее позади. Так отчего именно

среди советских немцев обрели сейчас такую силу евангельские христиане-баптисты? То, что это не совсем невинная забава, должно быть ясно многим. И ясно также, что это не тот путь, который приведет человека — в частности, моих соплеменников — к счастью, к внутреннему равновесию, духовной устойчивости и свободе.

А почему опять-таки в наше время возник эмигрантский зуд? Отчего мирный, работящий люд, двести лет обитавший в России, вдруг заговорил о мифической родине предков, об исконном «хайматланде» и стал добиваться выезда в чужедальние края? Ведь прав Хайнрих: никто их там не ждет, никому они там не нужны, и нет никакого общего, единого фатерланда. Бред все это! Ясно и то, что человек — на какой бы стадии развития он ни находился — не может довольствоваться только сытостью и достатком. Есть ведь и что-то более значительное, чем сугубо шкурные интересы. Нет, эмиграция — глупость, нонсенс, эмиграция — горе. Единичные исключения не в счет. И ничего она не решает. Нет, не решает...

И знаю: даже те немногие, что по разным причинам и предлогам уехали из страны, счастливыми себя не считают. О, да, и там, на чужбине, никто с голоду, надо полагать, не пропадает, умудряются удерживаться на плаву, а иные удачники даже процветают Но вот что примечательно: живут по двадцать-тридцать лет, а в тамошнюю свободно-предпринимательскую жизнь все же не врастают, все же постоянно и всюду ощущают себя чужаками и, собираясь изредка вместе, вспоминают с тоской «руслянд», поют «Катюшу» и «Распрягайте, хлопцы, кони» с уже заметным акцентом и обливаются слезами.

Нет, что ни говори, а существует в жизни нечто более высокое, более значительное, чем чистые шкурные интересы.

И еще я вспомнил своего друга, хорошего профессионального композитора, именитого, титулованного, чьи оперы, симфонии, оратории, песни, аранжировки пользовались успехом. Увы, уже «пользовались», уже в прошлом. Казалось, живи, работай, радуй своим талантом народ. Нет, сорвался с места, никакие доводы и уговоры не помогли, уехал, забрал престарелых, хворых родителей, малолетнего сына. Мыкался года два, все искал чего-то, погиб нелепой смертью где-то под Штутгартом, в небольшом городке Зильденфинген-Бургланд, где и похоронили его на местном кладбище. Знакомый его, такой же «поздний

возвращенец», исполнил у могилы «Одинокую трубу» Генделя... Что же искала, к чему стремилась неуемная душа моего друга? Что он нашел там, на чужбине? Похоронил отца. Сам погиб. Мать пристроили в дом для престарелых. Сына взяли на воспитание добрые люди.

Неужели судьба?..

Вспомнилось мне стихотворение в старом меннонитском журнале, который показал мне Вильгельм Артурович. Оно называлось «Хаймат» («Родина») и было подписано: «Е.Е.Е.». Автор стихотворения трогательно, проникновенно описывал осеннюю степь, милый сердцу российский край, в котором он вырос, и с неподдельной болью, горечью говорил о тех своих соплеменниках, лишенных чувства родины («хайматгефюль») и ради неведомых благ покидающих ее, уезжающих в далекую Америку. Как свежо, как современно звучит это стихотворение неизвестного автора! У Вильгельма Артуровича, читавшего его мне, вдруг дрогнул голос, слезы навернулись на его глаза, он судорожно повел кадыком и с трудом произнес последние две строки:

Doch lieb bleibt mir immer die Heimat mein,
Hier möchte ich einmal begraben sein![1]

Вот оно то, единственное, сокровенное, что выше всяких соблазнов, всяких благ, всяких шкурных интересов. Вот оно, чувство родины, хайматгефюль, единственный нравственный стержень, благодаря чему человек ощущает себя и останется человеком.

«Родину себе не выбирают, начиная видеть и дышать...» Не помню, кто это сказал. Но сказал верно.

Почему иные так трудно воспринимают эту простую истину?

Не все ладно в нынешней жизни моих соплеменников. Вопросов много. И не на все есть ответы.

Как все это объяснить? Как сделать так, чтобы развеянный, разбросанный по городам и весям народ почувствовал некую родственность духа, единство и сплоченность, избавился от всех застарелых и вновь обретенных недугов и вырвал из своей души с корнями все то худое,

---

[1] Но дорога мне навеки родина моя,
Здесь я желаю однажды быть погребенным.
(Подстрочный перевод)

низменное, недостойное, что еще нет-нет да и сказывается, уродливо проявляется и произрастает в ней, что давит, травит, терзает сердце?

Труден и сложен путь к исцелению...

...Должно быть, близится рассвет. Чуть-чуть зашевелились, зашелестели верхушки тополей. Умолкли, угомонились, наконец, лягушки в заболоченной низине возле канала. Отпустила духота. Свежело.

Не размотать мне сегодня клубок тревожных ощущений и сомнений.

Сон не шел.

IX

Выяснилось, что у «сестер Федоровых» в этих краях, в близлежащих селах, затерялась кое-какая родня по материнской линии. И еще дальше, ближе к Киргизии, жил сводный брат Яши — тоже не виделись целую вечность. Решили заодно проведать всех, гулять так гулять, а решив так, тотчас собрались и с утра пораньше, по холодку, выехали на попутной машине.

Опустело сразу же подворье Хайнриха. Тихо снова стало. Только и слышно было, как привычно шлепала бабушка Амалия, трип-трап, шлип-шлеп, да как тети Мария и Гильда, сидя на крылечке вздыхали попеременно: «Ах, йа...», «Ах, гот..» Я в своем сарайчике попытался сосредоточиться, вернуться к переводу сцены Отрара и героической гибели славного предводителя кипчаков Иланчика Кадырхана, но понял, что ничего из моей затеи не получится. Другие думы тяготили меня, другие ощущения взбудоражили душу.

Надумала съездить к своему брату неподалеку и тетя Гильда: самый младший из ее братьев и сестер, Эммануэль, плотничал в соседнем совхозе. Но верный ее спутник, неугомонный Вовка, или «Вовье», как она ласково называла внука, целыми днями пропадал на канале, плескался в илистой воде вместе с другими сорванцами и своей неуемностью постоянно вносил коррективы в бабушкины планы.

— Ладно... успеешь, — успокаивал ее Хайнрих. — Отдыхай... куда торопиться?

— И то верно, — раздумчиво согласилась тетя Гильда. — Торопиться-то уже и некуда. Я так рада, что многих еще раз увидела. Теперь и на душе спокойнее.

— Йа, йа... верно говоришь, верно, — поддакнула ей и тетя Мария.

На днях тетя Мария как-то очень доверчиво и простодушно поведала мне свое душевное состояние, свои ощущения, все назойливее преследовавшие ее. В последнее время она привыкла думать о себе отстраненно, видеть себя со стороны, воспринимать себя словно постороннего человека, как одновременно знакомую и незнакомую старуху, почему-то неизменно присутствовавшую рядом. Это ее поначалу пугало. И еще, когда она прислушивалась к себе, к своему одряхлевшему, обессиленному телу, ей чудилось, что она вдруг начинает сжиматься, сначала стремительно укорачивались руки и ноги, потом туловище, голова сжималась, становилась с головку мака, а снизу, сверху, по краям все разрасталось, ширилось, становилось необъятным, чудовищная сила подхватывала ее, легко-легко, будто пушинку, и уносилась ввысь, и тело парило в поднебесье, скользило горизонтально над землей, в упругих струях воздуха, в безмерном и страшном в своей безмерности пространстве. И тогда в ней смутно зарождалось неведомое чувство, легкость, свобода от непостижимого огромного груза, она уже не ощущала ни своего тела, ни тяжести прожитых лет, и впервые за долгую-долгую жизнь не угнетала, не давила память — память прошлого. Это странное ощущение, похожее на блаженное самозабвение, стало в последнее время повторяться все чаще, особенно после смерти сына, и она еще никак не могла решить, хорошо ли оно, это ее новое состояние, или плохо, пока однажды не догадалась: это близится смерть. Она не испугалась своего открытия. Ничуть. Нисколечко. Ей просто стало удивительно легко от этой осознанной ясности. И она трезвым рассудком поняла, что тело и душа ее теперь-то окончательно смирились с той неизбежной участью. И это было так неожиданно просто — ощущение готовности к переходу в иной мир, все равно что неодолимая потребность во сне.

И когда она это поняла, начала поспешно собираться в путь, к младшему племяннику покойного мужа, к Хайнриху. Хотелось ей напоследок увидеть тех, кого она помнила и кто помнил ее. Все казалось ей, что пока она со всеми не свидится, не поживет среди своих, не увидит эти многочисленные ветви и листья, все эти отростки, ее святая обязанность на земле не кончится.

— Как хорошо, мой милый, что мы снова свиделись. —

Выцветшими, но потеплевшими глазами посмотрела на меня тетя Мария. — Теперь-то уж никогда не собраться нам вместе. Кому дано вот так, в одно время одолеть столько дальних дорог?.. Но ведь души наши могут же встретиться, общаться, слиться, не так ли? Как думаешь?

— Могут, тетя Мария. Душой мы, близкие люди, всегда вместе, едины. Просто мы это, наверное, не всегда чувствуем.

— Вот и я так думаю... — заключила старуха. — Что еще человеку надо? Лишь бы понимали его, сочувствовали.

И я решил сегодня, к вечеру, уехать. Может, успею еще на вечерний поезд. Работа застопорилась, а слоняться по двору или по опустевшему в пору страды поселку не приличествует взрослому человеку. Но сказать об этом Хайнриху я не осмелился, знал: обидится, отговаривать начнет, и потому поехал с ним в совхозный сад.

В саду осенняя благодать. Земля благоухала. Воздух был пропитан томной негой, ароматом спелых или дозревающих плодов. Отягощенные ими деревья погрузились в спокойную раздумчивость, исполненные достоинства и значимости. Старый мерин медленно волок скрипучую телегу, на которую мы с Хайнрихом ровными рядами грузили ящики со снятыми яблоками, грушами, сливами, персиками. Бурая, усеянная палыми листьями дорожка петляла бесконечно меж белоствольных деревьев. То здесь, то там мелькали легкие женские фигурки с корзинами, ведрами, с длинными шестами. Иногда женщины собирались небольшими группками под какой-нибудь яблоней, трясли ее сообща и при этом переговаривались о чем-то, смеялись, и женский говор и смех разносились по саду далеко, волновали, смутно томили сердце.

— Сюда, сюда, Андрей Андреевич, — доносились их певучие голоса. — К нам, пожалуйста... милости просим.

Мы сделали еще два круга, отвезли полные ящики на приемный пункт, развезли пустую тару по саду, вдоль дорожек, откуда их по мере надобности брали сборщицы. Потом, задав мерину охапку сенца, устроились на земле в тени телег на перекур, полакомились отборными фруктами, которые умело выбирал из ящиков и все подсовывал мне Хайнрих.

— Ешь, ешь... Ты, я заметил, не больно-то охоч до фруктов, все больше на мясо нажимаешь да чаи гоняешь. А напрасно... Фрукты, они дают жизненную силу. Не веришь? Когда я с севера приехал сюда и устроился в саду,

семнадцать дней, до первой получки, питался одними фруктами.

Я заозирался вокруг, любуясь неторопливой, размеренной работой женщин. Среди них нетрудно было различить рослых, сосредоточенных в движениях, деловитых немок, стройных и гибких, в ярких просторных платьях, в цветастых шальварах узбечек, смуглых, изящных, миниатюрных кореянок, все они — свежие, загорелые, с добрыми, приветливыми лицами, с мягкими движениями, неуловимым обаянием затаенной душевности поразительно гармонировали с умиротворенностью осеннего сада, пронизанного уже не жгучими, а ласковыми косыми лучами, и как бы всем своим обликом, своим присутствием, негромким, чистым смехом утверждали вечность, незыблемость и красоту жизни на земле.

— Знаешь, — вывел меня из благодушной созерцательности Хайнрих. — Я ведь о тебе с тревогой думал. Ну, слышал, что учился, в городе живешь, пишешь там... Мне говорят, показывают газеты разные... что-то и сам читал... — Хайнрих отбросил огрызок яблока, потянулся в карман за папиросой. — А про себя все же подумывал: откололся от нас парень. Понятно, конечно: вырос в ауле, совсем мальцом еще... все среди казахов, даже школу казахскую окончил... и теперь вот книжки казахские переписывает... или переводит. Значит, думаю, совсем это... оказаховался. А знаешь, это... ну, как тебе сказать... обидно все же. Будто перерожденец какой. Будто тот мальчишка... ну, который в индийских лесах с малолетства вырос... как его...

— Маугли, — подсказал я.

— Вот, вот... Маугли. А ведь... как же, есть ведь свой народ, свой язык... ну, свое-то ведь что-то осталось. Не так ли? Есть же мы и в божьем, и в людском списке. Да-а... — Хайнрих затянулся дымом, долго откашливался, думал про свое. — В прошлом году я ездил в Павлодар, в район, ты знаешь, к Оттилии. Собрались, значит, ее дети, внуки... их у нее навалом... представляешь, все между собой по-казахски шпарят. Так это странно. Я даже подумал: может, у них от меня секреты какие... Я с ними по-немецки, они отвечают мне по-русски, а сами только и болбочат по-казахски. Вечером Виктор овцу зарезал, сготовили бесбармак и стали песни петь. Понимаешь, опять по-казахски! Оттилии за семьдесят и тоже: гыр-гыр-гыр, быр-быр-быр. Черт знает что! Вроде бы все свои, а говорим на разных языках. «Слушайте, говорю, родную речь

напрочь, что ли забыли?» А-а, отвечают, привыкли, так удобней, даже не замечаем... Ну, думал я, и ты так же... А знаешь, что меня тогда поразило? Сидим, значит, за столом, бесбармак едим, вдруг подходит какой-то казах, вежливо так улыбается, говорит: «Гутен овенд, либе лайт!». Представляешь? Не «гутен абенд, либе лойте», как пошкольному учат, а по-нашенски, по местному. Я аж рот разинул. Разговорились. Так он, казах этот, Сериком зовут, из колхоза Тельмана, тараторит без запинки. Будто всю жизнь прожил среди немцев на Волге. Оттилия со своими детьми, внуками, значит, по-казахски поет, а мы с этим Сериком вдвоем поем по-немецки. Каково?!

Я улыбнулся, вспомнив некоторых своих друзей-казахов, дипломированных германистов. В Казахстане не мудрено встретить казаха, говорящего по-немецки или по-английски лучше, чем на родном языке, как, впрочем, и немцев, изъясняющихся главным образом по-казахски.

– Андрей Андреевич! Дядя Андрей! К нам, пожалуйста, на полдник! – позвал из-за деревьев девичий голос.

– Сейчас, – отозвался Хайнрих. – Сейчас, милая... Да-а... А теперь на сердце полегчало. Вижу: неравнодушен к родному, к кровному. И по-нашему говорить не разучился. Песни помнишь. Я вчера чуть не прослезился, когда ты подпевал «Друнтен им Тале». Молодец! Все бы так...

Ближе к вечеру, по пути домой, я как бы вскользь высказал свое намерение выехать сегодня.

– Да ты что? – сразу всполошился Хайнрих. – Мы ведь даже не поговорили толком. Или не понравилось что?

– Какой разговор! Просто надо. Пора, как говорится, и честь знать.

Хайнрих сразу приуныл, захлопал белесыми ресницами, словно обиженный мальчишка, нос длинный повесил, отквасил нижнюю губу, и я в который раз поразился его внешней схожести с моим отцом. Тонкая жилистая шея была сплошь испещрена густой сетью морщин, и я еще раз убедился в том, что прожитые годы не прошли даром, оставили-таки свою мету.

Мы долго молчали. Войдя в ограду. Хайнрих сердито буркнул:

– Полюбуйтесь на него. Он тоже сегодня уезжает

Швегерин Эмилия растерянно промолчала, а бабушка Амалия хлопнула себя по переднику.

– Гот, ах, гот... Но я ведь ничего не сготовила на дорогу.

Пока я сложил свои бумаги, помылся и переоделся, пока вместе с Хайнрихом выкатили «Урал» из-под навеса и слегка подзаправились на дорогу, женщины успели настряпать «креблей», общипать гуся, завернуть шмат сала, вынести из сарая громадный ящик отборных фруктов, достать из погреба оплетенную пузатую бутыль с домашним вином. Хайнрих тотчас начал все это грузить в багажник и коляску мотоцикла. Я сначала не догадался, что вся эта снедь предназначалась мне, а догадавшись, стал отмахиваться руками и ногами, взмолился:

— Помилуйте, дорогие! Зачем мне столько? Куда я с этим?!

— Ничего. Пригодится, — мрачно и неумолимо буркнул Хайнрих. — Гостинец жене, дочке...

Смущенный, я уже обнялся и расцеловался с бабушкой Амалией, с швегерин Эмилией, уже собирались выехать, Хайнрих в крагах и каске стоял наготове возле «Урала», как вдруг из-за переулка показался странный кортеж — две черные «Волги», а за ними, вздымая пыль и громыхая, несся бензовоз. Кортеж мчался так лихо, что Хайнрих на всякий случай откатил мотоцикл ближе к воротам. Передняя «Волга», точно распаленный конь на всем скаку, круто остановилась прямо возле нас, и из нее выскочил Нукен. Встряхнул гривой, раскинул руки:

— А-а.. баурым... брат мой. Вот ты где! А мы весь Каинды обшарили!

Тут же обступила нас и вся его свита.

— Чуял я, что ты еще здесь. Дай, думаю, заверну. Насилу нашли.

— Ххэ... отъюбилеил, да? Весь край объездил?

— Ой, не говори! Всюду побывали. Ты же знаешь: у казаха шестьдесят дедов, семьдесят зятьев. И всех надо навестить. Вымотались — страсть!

В самом деле, и Нукен, и вся его свита заметно поблекли, потускнели за это время, лишившись недавнего столичного лоска. Помятые костюмы, обвисшие, несвежие сорочки, небрежно повязанные галстуки, опухшие лица, воспаленные, в красных прожилках глаза...

— Да, — усмехнулся я. — Видно, досталось вам.

— Хм-м... Сам знаешь, как встречают гостей в аулах. Юбилей, брат, не шутка! — расхохотался Нукен.

Я только теперь обратил внимание на то, что сбоку бензовоза, на узком приступке стоял, привязанный веревками, кудрявенький барашек. У бедняги уже не было

сил блеять, и он, покорный своей участи, только таращил черные пуговки-глаза да трепетал хвостиком.

— Вот... сунули на дорогу, — пояснил Нукен. — Родичам разве откажешь?

Хайнрих, видно, догадался, что Нукен со своей свитой — мои знакомые, и пригласил гостей во двор, распорядился сготовить кок-чай. Гости вошли, расположились за столом под ореховым деревом, но от угощения решительно отказались. Куда еще? Сыты по горло. Разве попить что-нибудь похолоднее... Хайнрих спустился в погреб, вынес пудовый арбуз, и гости издали восторженный вопль.

— Э, самое то!

— Ай, ай... Андрей-аксакал... знает, что сейчас нам надо.

— Вот это угощение!

Пока расправлялись с холодным, сочным арбузом, Нукен шепнул что-то шоферу бензовоза, и тот через минуту приволок во двор барашка.

— Твой брат — мой брат, — сказал торжественно Нукен. — Хороший человек, сразу видно. У меня праздник, юбилей. И я от своего дастархана дарю твоему брату этого барана. Бери!

Хайнрих даже отшатнулся, вскочил, вспыхнул весь, пролепетал растерянно, дескать, что вы, что вы, с какой стати, как можно, но тут дружно загудела свита:

— Правильно! Дурыс!

— Бери, бери! Подарок ведь.

...Через час, простившись еще раз со всеми, я выехал из Березовки вместе с Нукеном. Бензовоз за ненадобностью отпустили восвояси, и две «Волги», покружив по улочкам села, выбрались, наконец, на шоссе. Я оглянулся назад: там, в долине, вольно расстилалось село. Высоченные тополя по краям его охраняли оазис. Еще раз мелькнула — как бы на прощание — березовая рощица на косогоре. Я закрыл глаза, откинулся на сиденье, живо представил родных и близких, с которыми был вместе все эти дни и никогда вроде и не расставался за всю свою жизнь, услышал их голоса, и сквозь разнобой их речей донеслась до меня незатейливая старинная песня с ее бесхитростными, но столь проникновенными словами. Мелодия ширилась, наполнялась, насыщалась красками многоголосья, заполнила всю мою душу, и я бесконечно нашептывал про себя одну и ту же начальную строчку:

— Там, в долине, где востока ветер веет...

Я опять вспомнил бабушку Амалию, Хайнриха, шве-

герин Эмилию, двоюродных сестер моих, певуний, всех, всех, — и подумал, что в каждом из нас, вероятно, живет несколько жизней, что души наши, что бы ни случилось, созвучны, что вся их жизнь, родичей моих, — во мне; все эти судьбы — во мне; вся их боль — во мне. Но и радость их во мне; и их надежда, сокровенная, неизбывная...

1985—1987

ДОЖДЬ СО СНЕГОМ

На сердце непонятная тревога,
Предчувствий непонятных бед.
(З.Гиппиус)

I

На рассвете привиделось, будто надо ему срочно куда-то ехать, а он забыл — куда. Он лихорадочно собирал разбросанную там-сям всякую всячину. Запихивал все как попало в дорожную сумку, но вещи упорно уплывали прямо из-под рук, и становилось их все больше и больше, а потом — точно назло — запропастился и саквояж. В отчаянии он бросился куда-то без поклажи, отягощенный к тому же страхом, что не запер за собой дверь, оставил квартиру без присмотра, а вокруг него, без всякого перехода, как это случается во сне, простиралось голое пространство, похожее на вдоль и поперек распаханное поле, куда ни глянь — ни одной живой души, он один, совершенно один-одинешенек посреди этого безмолвия, как астронавт на Луне, и ему куда-то надо, безотлагательно, спешно, а вот куда и зачем — неизвестно, напрочь вылетело из головы.

Все же вырвался он из сна, стряхнул с себя морок наваждения, покосился сквозь тюлевую занавеску в окно, за которым густились сырь и сутемень, нащупал у изголовья крохотный приемник «Свирель», слегка покрутил ручкой включения. Уловил обрывок фразы: «... облачность... туман... порывистый ветер... дождь со снегом...»

Он встал, оделся, убрал за собой постель, стараясь не греметь, не задеть что-либо ненароком, чтобы не разбудить в такую рань в смежной спальне Марину, Сережу и правнука Севушку и все повторял про себя: «Дождь со снегом... дождь со снегом...»

И потом, когда с Сережей уже ехали на аэропорт, он никак не мог отделаться от неприятного ощущения предутреннего тревожного сна и навязчивых слов охрипшей спросонья московской дикторши: «дождь со снегом...»

Ехали молча. Чем ближе к аэропорту Домодедово, тем становилось очевиднее: наверняка придется сидеть.

Моросило. Временами сбоку упруго ударял ветер, хлестал, будто наотмашь, по боковому стеклу, точно наждаком проходился, облепливал машину снежной кашицей. Сережа инстинктивно пригибался за рулем, словно защищаясь от неистового шквала, судорожно включал «дворник» и озабоченно всматривался в мокрую, словно от жира лоснящуюся дорогу.

Над лесом вдоль обочины стаей кружились вороны, надрывались дурными голосами. Кудлатые тучи, сшибались, напластываясь, точно льдины в половодье, стелились низко над землей. По лощинам волочилась муть туманов.

Нет, в такую непогодь никакой самолет не полетит. Нечего надеяться.

Он вздохнул, запахнулся плотнее в куртку, как бы настраиваясь на предстоящее тягомотное ожидание в смрадном аэромуравейнике.

Много он, старина, доставляет нынче хлопот своим близким. Одна морока с ним. Даже неловко. Все делом заняты, а он как бы только под ногами путается. Вот и безотказного Сережу, выходит, подвел: слышал, как тот рано утром, прикрыв за собой дверь на кухне, приглушив голос, договаривался по телефону со своим начальством, предупреждая, что вынужден сегодня опоздать на часок, пусть, мол, порепетирует пока ассистент. Конечно, можно было добраться на такси, да разве по нынешним временам мыслимо в Москве его заказать. Полдня только зазря просидишь на телефоне. Ненадежно ныне все стало. И Марина, внучка, была явно смущена тем, что не смогла, ну, прямо никак не получалось, проводить деда. Чуть свет, уже одетая, принаряженная, как на бал, прошмыгнула к нему в зал, чмокнула его в небритую щеку, прижалась на мгновение, обдав смешанным ароматом молодости, свежести и дорогих духов, сунула сверток для бабы Мили и упорхнула в свою студию на очередные съемки. И Севушку в спешке, в суматохе кое-как — обманом да посулами — утуркали в садик: малец еще с вечера категорически заявил, что завтра утром полетит на гро-о-мад-

ном са-а-амолетике вместе с дедулей далеко-далеко, в самый-пресамый Ташкент-город.

Да-а... путешествовать хорошо молодым. А его вот угораздило на девятом десятке отправиться в вояж. Был бы хоть толк какой. А то только вконец мимовольно разбередил душу. Пошла какая-то круговерть. Ничего понять невозможно. А, может, просто уж нет силенок все уразуметь? Одно ясно: на душе сумбур. И — большая обида. И напрасно кое-кто пытается еще о ней говорить, с кем-то делиться. Это твоя боль, только твоя, и теперь уже никому до нее нет дела, и никто даже не стремится понять ее. В этом он в последние годы все больше и больше убеждается. И самая большая мудрость, пожалуй, в том, чтобы вообще о ней, о боли своей, не говорить, не искать ни у кого сочувствия и сострадания. Хотя бы для того, чтобы не показаться смешным или жалким. То же самое и с обидой. Это опять-таки твоя обида, только твоя. Давняя. Непроходящая. Ты ее тащишь за собой всюду, как нищий — свою торбу. И вся твоя суть — в этой тощей торбе твоих болей и обид. И еще — памяти, которая всегда с тобой, пока не покинет рассудок. Бремя памяти придавливает все безжалостней к земле. Бесконечные думы обсасывают сердце, как змея. Должно быть, человек часто и умирает-то не от возраста, не от хворей, не от изношенности бренного тела, а от непомерного, непосильного бремени прожитых лет, от бремени беспокойной, взыскующей памяти, попросту от бремени будней. Оттого, что достиг глубочайшей опустошенности, за которой лишь мрак безнадежья. «Не душа стареет — плоть», — вспомнились слова аульного мудреца Абильмажина, чьи кости, должно быть, давно истлели в земле.

Задумавшись, он и не заметил, как Сережа лихо развернул свой серебристый «Форд» перед центральным входом аэропорта.

— Ну, мягкой вам посадки, Давид Фридрихович! Через час, думаю, объявят регистрацию. Не обессудьте, что не смог проводить.

— Что ты, что ты, Сереженька... Спасибо, что довез. Не беспокойся.

Сережа церемонно сорвал с головы берет, подал на прощание руку, поправил ремень сумки-рюкзака на плече старика и, сев в машину, укатил восвояси.

Серой, беспросветной мутью был окутан аэропорт.

Серая толпа отрешенно толпилась вокруг, колыхаясь взад-вперед, месила серую жидкую грязцу.

Репродуктор унылым голосом, под стать занудливому, моросящему дождику, монотонно вещал:

– Задерживается... Откладывается... По метеоусловиям... По техническим причинам... из-за неприбытия самолета...

«Та-а-ак-с... – сказал сам себе по обыкновению дед Давид. – Будем, значит, загорать. Спешить мне, собственно, и некуда».

II

Летом неожиданно нагрянул к ним, в Ташкент, старший сын Гарри вместе со съемочной группой. К предстоящему съезду отечественных немцев республиканская кинохроника надумала снять получасовой документальный фильм о семье Карлсонов. Бог весть, кому это взбрело в голову – снимать фильм, показывать-то вроде нечего, но шустрый, шумный, козлобородый режиссер довольно потирал руки и загадочно ухмылялся:

– А-а-атлично! Фактура – пальчики оближешь!

Старой Эмилии эта затея пришлась совсем не по душе, ее вообще раздражало, когда не по ее воле нарушался раз и навсегда заведенный ею распорядок в доме, и он, дед Давид, недоуменно разводил руками, хлопал белесыми ресницами, глядя на тарарам во дворе, мгновенно сотворенный неугомонными и бесцеремонными киношниками. Расхристанный верзила-оператор прошелся по саду, по винограднику, точно лось в чащобе, все осмотрел, прикинул хозяйским оком, с ходу принялся стрекотать камерой. А режиссер, юркий и очень уверенный, оказался неистощимым на выдумки: распорядился переставить тазы, корыта, ведра, перенести собачью будку в сад, заставил деда Давида поливать из шланга цветы, при этом сам показал, как это делается, будто всю жизнь только и занимался поливом, уговорил пиликать под яблоней на скрипке, боксировать с умным псом Рексом; бабушку Эмилию попросил посидеть за древней прялкой, доставать из колодца воду, читать правнукам немецкий букварь; Эльма, старшая дочь, должна была готовить узбекский плов; Альма – стирать белье; Володя – резать арбуз; Таня – задумчиво листать за пианино нотную тетрадь; Артур – запускать голубей и читать при этом стихи; Саша – поднимать

двухпудовую гирю, изображая мужественного, закаленного воина-афганца; правнуки — голышом плескаться в резиновом бассейне, что они и делали с превеликим удовольствием. Словом, враз задействовал всех, и такая началась кутерьма, хоть из ограды удирай.

Гарри только посмеивался, поправлял очки на длинном носу, встряхивал седой гривой, ни в чем не перечил режиссеру, наоборот, зачастую и сам предлагал какие-то мизансцены. Родителей он то и дело утешал:

— Потерпите... Так надо.

В семье Карлсонов не принято было возражать Гарри: как никак профессор, заведует кафедрой в индустриальном институте, степенный, респектабельный мужчина, уж он-то наверняка знает, что делает.

По замыслу режиссера фильм должен был поведать о жизни четырех здравствующих поколений одной немецкой семьи — со сложной, разумеется, судьбой, но более-менее благополучной и непременно «интернациональной». Видимо, все это и имелось в виду, когда режиссер, картинно попыхивая затейливой формы трубкой, восторженно и длинно разглагольствовал о «фактуре». И в самом деле, подумал тогда про себя дед Давид, в судьбе многочисленных Карлсонов отразилась жизнь российских немцев, а может, и целой страны. Обо всем этом, пожалуй, в получасовом фильме и не расскажешь.

Душными вечерами вместе со съемочной группой собирались за длинным столом во дворе под виноградником чаевничать. Киношники с любопытством рассматривали пухлые семейные альбомы. В тридцатые годы Давид Фридрихович увлекался фотографией и сумел сохранить много снимков из того времени. Режиссер, пытливо вглядываясь в пожелтевшие, поблекшие фотографии, запечатлевшие неведомую ему жизнь неведомого края и неведомых людей, вдруг поинтересовался:

— Выходит, Давид-ака, с сорок первого вы ни разу так и не побывали в родном селе?

— Нет.

— Как так можно?.. Я хоть и городской, а в ауле отца бываю каждый год.

— Собираюсь, а все не получается, — как бы оправдывался дед.

— Я давно про то ему толкую, — встряла Эмилия. — Съезди, пока еще можешь... Боишься один — бери с собой хоть Артура.

— Конечно, надо бы хоть краешком глаза взглянуть.

— Вот и поезжай! — наседала Эмилия. — Хватит тебе в райкоме штаны протирать.

— Ну, давай, вместе и поедем!

— Куда я с моими ногами? Раньше надо было.

Думы о поездке на Волгу, в родные места, давно уже согревали душу, пробуждали воспоминания. Порой смутная тоска по чьему-то далекому и зыбкому разливалась в груди, и тогда старики — Давид и Эмилия — летними вечерами в уютном ташкентском дворике, случалось, вдруг ни с того ни с сего заговаривали о родном селе, о детстве и молодости, о сельчанах, чьи имена как-то легко и радостно всплывали в памяти.

— А они куда подевались?

— Ой, ой, будто не знаешь! Да раскулачили их в двадцать девятом. И все их имущество, скот — все передали в колхоз. А голытьба деревенская, шантрапа и бестолочь, все мигом пустили на ветер.

— Как это?

— А просто! Дорвались до дармовщинки и — ю-хайтра-ра — все и загубили. Такие же красноштанные комсомолисты, как ты...

Дед Давид смущенно помалкивал. В этом пункте у них с Эмилией были давние и непреклонные расхождения во взглядах. Она, дочь сельского капельмейстера, склонного к вольнодумству, репрессированного в крутые годы коллективизации, неизменно с обидой и болью вспоминала то далекое время и даже шесть десятилетий спустя убежденно считала, что именно тогда, в пору истребления кулачества как класса, родное село Манхайм лишилось лучших трудяг и начало хиреть. Он же, Давид, сын многолетней вдовы-лютеранки, бедной, как церковная мышь, с головой окунулся в бурное течение все сокрушавшей новой жизни и один из первых в селе вступил, к ужасу матери, в безбожный комсомол. И хотя их с Эмилией брак оказался благополучным и долгим, можно сказать, даже счастливым, если бы не слишком опошлили это понятие, но классовое расслоение тех лет неизменно проскальзывало в их нередких спорах, особенно когда они предавались воспоминаниям о родном крае тех лет.

— Я тогда конюхом работал в бригаде... — пытался дед Давид переменить разговор.

— Ой, конюхом! Какой из тебя конюх? У вас сроду и лошадей-то не было.

— Ну, и что? А как обходиться с лошадьми — знал.

— То-то в первый же год половину табуна загубили в колхозе.

— Я-то при чем?

— О том и речь! Не до лошадей тебе было. Целыми днями околачивался возле качелей за кирхой, вместе с такими же, как ты, голодранцами верующих пугали, богохульствовали, игрища затевали. На балалайке тренькал «Вихри враждебные»...

— Не на балалайке — на мандолине. И не «Вихри», а «Интернационал».

— А смысл?

— Так это было комсомольское поручение. Чтобы сельскую молодежь от церкви отвадить.

— Ну, и доотвадились!

Так они, бывало, перепирались подолгу. Вспоминали об одних и тех же событиях, но оценивали былое по-разному.

Обрывались воспоминания обычно сорок первым годом. На этом кончился первый этап их — Давида и Эмилии — долгой жизни. Может, самый памятный, счастливый. Тот отрезок жизни в их беседах обозначался коротко: «тогда», «на родине», «дома». Второй этап всецело связывался с Казахстаном. Так и говорили: «Там, в Казахстане». А третий отрезок их бытия именовался: «Здесь, в Ташкенте».

— Нет, Давид Фридрихович, надо съездить! — настаивал режиссер. — Непременно. И тогда в вашем сознании образуется как бы цельная, завершенная картина.

И режиссер плавным жестом очертил круг в воздухе.

Круг жизни.

Тогда-то, в тот душный июльский вечер за многолюдным столом во дворе, во время совместного с киногруппой чаепитием и возник план предстоящей поездки на Волгу.

В начале октября у Гарри, по его выражению, намечался в его работе небольшой «люфт», ему предстояла поездка в Саратов. Значит, к этому времени туда поездом доберется без всякого провожатого и отец, тем более он еще не использовал свое льготное право на бесплатный проезд в любую точку страны. Так? Из Саратова отец с сыном доберутся пароходом до Марксштадта, а оттуда на автобусе до Гнаденфлюра и Манхайма — всего лишь один «катценшпрунг». Договорились?

— Пожалуй, идея... — согласился дед.

— Х-хэ! — осенило тут вдруг внука Сашу. — Славненько получается! Как раз в эту пору мы с Хильдой отчаливаем нах Фатерланд. Да, да! Мне осталось только заказать билеты. Вызов есть. Разрешение со дня на день получу. Альзо, аллес тип-топ!

— Ах, Сандер... — вздохнула бабушка Эмилия. — Не трави мне душу.

— Так пусть из этого... как его... Манхайма, — продолжал Саша, — дед прямиком отправится нах Москау. Погостит у Марины. Заодно и нас проводит. И зараз останется на съезд. Ты же, кажется, делегат?

— Делегат, — подтвердил дед.

— Та-ак... — быстро все просчитал в уме Гарри. — Кажется, вызревает реальный план.

— Ну, конечно! — поддержал ученого дядю племянник. — Все сходится отменно. Как нельзя лучше.

— Как в кино, — заметил, ухмыляясь, режиссер.

Тут же, на расширенном семейном совете, план поездки был одобрен и обговорен во всех деталях.

— Гезагт — гетан, — подвел итог решительный Саша.

И дедушка Давид согласился.

III

Он очнулся от дум, глянул машинально на часы, прислушался к гулу зала. Стояли духота и смрад. Пассажиры все прибывали и прибывали. Эдак не то что сидеть, стоять скоро негде будет. Шарканье тысяч ног. Грохот. Плач детей. Утробный кашель. Нескончаемая круговерть. Толчея. Гом. Уныние, серые лица.

Огромные лайнеры, как неземные чудовища, застыли на мокром поле. Над аэропортом висела мгла. Серая муть волочилась по земле. С низкого неба без устали сыпалась-текла мокрядь. То ли дождь со снегом, то ли снег с дождем. Сквозь эту серую, плотную пелену прокручивался скучный, сиплый голос:

— Задерживается... Откладывается... По метеоусловиям...

Там, в Ташкенте, наверняка еще тепло и солнечно. Цветут розы. Над всем городом витает, струится сладкий базарный дух. Внук Артур гоняет на велике по пыльным переулкам махалли. Яркие, пестрые краски радуют взор. А тут промозглую, туманную муть и пушкой не пробьешь.

Нелетная погода едва ли не по всей стране...

IV

Долго стояли в понуром молчании отец и сын. Безмолвное пространство расстилалось во все стороны. Ветер нехотя теребил три чахлых кустика акаций неподалеку. Временами вскручивались жидкие столбики степной пыли над дорогой, по которой часа три назад проехал раздрызганный автобус-коробка из Первомайска.

Как колотилось сердце у старика, когда он с сыном сел, наконец, в рейсовый автобус в захудалом районном центре, бывшем Гнаденфлюре! Села он не узнал. Оно как бы сузилось по краям, неприметные, обшарпанные домишки сиротливо жались к земле. Возле приземистого магазинчика в центре толпились люди в затрапезном виде. Лица их были угрюмые, злые, будто после затяжного запоя. Толпа то сбивалась серой кучей у двери ветхого строения с зарешеченными, давно немытыми окнами, то, глухо ропща, рассеивалась, разбредалась: с утра ждали хлеб, а хлебовозка как сквозь землю провалилась. Тщедушный мужичонка, облезлый, небритый, бил суковатым костылем по двери магазина и площадными словами крыл какого-то Степку, который, должно быть, опять надрался или — что еще пакостнее — свалился со своим драндулетом-хлебовозкой в кювет.

Старому Давиду вспомнились пышные караваи и праздничные «риввелькухен», которые в этих краях выпекали до войны едва ли не в каждом доме. И еще он живо представил аромат свежеиспеченных в тандыре лепешек; по утрам их целыми горками покупает разношерстный люд на шумных ташкентских базарах.

Дом, в котором дед Давид жил перед депортацией, работая здесь заведующим кантонздравом, он так и не нашел. Там, где некогда протекала речка Караман, тускло отливала лужа, а рядом громоздилась свалка хлама.

В автобусе он не находил себе места. Все озирался вокруг. Вглядывался в лица пассажиров, словно надеясь встретить кого-нибудь из знакомых. Гарри пытался было его усадить поближе к окошку на первое сидение, чтобы не так сильно трясло, но старик отмахнулся.

— Ты что?! Мы ведь уже приехали. Сейчас вот будет Мариенбург, а там, считай,— и Манхайм.

Гарри поморщился.

— Садись, папа, и не волнуйся зря. Неужели не ясно, что не будет ни того, ни другого.

– Как не будет?! – слезящимися глазами возмущенно уставился старик на сына. – Не могли же исчезнуть целые села!

– Могли... Ты же видишь: сплошное запустение.

– Да ну!..

Старик был неузнаваем. Запавшие, морщинистые щеки его порозовели, в глазах мерцали лихорадочные отблески, руки дрожали. Он жадно вглядывался в окрестность, высматривая памятные приметы дороги, по которой он с детских лет до тридцатидвухлетнего возраста ходил бессчетное количество раз туда-сюда пешком между родным Манхаймом и центром тогдашнего кантона. В 39-м году, когда его назначили заведующим кантонздравом, он почти целый год не мог подыскать квартиру для семьи, и тогда каждый день на рассвете отправлялся из Манхайма на работу в Гнаденфлюр, а поздним вечером – иногда даже ночью, если случались собрания,– опять же чаще всего пешкодралом шагал назад – туда-сюда ежедневно десять верст. А теперь, более полувека спустя, как ни старался, ни вглядывался до рези в глазах в столь знакомый, казалось бы, ландшафт, все было чужим, неузнаваемым: ни прежнего овражка, ни лощины, ни бугорка, изрытого сусликами.

Пора бы быть Мариенбургу, небольшому католическому селу, мимо которого они, жители Манхайма и Зихельберга, проходили каждый раз с некоторой опаской: тамошние шалуны, приверженцы католической веры, имели обыкновение дразнить соседей-лютеран и обзывать их обидными прозвищами. Правда, и сорванцы-лютеране, как правило, в долгу не оставались и за срамным словцом в карман не лезли

– Дед, отойди от двери – вывалишься! – буркнул пожилой шофер, покосившись в зеркальце.

– Извините.

– Потерял, что ли, что-то?

– Да, потерял...

Шофер оглянулся теперь через плечо, прищурился.

– Нездешний, видать. А что потерял?

– Родину.

Шофер еще раз оглянулся, на багровом, грубой ковки, лице мелькнула догадка.

– А-а-а...

– Тут, помнится, должно быть село... Мариенбург...

– Что-о? Какой еще там бурх?! Тут хуторок был,

Чкаловка назывался. Так от него ни хрена уже не осталось.

– А... а... Манхайм? – упавшим голосом спросил старик.

– И «хайм» давно сгинул. Была тут деревушка... Малиновка, кажется.

– Не Малиновка – Манхаим! Большое село. Здесь я родился.

Багроволицый шофер сбавил скорость, опять воззрился на старика, презрительно хмыкнул.

– Когда? Сто лет назад, что ли?.. Я пацаном был, деревня Малиновкой называлась. А сейчас и ее след простыл.

– И Манхаима уже нет?

– Чудак! Заладил: Манхайм – Фуйхайм. Слушай, ты, наверное, из этих... из немцев? Сказывают, когда-то здесь жили...

– Угадал. Из них.

– Хм-м... Говорят, тогда здесь порядок был?

– Да, было по-другому.

– А ловко вас Усач отсюда вышвырнул?! Крут был. Шуток не любил. Р-р-раз – и как ветром выдул!

Старик не ответил. Об усаче не то что говорить – вспоминать не любил. Тем более сейчас.

Шофер запалил беломорину, затянулся.

– Ясно. Прошлогодний снег, значит, ищешь. Вот он, твой Манхайм. Видишь, стена торчит возле той акации. Это все, что от твоего Манхайма осталось.

– Останови, пожалуйста...

Шофер нехотя притормознул. Отец с сыном вышли. Отряхнулись. Огляделись. Пусто, голо вокруг. Будто испокон веку никто никогда здесь и не жил. Хоть бы степной тушканчик прошмыгнул рядом. Хоть бы сорока вблизи застрекотала.

Старик обомлел. У него был растерянный, несчастный вид. Молчал и Гарри, чувствуя, как захлестнуло горло.

– Эй, долго так торчать будете? Или поедем?

Старик не ответил. По глубоким бороздкам запавших щек катились слезы. Гарри глухо сказал:

– Ладно. Поезжай...

– Как хотите... Только следующий автобус будет не скоро.

Покатила раздрызганная коробка дальше. Рыжее облако пыли всклубилось за ней. У обочины дороги безмолвно застыли отец и сын.

Стояли долго. Потом, пошатываясь, будто слепец, наощупь, дед Давид побрел туда, где из-под земли торчали обломки старой кирпичной кладки, проросшей чертополохом. Поодаль одиноко росли три акации.

– Гот... майн гот... – простонал старик.

Здесь некогда находилась школа-семилетка. В лучшие годы, помнится, тут училось до четырехсот детей. Еще в году – примерно 29-м – она получила звание «мустершуле» – образцовая школа. Какая жизнь там бурлила! С какой неуемной жаждой училась тогда детвора! Каждый раз, когда он, лейтенант медицинской службы РККА, рослый, спортивно-подтянутый, в ладной форме, в ремнях и петлицах с кубиками, навещал родительский дом, его обязательно приглашали в школу и с восторгом внимали его рассказам об учебе в Ленинграде и Казани, о службе в летной школе в Энгельсе, и у деревенских мальчишек загорались глаза от предвкушения невиданной и безумно интересной жизни, которая ожидала их всех впереди.

Да-а... мог бы он тогда, в начале тридцатых, такой доверчивый и открытый, весь взбудораженный звонкими, дерзкими лозунгами новой жизни, напрочь лишенный каких-либо сомнений и подозрений, предположить, представить, какие испытания ждут его и всех его соплеменников совсем скоро? Нет, не думалось тогда об этом, не предполагалось. Не предвиделось. Даже в дурном сне не снилось. Впервые душа омрачилась всерьез, пожалуй, в 38-м, когда его вызвал к себе командир полка и, пряча глаза, сообщил об отчислении его из рядов славной Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в которой он, Давид Карлсон, прослужил целых семь – лучших, прекрасных кажется теперь – лет. Отчислили и все. Будто выкинули за ненадобностью. Понятно, не его одного – всех немцев-командиров, служивших в летном полку. Это было непонятно. Немыслимо. Обидно. Казалось, в одночасье рушилось все. И с того времени, с лета 1938-го года, в сердце закрепилась неуверенность неминуемой большой беды...

Вскоре все тревоги оправдались...

– Папа, свою-то улицу определить примерно можешь? – тихо спросил Гарри.

Старик, точно очнувшись, неопределенно махнул рукой.

– Та-ак... где-то вот там... метров пятьсот отсюда...

Должно быть, вот в том направлении тянулась их улица... Большая, чистая... дома деревянные с пристройками,

летними домиками, палисадником, высоким забором, широкими воротами, хлебом, амбаром, сеновалом, разными закутками. На этой улице жили трое братьев Карлсонов, четвертый – Фридрих – обустроился неподалеку. Сколько люда – в причудливом родственном сочетании – жило, работало, любило в этом уютном селе на берегу Карамана! Сколько надежд связывалось с будущим! И вот – ничего... Ни-чего!.. Где они, все эти многочисленные, многодетные Вормы, Зельцеры, Гертеры, Унгефуги, Лайеры, Бооле? Сколько человек полегло в неведомых трудармиях, Икс-Игрек-Цетлагах, за колючей проволокой, на лесоповале, на стройках и шахтах бескрайней Сибири из одного лишь степного села Манхайм? Где тот обелиск с выбитыми на граните именами загубленных односельчан? Кто-нибудь их сосчитал? Кто-нибудь оплакал? И где ныне их потомки в третьем, четвертом, пятом поколениях? Развеянные, рассеянные по Казахстану, Алтаю, Узбекистану, Киргизии, Молдове, Удмуртии, Башкортостану, Татарстану, а кое-кто уже и по федеральным землям Германии, дети причудливо смешанных браков, знают ли они что-нибудь о родном крае своих предков? Слышали ли когда-нибудь и что-нибудь о селе Манхайм, ныне смешанной с землей? Застрял ли в их памяти далекий отзвук родной речи?

– А я ведь бабушкин дом немножко помню, – задумчиво произнес Гарри.

– А-а?! – откликнулся рассеянно отец. – Ну, конечно, помнишь... Мы ведь с мамой твоей часто сюда приезжали. И ты подолгу живал то у дяди Вильгельма на конце улицы, то у бабушки, то у дяди Фридриха. С детворой играл. Что-то, видно, осталось в памяти.

В последний предвоенный год в доме бабушки (так не только родные дети и внуки, но и стар, и млад в селе называли Катерину – Элизабет Зельцер) торжественно отметили тридцатилетие жены Эмилии. Какой это был праздник! Он выпал как раз на вайнахтен – на немецкое рождество. Закололи поросенка, накупили вина, пригласили духовой оркестр. Многочисленная родня, друзья пели, плясали, озоровали, дурачились ночь напролет. Славная получилась вечеринка. Пожалуй, впервые были в полном сборе все Карлсоны, Гертеры по отцовской и материнской линиям, все братья, сестры, даже двою- и троюродные, все племянники, сваты, сватья. Впервые – и в последний раз. Через полгода разразилась война. Но тогда,

на рождество сорокового года, никто о том не знал, не думал, не догадывался. Во всем селе один только шалопутный Фриц Лайер, учившийся в Марксштадском техникуме, случалось, горланил: «Если завтра война, если завтра в поход, если темные силы нагрянут...», но никто в Манхайме не придавал значения ни Фрицу, ни песне, ни ее зловеще-хвастливым словам.

Именинница Эмилия сияла. Раскраснелась. Танцевала с галантными деверями модные тогда танцы. У шестилетнего Гарри горели глазенки. Всему дивился малец. Он видел такое впервые, все крутился возле духовиков, повторял: «Это — кларнет, это — баритон, это — бас», трогал ручонками начищенные до блеска инструменты, норовил кулачком ударить в огромный гулкий барабан. Потом подросшие племянники — Вильгельм, Фриц и Ханнес — поставили мальчонку на стул и заставили его читать новогодний стишок-пожелание. И Гарри с важным, горделивым видом, приосанясь, как учили его двоюродные братья-школьники, потешно коверкая отдельные немецкие слова, громко продекламировал:

Wir wünschen euch ein runter Tisch,
Ihm jede Eck ein gebratener Fisch,
In die Mitt eine Kann voll Wein,
Das soll euer Neujahr sein.
Hab ich mein Wunsch nicht recht gemacht,
So will ich schiessen das es donnert und kracht.

При последних словах — доннерт унд крахт — новогоднего вунша Гаррик сильно ударял в ладоши и топал ножкой, и трое братьев, точно по команде, с оглушительным треском враз взрывали хлопушки, приводя гостей в неописуемый восторг. Дядя Фридрих, уже под хмельком, кинулся к понятливому племяннику, подкинул его к потолку, обслюнявил, обколол своими усищами и, вконец расчувствовавшись, сунул ему в кармашек рубашки красненькую тридцатку...

Интересно, помнит ли Гарри тот последний предвоенный праздник в селе? Помнит ли тот стих-пожелание? Надо будет при случае спросить.

Больше уже никогда Карлсоны и Гертеры в таком составе не собирались. Судьба разметала их повсюду и прошлась по ним тяжким катком. И даже тех веселых озорников, научивших Гарри немецкому вуншу, сыновей

брата-ветеринара, замерзшего в трудармейских бараках в сибирских лесах в сорок третьем году, нет уже ныне в живых. Старший погиб в Ленинградскую блокаду, средний покоится на кишиневском кладбище, младший похоронен неподалеку от города Мурома. А их дети и внуки наверняка и слыхом не слыхивали о деревне Манхайм у речки Караман, одного из притоков Волги. Они не помнят эту землю — край предков, а земля эта — не помнит их. Нет на свете ничего страшнее подобного взаимного отчуждения и забвения.

— Надо же... так изуродовать землю, — горько заметил Гарри. — Даже от дамбы следа не осталось.

— Дамбы?.. Ты ее помнишь?

— Чуть-чуть. Ребятня бегала по ней... плюхалась с разбегу в нагретую воду. И еще раков ловили. Я их так боялся.

Старик почувствовал прилив радости. Надо же... шестилетним мальчонкой был... маменькин сыночек... ухоженный, чистенький... по-городскому изнеженный, не так-то просто сходился с деревенскими сверстниками, ибо говорил немного забавно, мешая русские и немецкие слова, ведь пока жили в Энгельсе, общался главным образом с русскими детьми, а оказавшись в Манхайме, лопотал по-немецки и очень удивлялся, когда его кто-то не понимал или потешался над его выговором.

Верно: и дамба была. Весной Караман вспучивался, выходил из берегов, заливал окрестности, и жители ближних сел спешно строили или укрепляли дамбу из глины, назема, соломы, кустарников. Камней, леса в округе не было. В половодье вода с легкостью разрушала хлипкую дамбу и почти каждую весну ее приходилось насыпать заново. Знойным летом речка — она начиналась в девяти верстах отсюда, возле села Половодино — сильно мелела, почти пересыхала, но за дамбой образовался отменный пруд — вожделенное место для шумных игр деревенской детворы.

А теперь... ни дамбы, ни речки, ни пруда, ни детей. Пусто!

Отец и сын молча походили по выморочному полю. Невозможно было вообразить, что здесь каких-нибудь полвека назад шумела, буйствовала человеческая жизнь, звучала родная речь. Даже трудно было представить, что за столь не так уж большой в сущности промежуток времени может так преобразиться, так измениться, так соста-

риться сама земля, наполненная когда-то соками полнокровной жизни. Да-а... земля жива, пока на ней обитают люди. Не случайные, не временные, не пришельцы, а те, кто ее поколениями щедро поливал потом и кровью, кто обихаживал, лелеял ее, жил, радовался, любил и умирал на ней, уходил в нее. А иначе все превращается в прах. Земля, как женщина, как мать, нуждается в любви, в привязанности, в доброй памяти. Без этого она умирает. Как нищает, калечатся души и те, кто покинул ее или вынужден был не по своей воле ее оставить и мытариться в чужой стороне.

— А вот там... видишь полоску чуть темнее... стерня щетинится... там было кладбище.

— Не помню.

— Конечно, не помнишь. Ты и был-то там всего один лишь раз, когда хоронили бабушку.

— Помню только по фотографии: свежий холмик, деревянный крест с надписью, ты в военной форме, мама в короткой стрижке, в белой беретке, я между вами...

— Да, было... было... Перед самой войной.

Кладбище было старое, давнее. Здесь покоился отец, умерший в голодном двадцать первом году в возрасте шестидесяти лет. Здесь же дети — пятеро братьев и две сестры, целая стайка внуков и многочисленная родня под надрывный рев духового оркестра — похоронили незадолго до депортации одну из древних жительниц Манхайма, истовую лютеранку Катерину-Элизабет Карлсон, урожденную Зельцер.

На этой земле, в этом селе, никуда не отлучаясь, она прожила семьдесят пять лет. Она не помнила, когда вообще появилось это село со столь теплым звучным названием. Она только знала, что и ее отец, и ее дед тоже жили в Манхайме. И тоже легли в эту землю. А что было до того, более полутораста лет тому назад, кто и когда основал эти села в тесной близости друг от друга — никто уже не помнил и не знал. И потому, казалось, всегда были эти села — Манхайм, Мариенбург, Гнаденфлюр, Зихельберг, Моргентау, Эрленбах, Коппенталь, Штрассенфельд — и с незапамятных времен звучало здесь немецкое наречие. Отсюда уходили крестьянские парни, немцы-колонисты воевать с французским кайзером Бонапартом, на русско-турецкую, русско-японскую войны, на первую империалистическую бойню, после которой и начался разброд, раздрай и в немецких селах на Волге, и по всему россий-

скому фатерланду. Погибали на полях сражений законопослушные колонисты вместе с другими российскими бедолагами под тем же кличем – за веру, за царя, за отечество. А кто уцелел в этой мясорубке, оставался не на чужбине, возвращался непременно домой, сюда, в родной Манхайм, чтобы потом, в свой срок, оплакиваемый родственниками, лечь в эту землю, где покоились предки нескольких поколений.

Теперь от кладбища тоже ничего не осталось. Кресты сожгли, могилы разровняли, распахали, засеяли то ли ячменем, то ли овсом – по будылям, по стерне и не сразу определишь...

Отец и сын походили, покружились по пустынному, запущенному полю, вновь вернулись к тем акациям, возле которых торчала кирпичная кладка – остаток фундамента бывшей манхаймовской «мустершуле».

В двадцать седьмом году, если не изменяет память, в селе объявился учитель, первый комсомолец Андреас Гётц. Славный был парень, неугомонный, непоседа. С утра до вечера пропадал среди школьников, все что-то строил, мастерил с ними. Тогда-то возле школы появилась спортплощадка. Вечерами здесь гремел духовой оркестр. В клубе, бывшем молельным доме, ставили спектакли. Лихорадочное, буйное, пьянящее было время! Всех захватила новизна неведомой жизни, все к чему-то стремились, строили неимоверные, безумные планы. Не было уныния, тоски, спячки. И каждый день приносил что-то новое, манящее. Увы, недолго продлился этот всеобщий подъем. Все время случались какие-то пакости. А к концу тридцатых годов и вовсе стало тревожно. Даже знаменитые песни Эрнста Буша – «Марш единого фронта» и «Песня болотных солдат» – которые распевали тогда все, и стар, и млад, навевали смутную тревогу, звучали грозным предостережением какой-то неминуемой беды. Правда, тогда не все это сознавали...

И вот что осталось от той образцовой семилетней школы. Обломок стены...

Это было единственным свидетельством безвозвратно ушедшей жизни. Через год-другой дожди, снега, ветры сотрут с лица земли и эту жалкую примету былого бытия. Потом исчезнет, канет в небытие и сама память об этом селе, само название Манхайм. Самые молодые, в душе которых еще сохранилось нечто призрачное о том времени и о том селе, подбираются ныне, как Гарри, к шести-

десяти годам. А там, после них, — полное забвение. Никто ничто уже — никакими усилиями — не возродит, не вызовет к жизни.

— Смотри, смотри, — почему-то шепотом сказал Гарри, кивком головы показывая в сторону акации.

Там высунулся из норки суслик, поозирался вокруг, вытянул с любопытством мордочку, принюхался, посучил передними лапками. Потом застыл, неподвижно, столбиком, уставился на нежданных пришельцев, готовый в любое мгновение шмыгнуть в норку за едва приметной кочкой.

— Хм-м... нас приветствует.

— Может, узнал?

— Хоть одно живое существо объявилось.

— Не знаешь, как долго живут на свете суслики?

— Не знаю... Но этот, уверен, родился уже после тридцать второго года.

— Откуда знаешь?

— В том году мы съели всех сусликов по всей округе.

— Значит, этот переселенец. Точнее, его потомок.

— Выходит, так. И тем самым как бы нам родня.

— Все переселенцы на земле — наши братья.

— Я сказал бы еще точнее: все, кто находится под спецкомендатурой.

По небу лениво текли на север перистые облака. Солнце заметно обессилело: было начало октября. В воздухе разлилась истома, та печальная задумчивость, которой окутывается земля перед резкой сменой погоды. Иногда налетал ветерок, и тогда явственно ощущалось знобкое дыхание осени.

Грустно кончилось долгожданное свидание с родиной. Впрочем, как и все на свете. Может, и не надо было вовсе приезжать? Может, и сына Гарри напрасно только оторвал от дела? Видно, печальное свидание с детством взбаламутило и душу сына. А что он, старый Давид, скажет своей Эмилии? Что испытает она после его неутешных рассказов? Да и про что он расскажет ей? Про вымороченное поле? Про обломок школьной стены? Про суслика возле чахлых акаций?

Нет, напрасно шумливые ребята из «Возрождения» еще на что-то уповают. Былую жизнь не возродишь. Умершее не оживишь. Та жизнь, что была здесь, канула в неизвестность. А та, что есть или будет, — увы, другая жизнь. Другая-я. И тут тоскуй, жалей не жалей, хоть плач навзрыд и

душу выверни наизнанку, возврата к той жизни нет. Тот мир — мир теней. И остался он только в тебе, в закоулках твоей памяти. И не возродить его. И даже восстанавливаемая или пусть и восстановленная автономия российских немцев его уже не возродит. С этим придется смириться. Все, что было, уже не будет. А то, что будет, — это уже другое. Другое и чужое. Чужое. Не твое. Не твоя жизнь.

— Ну, что, папа, двинемся?

— Куда?

— Действительно, куда? — усмехнулся Гарри.

Рослый, курчавый, седой, в очках, в просторном светлом плаще, с «дипломатом» в руке, с японским зонтом под мышкой, он казался нв этом унылом поле пишельцем с другой планеты. Казалось, он собирался на свою кафедру, к студентам, или возвращается с лекции. Старик скользнул взглядом по крупной, внушительной фигуре сына и живо представил себе в этот миг его тем мальчишкой, ухоженным, чистеньким, выхоленным, в коротких, с перекрестными лямками, штанишках, в модной тогда матроске, в белых чулочках и в сандаликах. С широко раскрытыми, большими глазами, с любопытством и восторгом взиравшими на этот загадочный для него тогда мир предвоенного Манхайма. И между тем давнишним мальчишкой и этим нынешним солидным дядей, отцом семейства, ученым мужем и тоже уже дедом пролегла долгая, изрытая, искореженная всякими колдобинами жизнь. И глядя на сына, старый отец вдруг остро почувствовал, как немыслимо долго он живет на этом свете, долго, может быть, не столько годами (хотя и восемьдесят два годика, что ни говори — возраст почтенный), сколько богатством событий, крутых перемен и поворотов судьбы, выпавшей на его долю. Порою старику чудилось, что он прожил, в сущности, несколько жизней. Представить только: он был уже восьмилетним, вполне смышленым мальчишкой, когда до манхаймской глуши докатилась весть о свержении русского кайзера и о перевороте в неведомом и сказочно далеком Петербурге. Он многое тогда уже соображал и все запомнил. А потом пошло-поехало: советизация, коллективизация, индустриализация, служба в РККА, война, депортация, трудармия, восстановление народного хозяйства, тридцать лет работы в Казахстане, двадцать лет жизни в Узбекистане, чего только не перевидел, не пережил, не перемогал, а все, представьте, живет себе, все помнит, все в себе, в душе, как в

бездонном мешке, вмещает. Такая вот штука – жизнь: диковинная мешанина из надежд и разочарований.

– Получается, как говорят казахи: сюда потянешь – арба сломается, туда повернешь – вол подохнет, – заметил Гарри.

– Налево пойдешь – смерть найдешь, направо свернешь – удачу обретешь. Или как там?

– Не помню, удачу или дорогу. Что-то в этом роде.

Решили свернуть направо: идти в сторону бывшего Зихельберга, наверняка тоже переименованного на русский лад. Авось настигнет их автобус или попутная машина какая. Далее доберутся до Федоровки, бывшей когда-то центром кантона. Сколько туда, помнится, перевезли, разбросав по бревнам, добротных деревенских домов раскулаченных «гросбауэров» из Манхайма. Уж это-то село, надо полагать, уцелело и название свое сохранило. А оттуда до станции Мокроус рукой подать. Там пути отца и сына ненадолго разминутся: один отправится в Павлодар, в свой институт, другой – в Москву погостить у внучки и полюбоваться на правнука. Там еще, видимо, предстоит проводить Сашу в Германию, если все сработает так, как задумано. А еще через несколько дней, бог даст, отец с сыном встретятся вновь на долгожданном, выстраданном съезде отечественных немцев, если, конечно, его опять не отложат...

Они еще походили по тоскливому полю, прикинули примерно место, где некогда стоял отчий дом, поразминали пальцами суглинковые комья, наскребли по горсти земли в платочки, помолчали в скорби, как на похоронах. В воздухе струился густой сладковатый запах перекалившейся засушливым летом земли.

– Значит, не судьба лежать мне в этой земле... – тихо проговорил старец Давид и расчувствовался до слез, вспомнив, что никому из тех, кто был выселен отсюда осенью сорок первого года, ни-ко-му, даже тогдашним младенцам так и не суждено было вернуться в родимый край...

V

Слякотно. Сыро. Тускло отливает снежура на лужах. Тысячи ног беспрестанно месят и месят чавкавшую бурую грязь.

С мутного неба сыплет и сыплет вялый снежок вперемешку с дождем.

Беспросветно. Люди, вконец отупев, толпятся, толкутся, давятся, трутся друг о друга, слоняются неприкаянные, усугубляя досаду и раздражение.

Старик, попросив сумрачного бородатого парнягу-соседа посторожить место и сумку-рюкзак, направился к киоску. Набрав кипу газет, завернул от скуки в буфет, замызганный, убогий, выстоял длинную очередь, сжевал черствый пирожок с ливером, запил остывшим блеклым кофе.

Синсносая лахудра в немыслимо аляповатой курточке, розовых колготках и кавалерийских сапогах надрывалась в мегафон:

— Приглашаем на двухчасовую автобусную экскурсию по Москве.

Еще кто-то назойливо взывал где-то поесть вкусно и дешево.

Репродуктор гундосил одно и то же:

— Откладывается... Задерживается... Неприбытием самолета...

VI

В аэропорту «Шереметьево» деду Давиду все показалось более благочинней, опрятней, чище. И не было такого столпотворения, как в знакомых ему аэропортах. Да и зал был оборудован по-иному; бросались в глаза надписи на английском; пассажиры шлендали взад-вперед более подтянутые, раскованные. По эскалатору, который — на удивление — вполне функционировал здесь, поднимались, точно плавали по воздуху, голоногие, пышногрудые, размалеванные, как смертный грех, фифочки. У стоек возле буфета струился запах кофе.

— А-гха, майн Альтер, ду бист шон да?! — воскликнул, вынырнул откуда-то, Саша и кинулся обнимать дедушку. — Дас фройт мих зер!

С тех пор, как Саша надумал эмигрировать, он густо пересыпал русскую речь немецкими словечками и фразами, а с дедушкой и бабушкой норовил шпрехать на «хохдойч».

— Сашенька, милый, да тебя не узнать! — завелась, затараторила по обыкновению Марина, года три не видавшая двоюродного брата. — Прямо как иностранец!

Саша расцвел, расплылся губами. Рыжеватые усы и аккуратная бородка шли к его молодому, розовому лицу,

к черным бровям, к живым шельмоватым глазам. В джинсах-варенках, в просторной, сплошь в молниях и заклепках куртке, в дорогих «адидасах» на ногах, он и в самом деле заметно выделялся среди своих сородичей.

— А я и есть Ауслендер. Через цвай-драй штунден, считай, адью, адью, майн Фатерланд...

— Ах ты, боже мой! — продолжала восторгаться Марина. — Еще не успел выехать из... как ты сказал?.. да, из Фатерланда, а уже говоришь с акцентом.

— Натюрлих... Зельбстферштендлих... — валял ваньку Саша.

— А где вы будете жить — уже известно? — деловито поинтересовался Сережа. Он со своей танцевальной труппой не однажды бывал в Германии и хорошо разбирался в федеральных землях.

— Вероятно, в Лангехагене.

— Это... это... — Сережа наморщил лоб, покрутил на пальце связку ключей. — Саксония, кажется?

— Нижняя Саксония, — важно поправил Саша.

— А-а.. видно, недалеко от Ганновера?

— Йа, йа... — подтвердил Саша. — Им Ханновер ан дер Майне, хабен Вайбер дикке Байне...

И дурашливо рассмеялся.

— Перестань, Саша, — заметила стоявшая в сторонке его молоденькая жена и извиняюще покосилась на Марину. Хильда была в положении, это уже бросалось в глаза, и она, видимо, смущалась этого, сторонилась, помалкивала, сосредоточенно думая о чем-то своем. Маринка кинулась к ней, как бы спохватившись, обняла по-свойски, чмокнула в щечку, хотя и видела ее впервые — не смогла вырваться на свадьбу, только прислала поздравление и подарок.

— Поздравляю. И когда? — спросила негромко, многозначительно.

Хильда вспыхнула личиком, опустила глазки, но Саша расслышал, все понял, радостно доложил:

— В феврале. Все по плану, по заказу.

— Ишь, какой! Все знает, — усмехнулась Марина. — И кто родится, знаешь?

— А как же? Сын. Непременно сын! И появится он на свет не в каком-нибудь задрипанном Макталы-Пахталы, а в Германии. И потому назову его Германом.

— Ну, понесло тебя... — попенял внука молчавший до сих пор дед Давид. — Еще неизвестно, что тебя там ожидает.

Деду не нравилось, когда дурно отзывались о местах, где вольно или невольно приходилось жить. О самом захудалом местечке на божьем свете неприлично, кощунственно говорить «паршивое», «задрипанное». Человек должен быть благодарен любому клочку земли, где он некогда ел, пил, любил, страдал, мечтал. Не нравилось ему также, когда его соплеменники, бывало, с каким-то затаенным укором, вызовом, ожесточенностью говаривали, что проживают или даже прозябают в местах высылки. Он считал, что проживать или тем более прозябать чаще всего зависит от самого человека. Он, Давид Карлович, никогда нигде не проживал, а жил — жил достойно и честно, не унижал себя и то место, куда заносила его судьба. Да, в Казахстан он был выслан, никто его не спрашивал, желает ли он там жить или нет. Но местом высылки считать его все же не мог. В человеческих неурядицах и нескладицах земля не виновата. Жаль, что он так и не успел внушить внуку простую истину.

В углу зала на чемоданах, баулах, огромных тюках сидела, томилась группа невзрачных, плохо, по-деревенски одетых женщин с постным, озабоченным выражением на лицах. Рядом толпились человек десять мужчин — молодых и уже в годах, тоже в затрапезном обличье, загорелые, обветренные, будто только что вернулись с колхозного поля или из животноводческого комплекса в казахстанской глубинке. Один — долговязый, сутулый, давно не бритый — вырядился даже в фуфайку, кирзовые сапоги и засаленную ушанку. Можно было подумать, что он только что освободился из трудармии. К матерям жались — в аляповатой одежонке явно домашнего покроя и изделия — стайка детишек, вялые, скучные, сомлевшие, отупевшие от многодневного ожидания и изнуряющей вокзальной жизни.

Дед Давид сразу признал в них соплеменников. Тоже побросали привычное житье-бытье, дома, постройки, все нажитое за долгие годы, работу в казахстанской, киргизской, алтайской глухомани, решились — можно представить, после долгих мытарств и сомнений — на неведомый путь. Бывшие спецпереселенцы, изгнанники, сполна познавшие все тяготы жизни, всю нескладицу судьбы, они надеялись, что там, в богатой Дойчланд, их ждет новая, ухоженная и упорядоченная жизнь прежде всего для своих детей и внуков.

— Тоже покидают свою благословенную хаймат, — по-

яснил Саша, уловив взгляд деда. – Я с ними познакомился в «Олимпия-райзен». Сплошь работяги – механизаторы, доярки, скотники.

– А там что будут делать?

– Не беспокойся, деда. Руки, ноги есть – не пропадут. И хуже, чем здесь – не будет.

– Но почему они такие... ну, бедные, умученные? – оробело спросил Сережа.

Он, изъездивший весь белый свет, имел о немцах совсем иное представление. Как правило, они были сытые, самоуверенные, шумливые, добротно одетые и улыбчивые. Он и не предполагал, что советские немцы так отличаются от своих зарубежных единоплеменников.

– Что делать, Сергей? – серьезно ответил Саша. – Что они видели, кроме тяжелой работы? Представьте, сколько они переделали за свою жизнь, сколько домов понастроили, сколько земли перепахали, сколько молока надоили, сколько урожая собрали?! А теперь вот едут обобранные, общипанные, ни кола, ни двора. С нуля опять начинают жить. Пока обходили овиры, заполняли бумаги, добивались визы, приобрели авиабилеты, их малограмотных, робких, боящихся каждого милиционера, каждого начальника, волчья мафия всех мастей обобрала до нитки. И уезжают теперь ни с чем... как нищие, как просители-христарадники в чужую сторону.

– Ужасно!

– Не то слово! Издевательство! Сплошное надругательство! Представьте: приедут они туда – и год не смогут прийти в себя после всех мытарств и унижений, которым их подвергла напоследок родная страна. Это справедливо, Сережа?..

Помолчали, походили. Еще раз вместе попили кофе. Говорили о чем-то мимолетном, несущественном. Как всегда, в томительные минуты ожидания.

– Ну что, деда? – все еще бодрился Саша. – Вот устроюсь, встану на ноги – приглашу. Приедешь?

– Устройся сначала, – глухо ответил дед Давид.

– Погостишь, осмотришься – и тебе тоже захочется уехать. Уверен!

– Ладно... Мы с тобой об этом вдосталь наговорились. Ты молодой, сильный, здоровый. Считай, вся жизнь впереди. Можешь еще много пользы принести. Я тебя не осуждаю. Дерзай! Пробуй... Хотя и жалко. И здесь был бы не лишний. А обо мне какая речь? В восемьдесят два года

уезжать — смешно. А главное, пойми, — стыдно. Я ведь для той страны ничего не сделал. И уже не сделаю. Так, с какой стати жить мне там нахлебником, ждать милостыню, пособия, крохи с барского стола?! Чувствовать себя постоянно балластом. Совесть, Сашенька, не позволяет.

Он сказал это с таким напором, с таким внутренним убеждением и страстью, что все задумались и промолчали. Отчего-то всхлипнула Хильда. Сережа учтиво отвел взгляд, сильнее покрутил связкой ключей вокруг указательного пальца. Наступила пауза.

Не все расслышали, что прогундосила дикторша по радио. Но к толпе уезжающих отечественных немцев подошел милиционер и раздраженно буркнул:

— Вы что, не слышите, что ли? Или по-немецки ни хрена нихьт ферштейн?! Объявили же посадку!

Боже, что тут началось! Уезжающие повскакали с мест, похватали чемоданы, рюкзаки, баулы, сумки, тюки, загалдели, засуетились, толкнулись то в одну, то в другую сторону, бабы запричитали, заойкали. С улицы, отшвыривая недокуренные папиросы, застегиваясь на ходу, хлынула толпа провожающих, тоже одетые кто во что горазд — в полушубки, плащи, куртки, кургузые пальто; девочка-подлеток выкатила со стороны туалета дряхлую, грузную бабку в инвалидной коляске. Бабка в одной руке держала костыль, другой прижимала к груди потрепанную пухлую библию, вперила застывший, полный ужаса и тоски взгляд вдаль. Наконец, толпа как-то сориентировалась и потекла, потащилась, волоча свой скарб, толкаясь, к таможенному контролю, к длинным стойкам.

— Вот бестолковая немчура! — сказал презрительно милиционер, проходя мимо деда Давида, как бы ища в нем поддержки. — Табор цыганский!

— Что ж... пора и нам. — Саша вздохнул, тяжелым взглядом проводил долговязого милиционера. — А то долгие проводы — лишние слезы.

В самом деле, молчаливая Хильда что-то совсем разнюнилась. То ли мать, оставшаяся с тремя малолетками на руках в Чимкентской области, вдруг припомнилась, то ли страх перед неведомым обуял ее нечаянно, то ли чуткое женское сердце затрепетало, сжалось перед разлукой с дорогими людьми. Глядя на нее, потемнела лицом и Марина. У деда Давида вдруг задрожали руки, и он все хватался за туго набитый саквояж.

Все сразу точно онемели. Неприкаянно толпились у

стоек, пока элегантные таможенницы дотошно просматривали документы. Саша все прижимал к себе, утешал вконец расчувствовавшуюся Хильду. Та, оглядываясь на провожающих, по-детски, кулачком, утирала слезы, хлюпала носом. Старалась улыбнуться всем напоследок, но губы не слушались.

– Чао, други! – бодрился Саша. – Тшюс, майне либе...

Но и его при последнем повороте длинного коридора вдруг покинула наигранная безмятежность. Он опустил на пол громоздкий саквояж, обернулся, кинулся ошарашенно к деду, обнял его через барьер, напугав своим порывом чванливо-изящных таможенниц, обцеловал его, ткнулся бородкой в его шею, прошептал дрожащим голосом:

– Прости... И поклонись бабе Миле.

– Хорошо... Пиши... Звони...

Трое провожающих остались по ту сторону таможенного барьера. Стояли долго, будто не знали, что же делать дальше.

А у соседней стойки творилось невообразимое. Женщины плакали навзрыд. Обнимались, расходились и вновь бросались друг к другу в объятия. Мужчины кусали губы, вытирали молча носовыми платками слезы, сердито сморкались. Глядя на родителей, бросались в рев дети. Уже нельзя было понять, кто уезжает, а кто провожает. Говорили невпопад, бессвязно.

– Мария... Марихен... больше мы с тобой уже не увидимся.

– Эмма, не забывай нас.

– Прости уж за все, Вика...

– Ждите нас... Скоро и мы тронемся.

– Всем, всем там, в ауле, приветы передайте.

– Дом пусть пока не продают. Может, еще и вернусь.

– Сено, слышь, Ахмету отдай. А то его буренка до весны не дотянет.

– Про-ща-ай!..

– Лебт вооль, киндер...

И только грузная бабка в инвалидной коляске безучастно вперила взгляд вдаль и все судорожней прижимала к груди ветхую библию.

«Боже мой...» – вырвалось у деда Давида.

Наконец, и эта толпа двинулась к выходу, над которым давно горело табло. И тут коренастый, седой мужчина, вспомнив что-то, остановился, поискал глазами кого-

то среди провожающих, гаркнул сипло, будто на колхозном поле:

– Эдуард, слышишь? Я в суматохе забыл, оказывается, заплатить за свет. Дом продал, а за свет-то не заплатил. Что обо мне Бексултан подумает?

– Какой Бексултан?

– Ну, этот... из Котыр-куля. Оплати, пожалуйста.

– Сделаю, онкель Хайнрих. Не беспокойся. Там и набежало-то всего, наверно, рублишек на пять-шесть.

– Все равно оплати. А то неудобно. Совсем из головы вылетело.

– Ну, сказал же: сделаю.

– Данке, данке, Эдуард...

На обратном пути Марина и Сережа, едва усевшись рядком в машину, затеяли разговор о повседневных своих делах и вскоре так увлеклись, что, казалось, и вовсе забыли про деда Давида на заднем сидении и о том, что только что проводили в другую страну близкого родственника. Сережа ругал каких-то нерадивых танцоров, ушедших из его ансамбля в погоне за длинным рублем как раз накануне престижных зарубежных гастролей, и теперь у него, балетмейстера, голова кругом, где бы раздобыть достойной им замены. Может, удастся кого-нибудь сманить из моисеевцев, тем более у них там, кажется, назревает разброд в коллективе? Марина взахлеб рассказывала о приключениях во время ночных съемок. Всю неделю готовились к важному эпизоду, нагнали уйму техники, всполошили массовку, каждому хмырю платили по сорок рэ, а именитый артист, игравший роль видного современного политического деятеля, заявился с опозданием и в изрядном подпитии, на площадке орал на датского режиссера и все норовил спросить по-английски, в каком фильме он собственно снимается и кого он должен изображать. Ему кое-как втолковали, что он изображает героя очередной русской революции в дни августовского путча, а артист, с трудом ворочая языком, упорно настаивал на том, что он – понимаете ли – чихать хотел, имеет – видите ли – потребность сыграть лидера славной эпохи застоя и больше никого. Ему, зарубите себе на носу, именно застой был больше по душе...

Деду Давиду все это было неинтересно, он уронил голову на грудь, прикинулся, что дремлет, и предался своим невеселым думам.

К Саше он был привязан особенно. Он родился сла-

беньким, хворым. Трехмесячным, еле-еле живым, дочь привезла его к ним, в Северный Казахстан, должно быть, уже не веря в спасение. Эмилия всплеснула руками и заплакала при виде крохотного, иссиня-серого комочка, исходившего криком. Она, мать пятерых детей, не представляла, как можно выходить это крошечное существо, как вдохнуть жизнь в его щуплое, хрупкое тельце.

Но выходила-таки. Молочком да отварами отпаивала. Витаминчиками разными пичкала. Ночами напролет сидела у колыбельки. Дыханьем согревала. Нежила и лелеяла.

Так и рос внучек. То у родителей, у которых жизнь что-то пошла сикось-накось, то у бабушки с дедушкой. И все же был он жидковат, болезнен, малорос. Потом непутевый отец и вовсе ушел из дому, спутался с какой-то тугогрудой, стеклянноглазой стервешкой. И дед Давид опасался, что мальчик без отцовского пригляда отобьется от рук, вырастет шалопаем, и еще пуще прежнего его опекал. Подростком Саша окреп, взялся тягать железки, качать мышцы. В армию — уже после школы — ушел ладным, плотным парнягой, умеющим при случае вполне за себя постоять. А служить ему пришлось — вот уж никак в семье этого не ожидали — три долгих года в Афганистане. Эти три года Карлсоны прожили в постоянном страхе. С нетерпением ждали весточек из Баграма. А Саша писал разные глупости, о том, о сем, с какими-то прибаутками, шутками, будто и не служил вовсе там, откуда приходили по всей стране черные вести, а забавлялся в сказочном курортном городке.

Вернулся Саша живой, целехонький. По-прежнему балагурил, шутковал. Но дед Давид сразу заметил: внук изменился. Что-то как бы постоянно тяготит его. Душа взбаламучена, не на месте. Говорит не то, что думает. А в думы свои никого не пускает. Улыбается снисходительно, горько, с какой-то умудренностью, будто знает нечто, что никто из его многочисленных сородичей не знает и знать не может.

Никому никаких хлопот он не доставлял. Не куролесил, не бражничал, не выхвалялся исполнением интернационального долга, об «Афгане» вообще вспоминать не любил. Окончил техникум, какие-то курсы, работал то мастером по ремонту холодильников и швейных машин, то телефонистом, потом перебрался из города в совхоз, завел хозяйство, женился. И дед Давид был уверен, что

все у внука устоялось, заладилось, и беспокоиться, пожалуй, ему больше не о чем.

И вдруг в прошлом году он как бы между прочим заявил, что уезжает, да, да, уез-жа-ет... как куда? – куда многие ныне едут, на этническую родину. Дед не придал этому значения, думал, обычный Сашин треп, взял да болтнул для-ради красного словца. А вскоре выяснилось, что тихо-незаметно он давно уже заполнил какие-то антраги, съездил в германское посольство в Москве, что-то там оформил, встал на какой-то учет, познакомился со сверстниками из штаба «Возрождение», завел дружков из ландсманшафта – землячества русских немцев в Германии и «Фау-де-А» – общества немцев за рубежом и даже получил вызов на выезд.

– Да как ты мог?! – возмутился было дед.

Саша, ухмыльнулся в усы и подергивая бородку, съерничал:

– Предки мои знаки шлют.

– Какие предки? Какие знаки?

– Предки, полагаю, да-а-алекие, пра, пра, пра. А знаки такие: автономии вам не видать, как собственных ушей. А если что-нибудь и обломится, то в виде фарса. По принципу: на тебе, боже, что нам негоже. Империя рушится. И вам, безродным, на ее обломках места нет. Образуется же все не скоро. А жизнь между тем есть и другая. И у каждого – своя.

– Хм-м... такие знаки шлют тебе предки?

– Да, дух предков!..

– И сам ты это придумал или подсказал кто?

– Представь, деда, сам дотумкал. Шарики в башке еще малость шурупят.

И, не желая вести бесцельный спор с дедом, продекламировал:

– На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля...

– Сандер, – ласково перебила внука бабушка Эмилия. – Но ты же здесь, в Ташкенте, родился. Край-то твой здесь.

Саша обнял бабу и опять ответил стихами:

– Я здесь был рожден, но нездешний душой...
О! Зачем я не ворон степной?..

И вот – свершилось. Уехал Саша. Гезагт – гетан. Сказано – сделано. И вверг многих в душевную смуту. За ним, может, еще кто-то из молодой поросли Карлсонов

потянулся. Уехали дети племянника Вильгельма. Уехала дочь племянника Ханнеса. А теперь – и родной внук...

Когда-то мечталось собрать всех родственников вместе или поселиться хотя бы поблизости. Ну, понятно, всех нынче никак не соберешь... На родословном древе, вычерченном сыном-профессором, потомки манхаймовских Карлсонов и Гертеров – теперь уже разноплеменных – более двухсот человек, и живут они, считай, по всей стране – ныне тоже развалившейся. Один из Карлсонов даже обитает на земле Франца Иосифа. А как хотелось, чтобы хотя бы дети и внуки оказались поблизости, под рукой, в одном городе или области. Чтобы не порвалась нить родственных душ. Вот славно бы было!.. Да только, оказалось, немыслимо это. Не то, что в одном городе, – в одной стране уже не живут. На две страны, получается, уже разбросаны. И даже, если учесть, что каждая республика норовит стать отдельным государством.

А им, Давиду и Эмилии, старой, верной спутнице, изгнанным из родных мест, теперь уже, видно, суждено лежать в узбекской земле. Неужто так на роду было написано?..

Слезы навернулись на глаза дедушке Давида.

VII

Странно: редко в какой газете есть информация о прошедшем в Москве съезде отечественных немцев. Будто и не было ничего. А если и что было, то это как бы недостойно внимания. Может, и действительно на фоне кровавых стычек то здесь, то там, предстоящих потрясений, предрекаемых вестниками глобальных бед, съезд – на взгляд постороннего обывателя – более-менее благополучных, хоть и репрессированных некогда (подумаешь, кто из нас не репрессирован!) российских немцев – явление заурядное, малозначительное? Так, наверно, полагают и в верхах. Что ж... Всюду разлад, распад. Никто не ведает, что может случиться через месяц-другой. Не до немцев. К тому же они и сами на съезде оказались отнюдь не на высоте. Показали себя всему миру глупее и бестолковее, чем на самом деле есть. Кому-то, должно быть, это на руку.

Ну лукавить-то зачем? Зачем упорно писать, что Поволжье густо заселено и места подыскать нашенским немцам невозможно? Это ведь явная ложь! Ересь! Бывшие немецкие села, в которых благоденствовали сотни и ты-

сячи семей, ныне пустуют, а то и вовсе исчезли. В Германии, сказывают, плотность населения в двадцать раз больше, чем на Волге. Между тем она принимает эмигрантов едва ли не со всего света, а поволжским властителям все тесно. Чушь да и только!

Вторые сутки томления на аэропорту были на исходе. В здании невозможно было протолкнуться. Поверженные пассажиры валялись прямо на полу. Более устойчивые толпились на улице под занудливой снежной крупой, сыпавшей без устали с прохудившегося неба. По радио сообщили, что аэропорт закрыт. Об этом писали газеты, показывали в телевизионных программах новостей. Просочился слух, что погода ни при чем, летают же иностранные самолеты, просто нет горючего. Несколько сот отчаявшихся пассажиров хлынули на взлетное поле, штурмом залезли в самолеты, слали начальству парламентеров с грозными требованиями. Деду Давиду удалось дозвониться до внучки.

– Деда-а... Наконец-то! Добрался? Все хорошо? Мы тут прямо места себе не находим! – завелась сходу Маринка. – Долетел нормально? Как баба?.. Что-что?.. Как еще не вылетел?! Еще сидишь? Где?! Ужас, ужас! Да как же так? Голодный, небось... Может, я что-нибудь сготовлю и Сережа после работы привезет?.. Что?.. Ну, как же?!.. Кошмар!.. Бедный, бедный деда...

Дед улыбнулся. Напориста, говорлива, темпераментна внучка. Слова в ее речь не вклинишь. Но на сердце сразу теплее от родного, заботливого голоса.

– Подожди. Выслушай меня. Ничего не надо. За полсотни верст щи мне, что ли, привезешь? Не беспокойся. Желудок при мне. Деньги при мне. Буфет, хоть и паршивенький, рядом. Не пропаду. Позвони-ка лучше в Ташкент, предупреди, чтобы зря не тревожились. Там, думаю, баба Миля уже извелась. И скажи: пусть не пугаются. Приеду с бородой...

– С чем, с чем?.. С балдой?.. Алё!

– С бородой, говорю. Борода-то растет. И на аэропорту, когда ждешь, оказывается, особенно быстро.

– Шутишь... Вот Севушка рвется с тобой поговорить.

Тут же – видно, по другому аппарату – залопотал захлебывающейся скороговоркой правнук.

– Деда, деда, деда, деда... Как позиваешь?.. Плиеззай сколей, сколей... Пливеззи машинку, автобус, тррлтлактол... и... и ессё, ессё... печенья... Пока, пока, пока...

И швырнул трубку.

Дед Давид тихо рассмеялся и поплелся назад, в зал, к своему месту.

А с грязно-мутного неба все сыпало и сыпало. То ли дождь со снегом, то ли снег с дождем...

«Полетит... Куда денется?» — сам себя утешил дед Давид.

VIII

У казахов есть поговорка: «Той будет» заманчивее, чем «той прошел». Той — значит, пир, торжество, гулянье. Иначе говоря: волнует то, что будет, а не то, что уже состоялось. Это вполне справедливое наблюдение вспоминалось деду Давиду каждый раз, когда он думал о только что прошедшем первом съезде отечественных немцев в Москве.

Сколько было разговоров, споров, кривотолков вокруг этого события! Как долго и мучительно к нему шли! Сколько изводилось бумаги и принималось решений! Какие ожесточенные схватки и ристалища происходили между «возрожденцами», между «радикалами» и «умеренными»! Какие только силы не втянулись в орбиту драматической и в общем-то бесплодной возни! Как круто при этом, случалось, менялся курс! Сколько доморощенных горе-деятелей шарахались от одного берега к другому! И сколько раз откладывали сам съезд!

И все же было в этом что-то интригующее, захватывающее, завлекающее. Заманчиво — «той будет!»! Особенно, если на том тое решается судьба народа. Или точнее: что-то может быть. А как же иначе, если сам глава государства битых три часа обсуждал в Кремле — с неугомонными ходоками за национальную справедливость — этот на полвека затянувшийся «немецкий вопрос», а легендарный лидер России громогласно, со стальной непреклонностью в голосе заявил, что проблема должна решиться непременно положительно, и что он лично будет присутствовать на том съезде, и помешать этому может разве что только его смерть.

Сказал так, будто вбил осиновый кол в саму проблему.

В словах, Аллаху слава, недостатка у нас никогда не было.

«Той будет» заманчивее, чем «той прошел».

Многие из тех, кто шел к этому съезду долгие-долгие годы, сломались в изнурительном пути, смирялись в «психушках», эмигрировали, увозя вместе с жалким скарбом непосильную, неизбывную обиду с собой, на чужбину, а то и отправились туда, где с сотворения мира никаких национальных проблем не существовало — в царство всеобщего благоденствия и вечного мира.

И вот отшумел, отгрохотал долгожданный съезд бедолаг-соплеменников. А что, собственно, было? Что-то вроде и было. Но что? К чему пришли?

В одном из перерывов, у буфета, кто-то обронил фразу: «Гора родила мышь». Неужто так? Конец съезда и вовсе скомкан. Председательствующий, явно обескураженный, что-то невнятно бубнил в микрофон и, опасаясь, что время на исходе, вот-вот надо освободить импозантный зал, скороговоркой зачитал длиннющий, как тонкая кишка, список членов какого-то реабилитационного не то совета, не то центра, и зал рассеянно, равнодушно поднимал руки. Не все ли равно, кто и сколько человек в совете, который ровным счетом ничего не решает и не означает.

На лицах делегатов застыло недоумение.

В недоумении остался и дед Давид.

И только самодеятельная фольклорная группа с Алтая самозабвенно отплясывала в фойе, повизгивала, в сотый раз заводила игривую «О, Сусанна!», будто это был национальный гимн будущей немецкой автономии.

После заседания, возвращаясь домой к Маринке, подолгу толкаясь в метро, томясь на стоянке, потом — трясясь в автобусе, Давид Фридрихович все силился как-то осмыслить происходящее на съезде. Неотвязчиво думалось об этом и на рассвете: просыпался он рано, по ташкентскому времени.

Обидно, что не мы решаем свою судьбу, думалось старому Давиду, ее всегда решали другие силы. И теперь, выходит, ее решают за спиной народа две державы — Германия и Россия. Будет так, как они договорятся, как они столкуются между собой.

По сути дела мы стали как бы заложниками, предметом торга. Само по сути уже это обидно и унизительно. Но еще более обидно то, что все эти общественные национальные движения, организации — разные там «Видергебурты», «Айнхайты», «Фройндшафты», «Хоффнунги», «Хайматы», все эти пленумы, конференции, советы, обра-

щения, решения, постановления, диспуты и дискуссии на страницах газет – все это мишура, туман, слякоть, пустой треп, собачий скулеж. Выходит, ты можешь сколько угодно говорить о своей национальной боли, надеждах, стремлении, самосознании и ментальности, а решают все иные господа на ином уровне, заставляя тебя в лучшем случае толпиться в коридоре в ожидании высочайшего решения твоей же судьбы.

Такое впечатление вынес старый Давид со съезда. Получается, что съезд был изначально обречен на неудачу. Он вовсе не нужен был российским властям. Да и тем, западным собратьям, благодетелям истинным и мнимым, он нужен был лишь постольку-поскольку. А наши-то немцы, отечественные, от волнения и отчаяния покрывались пятнами, сжимались от боли и несправедливости, топали ногами, заглушая своих же, думавших чуть-чуть иначе, хлопали горячо тем, кто рассуждал – хоть и примитивно, но доступно – как большинство, до хрипоты обсуждали какие-то словечки и выражения в своих никому не нужных и бессильных резолюциях и письмах-обращениях в высокие инстанции, в уставах и положениях, нещадно били друг друга с трибуны на потеху подлинных недоброжелателей, ставили какие-то ультиматумы, грозили кому-то, дотошно подсчитывали голоса, с недостойным азартом, неистовством выясняли, что они, собственно, проводят – первый полномочный съезд немцев или второй этап первого полусъезда, будто именно от этого и зависела прежде всего судьба народа.

Смешно. Глупо. И досадно.

И особенно обидно было от того, что стоя на краю пропасти, исчезающие или почти уже исчезнувшие как этнос, униженные, растоптанные, уже плохо понимавшие друг друга, уже неспособные изъясняться на своем родном наречии, перемеленные жерновами общих невзгод, прошедшие через общие лишения и беды, отравленные общим горем, они, разделившись на лагеря и мнимые течения, нещадно, уничтожающе избивали, шельмовали друг друга, улюлюкали, злорадствовали, изгалялись друг над другом, топча при этом честных, заслуженных, именитых соплеменников, которыми гордились в республиках и в стране.

Это было уму непостижимо. И – страшно!

«Боже мой! – хватал себя за голову старый Давид, слушая иных не в меру ретивых, распалившихся, запальчи-

вых ораторов. – Как они намереваются жить вместе? Как они будут строить автономию? Да они же перегрызут друг другу глотки!..»

Вскоре он понял: сшибка позиций происходит отнюдь не между истовыми приверженцами радикальной верхушки «Возрождения» и более трезвыми, умеренными «оргкомитетчиками», как это упорно, всеми возможными средствами пытались вдолбить в сознание несмышленых, доверчивых соплеменников. Отнюдь нет. Водораздел пролег между теми, кто уже оформил документы на выезд, кто твердо намерен эмигрировать, и теми, кто вовсе не помышляет – по крайней мере пока – покинуть страну и лелеет надежду наводить порядок в своем доме. А поскольку многих охватила эйфория выезда и только в этом – в массовом исходе – видится единственное спасение, то эта часть народа и неистовствует больше всего, пьянея и шалея от дозволенной смелости и крайнего радикализма, и бесшабашно обрушивается на тех, кто все еще строит какие-то планы – пусть иллюзорные – на возрождение в собственной стране. Вот где собака зарыта! Уезжающим хочется, чтобы вместе с ними уехали все. Чтобы хоть как-то успокоить взбаламученную душевную боль. И именно так понимают они единство. Другая часть уповает на консолидацию сил, имея прежде всего в виду тех, кто остается. Отсюда и весь сыр-бор. Задачи и цели разные. Следовательно, не грызться, не – извините – собачиться между собой надо, милые мои детки, а одним заботиться о тех, кто продолжает связывать свою судьбу с Россией, а другим – упорядочить, налаживать человеческий выезд тем, кто покидает страну. Ибо нельзя допустить, чтобы люди уезжали с неприязнью к бывшей родине и с раздражением на сердце. И все! Проще простого!

Так представлялось все деду Давиду, и ему хотелось поделиться своими догадками с сыном Гарри, но тот все эти дни сидел как ветеран немецкого движения в президиуме, встречался с разными людьми, с учеными и литераторами из Германии, давал интервью, что-то строчил, заседал в редакционной комиссии и с отцом сталкивался лишь в толчее во время перерыва, обмениваясь короткими репликами на ходу. Устроился он в гостинице «Россия» и, судя по черным кругам под глазами, явно недосыпал, занятый своими бесконечными делами.

На съезде дед Давид встретил знакомых по трудармии – двух Иванов Ивановичей. Один был из Кемерова, дру-

гой – из Нижнего Тагила. Оба тоже недавно посетили родные деревни на Волге и тоже вернулись удрученными. Особенно возмутили их антинемецкие митинги, на которых им довелось присутствовать, этот необузданный ор и гвалт под немыслимыми плакатами и транспарантами. На тех митингах оба Ивана Ивановича попытались выступить, урезонить разгоряченную толпу, но слова им не давали, согнали с трибуны, кричали: «Недобиток!», «Убирайся в свою Германию!», «Мы вас побили в сорок первом, побьем и теперь!», «Немец! Оставь Поволжье дяде, а сам иди к бл... !», «Лучше СПИД, чем автономия!», «Волга – русская река!», «Катись!» И выслушивать приходилось всякую чушь: что Сталин правильно сделал, выселив всю немчуру к чертовой бабушке, что поволжские немцы, якобы, активно содействовали фашистам, прятали в погребах оружие, отравляли колодцы, привечали диверсантов, взрывали мосты, поджигали пшеничные поля, а ночью запускали ракеты, подавая сигналы гитлеровцам.

Слушать и видеть все это было невмоготу.

Деда Давида поразили пикетчики, стоявшие у входа в кинотеатр «Октябрь», под моросящим дождем с такими же нелепыми плакатами. Он подошел к одному пикетчику, заговорил было, вежливо спросив, почему же он так недружелюбно настроен к восстановлению немецкой автономии на Волге, кому от этого будет хуже. Пикетчик был не в духе, промок, озяб, со злобой отшвырнул недокуренную беломорину, цвиркнул меж зубов и просипел: «Отвали, старик! Шнель! Шнель! Какая тебе автономия, когда копыта вот-вот откинешь?»

Об антиавтономистских шабашах в Саратовской области ему приходилось и ранее читать в газетах. Он никак не мог взять в толк: откуда такая нетерпимость? Кто сеет ненависть? Кто взбивает всю эту муть в головы несчастных людей? Почему понадобилось создавать целые общества против восстановления автономии, будоражить народ, распространять столько нелепостей и безрассудного вранья?

Ему захотелось выступить со съездовской трибуны, рассказать о своей поездке в несуществующий уже Манхайм, о любимом внуке-афганце, который несколько дней назад покинул родину, обратиться к тому хмурому пикетчику и его единомышленникам и сказать просто, по-доброму:

– Слушай, русский брат мой! Почему ты против меня?

Только потому, что я – немец? Но это же дико. Это стыдно. Я ведь тебе ничего плохого не сделал. И почему я должен доказывать тебе, что я хороший? Почему ты ставишь меня в холопское положение, чтобы я сначала пожил на задворках собственного дома, доказал – в который раз! – что трудолюбив, скромен и честен, ублажая тебя, и лишь после того, как ты в том убедишься, ты, может, позволишь мне войти в сени моего же дома. Выходит, ты решаешь, можно ли меня пускать в мой дом или нет? Так кто ты такой? Я твой вассал, что ли? Или пленник? Или я должен расплачиваться за то, что мои далекие предки некогда прибыли сюда, отозвавшись на зов и посулы русской царицы, и вдохнули жизнь в эти богом забытые, пустынные края, щедро орошая эти мертвые земли своим потом и кровью? Этот край облагородили мои предки, мои соплеменники. А теперь, по-твоему, я пришелец, а ты – коренной? Ты решаешь мою судьбу?

Нет, братец, тут что-то не так. И на моем несчастье ты ведь свое счастье не построишь. Ибо это несправедливо. А жизнь в своем высшем проявлении справедлива. И пока ты, брат мой, так чванливо и высокомерно, так несправедливо относишься к другим, тебе вечно будет худо, голодно. Разве ты не задумывался об этом?..

Конечно, народ обманут. Но почему народ так легко обманывается? Почему он так податлив обману? И можно ли без конца оправдывать несчастный народ, который так слепо следует обману?..

В день открытия дед Давид направил в секретариат записку с просьбой предоставить ему слово. Но черед до него так и не дошел. Да и вообще, можно сказать, прений не было. Одни нудные, тягомотные доклады... Так и разъехались, каждый со своей болью в душе, со своими невысказанными думами.

Вот и он вернется домой; соберутся дочери, внуки, зятья, родственники из Сары-Агача, знакомые в городе, начнут расспрашивать: ну, что? Как? Будет автономия? Где? Когда?.. А что он, старый Давид, делегат первого съезда отечественных немцев, ответит?

Нет ответа.

Все еще нет ответа.

А будет ли?

IX

На большом электронном табло под перечнем рейсов ряд за рядом светилось одно и то же осточертевшее всем слово: «Задерживается...»

«Ну и бог с ним! В последнее время в этой стране все задерживается». Ни о чем думать уже не хочется. Не было ни сил, ни желания.

Ждать, ждать, ждать...

Как бы там ни было, а долг свой он выполнил. Родной край — хоть и поруганный, в прах истолченный — он посетил. Внука, которого считал своей опорой, проводил на чужбину. И на съезде, который — надеялись — решит судьбу единокровников, побывал.

Дальше что?

Дождь со снегом?.. Дождь со снегом...

Все равно распогодится. Все равно самолет полетит. Все равно будет то, что должно быть. Будет! Другого выхода нет. Пока существуют на земле люди, есть жизнь. А жизнь не удержишь, не отложишь. Она возьмет свое. И победу пожинает терпеливый. И то, что должно быть, — будет! И все сокровенные желания людей непременно сбудутся. Справедливость восторжествует. Правда, чаще всего, запоздало. Но и это еще не самое страшное. Страшно, когда уже ни во что не веришь...

Декабрь, 1991

ГЛУХИМИ ЗИМНИМИ НОЧАМИ...

Глухими зимними вечерами на сердце наползала тоска. И тогда Давид Павлович тщетно пытался найти себе какое-нибудь занятие, чем-нибудь отвлечься, все валилось из рук, и сердце с такой явственной болью сжималось, щемило, ныло, подолгу не отпуская, а в горле застревало удушье. Он чувствовал себя зверем, угодившим невзначай в капкан. Ему вспоминался рассказ старого охотника-беркутчи Абильмажина: волк, попадая в капкан, случается, в отчаянии перегрызает себе лапу и, зализывая рану, уходит на свободу.

Но он, Давид Эрлих, не был волком, он даже смутно представлял, из какого капкана ему следовало бы вырваться, и также неясно — на какую свободу и где эта сво-

бода. Лихорадочные обрывки видений, затейливые и тревожные клочки воспоминаний роились в воспаленном мозгу, и он ворочался на постылой казенной, с утрамбованным матрацем, кровати, забываясь в зыбком, изматывающем сне лишь под утро. Одни и те же однообразные, отупляющие сознание мысли вхолостую вращались, мельтешили в голове, и он тогда ощущал себя не волком в капкане, а подстреленным зайцем в мешке охотника.

Жизнь в полном неведении медленно убивала его. Что творится на белом свете за пределами приишимских аулов? Где его братья, сестры, племянники? Как живется Лиде, его благоверной, там, на Волге? Вспоминает ли отца сынишка Арно? И не эвакуировали ли их куда-нибудь? И сколько эта неопределенность будет продолжаться? Что-то не похоже, что бойня с Гитлером быстро закончится малой кровью, могучим ударом, как пелось в песне. И кто в состоянии ответить, сколько ему мыкаться в этом краю, как выброшенному в одночасье житейской волной на неведомый остров? В чьей воле его нескладная судьба? И может ли он сам своим усилием, своей волей что-либо изменить в этих несуразно сложившихся обстоятельствах?

Ответа не было. А вопросы только множились, дробились, роились, как микробы в капле воды под микроскопом.

Неотступно вспоминались Указ о выселении и сама спешная, трагическая, необъяснимая, как кошмар, как наваждение, как слепая стихия, тотальная депортация с родных, насиженных мест в черные сентябрьские дни сорок первого. На память вновь и вновь приходили тяжелые, как удар кувалдой, хлесткие, как пощечина, обидные слова Указа о тысячах и десятках тысяч диверсантов и шпионов среди мирного немецкого населения Поволжья, о карательных мерах в случае кровопролития по законам военного времени, и в который раз думалось: «Неужели это так? Может, он, рядовой коммунист, заведующий кантонным здравотделом, просто многое не замечал, не видел, не знал?...» Он перебирал все свои памятные годы — комитет бедноты, ликбез, союз безбожников, сельскую комсомольскую организацию, учебу в рабочей школе в Петерфельде и в военно-лекарской школе в Ленинграде, семилетнюю службу в рядах РККА, работу в летной школе под Энгельсом, вспоминал всех своих знакомых — военных, командующих, летчиков, врачей, потом — кантоновских руководителей, передовиков хозяйств и не находил

среди них ни одного шпиона или диверсанта, ни одного оборотня, ни одного – на худой конец – пакостника.

Тогда что же означают слова обвинения в Указе? И почему он, партиец, беспрекословно верящий каждому слову партии и ее вождей, вдруг позволяет себе сомневаться в истинности этого непостижимого акта в отношении народа? Он помнил во всех мелочах ту субботу – 30 августа 1941 года – когда в «Нахрихтен» по-немецки, а в «Коммунисте» по-русски был опубликован этот сногсшибательный Указ, подписанный всесоюзным старостой Калининым и секретарем Президиума Верховного Совета СССР Горкиным. Майн Готт, какие слова – слова булыжники, слова – карающий меч, слова – смертный приговор!

«... немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского народа и Советской власти».

«В случае, если произойдут диверсионные акты, затеянные по указке из Германии...»

«...Советское правительство по законам военного времени будет вынуждено принять карательные меры против всего немецкого населения Поволжья...»

«Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных кровопролитий... переселить все немецкое население...»

В чью коварную, изощренно-садистскую, палаческую голову они могли только прийти? Приговор не одному человеку, не группе отщепенцев, не какой-то презренной шайке предателей, если даже таковые были, а целой нации, целому народу, сплошь, поголовно, без исключения, включая неразумных деток и престарелых немощных старцев! Нет, такое и вообразить невозможно! Ведь было памятное сообщение ТАСС, опубликованное в середине июля 1941 года в «Правде» и не допускавшее ни малейшего сомнения в патриотизме российских немцев. В том сообщении говорилось: «В дни отечественной войны трудящиеся Республики Немцев Поволжья живут едиными чувствами со всем советским народом. Рабочие, колхозники, интеллигенция мобилизуют все свои силы для победы над гитлеровской сворой, поработившей германский народ, поработившей многие народы Европы. Тысячи трудящихся республики с оружием в руках пошли бороться против бешеного германского фашизма».

Текст этого сообщения Давид Эрлих переписал в свой блокнот и многократно его повторял на митингах, на ко-

торых юноши-немцы тотчас подавали заявления о просьбе зачислить их в Красную Армию добровольцами. И всем в республике было известно, что тысячи и тысячи немцев Советского Союза честно и преданно служили с первого дня войны на самых передовых участках Западного фронта.

И вдруг – как снег на голову, как подлый удар из-за угла – этот зловещий Указ! Как же могло случиться, что тысячи трудящихся из немцев Поволжья, которые с оружием в руках боролись с гитлеровцами, согласно сообщению ТАСС, через полтора месяца – по словам Указа от 28 августа 1941 года – обернулись пособниками фашизма?!

Нашелся бы хоть один разумный человек, который смог бы доступно и понятно объяснить, что бы все это значило, кому и с какой целью понадобилось оскорбить, унизить, растоптать, ошельмовать, обречь на изгнание, на муки, на гибель целый народ, более мирного, законопослушного, покладистого и трудолюбивого которого и вообразить себе невозможно?!

«Wo ist der verfluchte Hund begraben?» – спрашивал себя спецпереселенец-фельдшер. Где эта мерзопакостная собака зарыта? Что за этой немыслимой жестокостью кроется? Неужели и тут проявились злокозни и коварство подлого Адольфа? Или это акт мести? Против кого? За что? И неужели эта месть, эта кара определены какими-то недоступными ему, изгою, высшими политическими целями? Не является ли это просто-напросто плевком в душу народа? Осуществлением той самой карательной меры, которой откровенно пригрозил Указ? И не кроется ли за этим государственное, политическое недоверие к народу, который со времени Екатерины Великой и еще раньше сделал столько добра огромной империи, что до определенного срока особенно и не скрывалось? Неужто под предлогом войны с презренным фашистским фюрером кем-то всесильным задумано таким образом тайное возмездие всему тевтонскому племени?

От этих вопросов пухла голова, начинало колотиться сердце, становилось не по себе, и он вскакивал посреди ночи, начинал метаться по комнате и ненавидел, презирал себя за то, что никак не может уйти, избавиться от этих изнурительных сомнений, с которыми ему здесь, в аулах, и делиться абсолютно не с кем. Ни одна душа в этой глухомани вразумительно ответить ему не сможет. Более того, не в состоянии уразуметь его ночные душевные терзания. И никому из его знакомых казахов нет дела

до того, что творится в его душе. Выходит, он обречен на одиночество. Он как бы замкнулся поневоле в одиночестве собственного сердца.

«Нет... тут что-то не так... Не может быть! Не должно быть!» – с отчаянием и упорством убеждал он самого себя. Тут либо какая-то страшная, фатальная ошибка, либо вражеские происки, либо чья-то недоверчивая, подозрительная, излишне осторожная и мстительная воля... Со временем он окончательно убедился, что в своих одиноких ночных раздумьях вошел он в тупик, глухой и безнадежный, что ему одному не сладить с этим потоком сомнений, водоворотом терзаний и что во всей округе нет ни одного человека, ни единой души, которые могли бы объяснить потаенную суть случившегося народного горя и утешить его смутную тревогу. Он полагал, что все его сомнения сами по себе разрешатся победоносной войной с Гитлером, лишь скорая победа, в которой ничуть не сомневается великий вождь, развеет и его, одного из спецпереселенцев, тревогу, ответит на все вопросы и расставит, восстановит все по высшей справедливости. Значит, понапрасну он терзает, изводит себя неразрешимыми им вопросами. Ответ на них принесет только победа над фашистской мразью.

Он засыпал измученный, истерзанный, проваливался накоротке в забытье и видел чаще всего одни и те же страшные и бесконечные сны, которые являлись в сущности отражением недавно пережитой яви.

...Либер Хайланд, какая суматоха началась в селах и кантонных центрах, едва был обнародован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья»! Казалось, всю республику охватил пожар, будто необоримый степной пал загудел разом по обе стороны Волги – и на Bergseite, и на Wiesenseite – и в горной, и в долинной частях, и на правом и левом берегах.

В сознание немецкой верхушки автономного руководства внедрялись неукоснительные убеждения, что всеобщее выселение – вынужденная превентивная мера, объяснимая только суровыми законами военного времени, крайние обстоятельства, которые обсуждению не подлежат, и что если в этом жестком или жестоком решении кто-нибудь и виноват, то исключительно сами немцы, все эти вольгадойче или фольксдойче, назови, как хочешь, ну, может, головорез, бандит Гитлер, но только не Совет-

ская власть, не советское – в корне своем демократическое и гуманистическое – правительство, не советский народ и тем более не его великий вождь. Да, да, виновных следует искать только среди немцев. В своем несчастии – если они тотальную депортацию считают таковым – виноваты только они сами. Следовательно, пусть пеняют на себя! Или на свою единокровную императрицу, которая соблазнила их российскими просторами почти двести лет тому назад...

Большинство руководителей АССРНП из числа немцев и восприняло этот Указ в таком духе и действительно в строгих рамках положенного, то есть, всячески способствовало организованному – без сопротивления, без провокаций и каких-либо эксцессов – выезду своих попавших в немилость властей соплеменников. Раз есть такая установка родной Partei und Regierung, значит, надо ее исполнить с великим, поистине немецким тщанием. На безукоризненное проведение всеобщей депортации – кстати, это слово было не в чести, оно почти не употреблялось, так как не совсем гармонировало с декларируемыми гуманизмом и демократией, а предпочитали говорить: «эвакуация» или «выселение» – были брошены не только местная власть, армия и НКВД, но и партийцы-активисты из числа самих депортируемых. Так повелось искони: палач совершает свое подлое дело с помощью жертвы. Более того, изощренному палачу жертвы не только добровольно помогают, не только облегчают его кровавый труд, не только способствуют исполнению его черного замысла, но и еще как бы униженно благодарят за причиненные муки и погибель. В этом и заключается услада истинного палаческого искусства.

С выселением российских немцев так получилось.

Тихая, уютная, благоденствующая республика со своим образцовым порядком за несколько дней превратилась в зону бедствия. На раздумья времени не оставалось.

Вместе со многими активистами кантона по заданию канткома партии Давид Эрлих с раннего утра до поздней ночи мотался по немецким деревням и селам, оказывая посильную помощь в организации выселения. Картины жуткого народного горя раскрылись перед ним. Всюду выселение проходило в страшной спешке. Люди не понимали, что к чему. Спрашивали друг друга, что можно брать с собой, в каком количестве, на какой станции состоится погрузка и в какой состав, как туда добраться, какой парти-

ей кого куда отправят, как быть со скотом, кому передавать дома, подворье, нужно ли все отразить в каких-то документах или все бросать, оставлять на произвол судьбы и голыми-босыми бежать, бежать с насиженных мест, словно с пожара, куда глаза глядят.

На другой же день, как только был обнародован Указ о выселении, все села и деревни республики немцев Поволжья были окружены вооруженными красноармейцами и энкавэдешниками. Хмурые, молчаливые, неприступные, они строго следили за тем, как суматошились немцы, не спускали глаз с общественных предприятий, выставили охрану у сельсовета, у школы, клуба, ферм, баз, у зернохранилищ и водоемов, ходили по дворам, зыркали и шмонали по углам, пугая женщин и детей, не выпускали из деревень ни одной живой души, ибо каждый немец находился на строгом учете. Грозный вид вооруженной охраны страшил даже деревенских пустолаек, они трусили между домами, поджав хвосты и низко опустив морды. Всем стало ясно, что слова Указа о карательных мерах против всего немецкого населения отнюдь не были пустым звуком. Никаких человеческих контактов с выселяемыми со стороны красноармейцев или энкавэдешников не допускалось. С первого же дня выселения четко подчеркивалось: вчерашние добродушные и простодушные немецкие камерады обернулись если и не совсем врагами Советской власти, то по крайней мере «ненашими». Никаких дружеских приветствий: «Рот Фронт!», еще недавно распространенных повсюду после того, как великий вождь на съезде колхозников в Кремле приветствовал однажды этими словами делегацию из автономии немцев Поволжья, никаких тельмановцев. Вчерашние вожаки из числа коренных немцев чувствовали себя перед любым представителем бдительных органов нашкодившим и провинившимся сорванцом.

Осеннее солнце отстраненно взирало на разливанное людское горе. По белесому небу метались тучи. Со степей тянул прелый дух увядания. С наступлением серых сумерек окрестности оглушал неутешный собачий вой. На рассвете вразнобой и задавленно, словно через силу, с оглядкой, хрипло надрывались петухи.

Давид Павлович, точно заведенный, метался по деревням Гнаденфлюрского кантона. То, что он видел в эти дни, ввергло его в тоску и уныние. В Мариенбурге он видел, как селяне на двух десятках подвод медленно и

скорбно, не проронив ни слова, молча, будто все враз онемели, потянулись на станцию Плес. За эти дни уполномоченный кантона по организации переселения привык к исступленным женским крикам, плачу детей, сдержанным мужским ругательствам и проклятиям, а тут на добрый километр растянулось скорбное, сплошь онемевшее от горя и обиды кочевье. На возах, среди сундуков и тюков, сидели древние старцы, седые, опрятные старухи, пригорюнившиеся дети, рядом понуро брели обветренные, загорелые, крепкие мужчины; тут же, чуть поодаль, трусили разнопородные деревенские псы – и все молчали, будто дали зарок молчания. Молчали старики, глядя туда, где оставалась брошенная родная деревня, где невидимыми тенями метались духи предков; молчали дети, не понимая, что творится вокруг, угнетенные горем родителей; молчали мужчины, отлученные от привычной, строгим укладом освященной работы, от родных домов, от всего привычного и казалось бы незыблемого, что составляло смысл их жизни. Даже собаки приуныли, чуяли невыносимую беду, трусили преданно и верно, сопровождая своих убитых горем хозяев, будто на погост в открытой степи. И кони фыркали, шли обреченно. И хорошо смазанные, ладно сработанные колонистские фуры и рыдваны не скрипели. Со стороны казалось, что движется мертвый обоз в страшном нескончаемом сне.

Давид Павлович стоял на обочине дороги, глядел на это скорбное шествие, узнавая среди мужчин знакомых, поднял им вслед руку, но ни один не откликнулся, словно никто не видел.

Стоял завкантздравом, уполномоченный партии по выселению немцев Поволжья на обочине проселочной дороги один-одинешенек, как столб, усталый, измученный, пыльный и растерянно глядел вслед своих соплеменников, уходивших в неизвестность, в никуда. Люди молчали, покорные судьбе, и подсознательно чувствовали, что прощаются со своим прошлым, со своей малой родиной навсегда, на веки вечные. Они ехали и шли в сторону станции Плес, точно на Голгофу.

Такое грозное молчаливое шествие, похожее на движение бесплотных теней на огромном полотне, Давид Эрлих видел впервые, и то, что он увидел в затерявшемся в заволжской степи католическом селе, потрясло его душу.

В эти горестные сентябрьские дни он видел вмиг опустевшие, хорошо обустроенные, с любовью и тщанием об-

житые немецкие деревни, по которым неприкаянно бродили недоенные коровы, козы с красными воспаленными глазами, обезумевшие, оставленные хозяевами собаки. Из распухшего вымени коров и коз струилось молоко, белое, белое, оставляя темный след на пыльной земле. Коровы дурниной ревели от боли, отчаяния и беспамятства у ворот, у калиток домов в ожидании ласковых хозяек с чистыми полотенцами на плечах и с подойником в руках. Чисто промытыми стеклами бездушно взирали на них молчаливые дома. По крышам, по штакетникам и изгородям, вздыбливая шерсть, гуляли, дико посверкивая зелеными искорками глаз, огромные ухоженные коты. В прудах, котлованах, на речках было белым-бело от оставленных без присмотра гусей и уток. В положенный час гусиные стаи, чинно ведомые вожаком, возвращались с водопоя домой, подолгу гоготали у знакомого плетня и, не дождавшись желанного корма, потоптавшись некоторое время в недоумении, вновь гуськом отправлялись к пруду. Перезревали плоды в неубранных садах. Диковинные чучела охраняли ухоженные огороды. Замерзли, за-стыли на полях с полными бункерами комбайны. Настоянный разнотравьем поволжский ветер вольно гулял-озоровал по безлюдному жнивью, трепал налитые золотом колосья.

Все, все, нажитое многолетним терпением, неутомимым, адовым трудом, старанием предков, было брошено — нет, нет, не божьей волей — бешеному псу под хвост: добротные дома, убранство, подворье, погреба, склады, сараи с годовыми запасами, амбары, свинарники, курятники, бани, летние кухни, сады, клумбы, мельницы, сыроварни, колодцы, всякая всячина, заготовленная, собранная впрок на радость и счастье их трудолюбивых обладателей и их потомков — все, все, все, в одночасье, разом, по злому умыслу, безрассудно, варварски, было оставлено, брошено в эти черные дни. Все провалилось в пропасть, рухнуло в бездну, в тартарары. Все было отнято у народа, облагородившего эти бросовые, дикие, запущенные некогда земли.

Не было страшнее наказания!

В одном селе красноармейцы остановили пожилого дядьку-немца, на рассвете направлявшегося на кладбище. Он им сбивчиво втолковывал, что на кладбище покоятся его родители, братья, родственники, близкие, он хочет, мол, проститься с ними напоследок перед выселением. И

больше ничего, weiter nicht's, ja, ja... Кто знает, когда еще выпадет случай навестить их; может, уже не суждено ему вернуться сюда из неведомой чужбины. По небритым щекам седеющего бауэра-колхозника катились слезы. Красноармеiцы не пустили его.

– Не положено, фриц!

– Да не Фриц я... я Хайнрих...

– Все равно!.. Удрать решил, немец-перец-колбаса?!

– Цюрик, шпион! Диверсант! На кладбище ему захотелось!..

В Зихельберге, тщательно запирая дома, немцы опускались на колени и благоговейно целовали порог входной двери. Некоторые старухи, спускаясь с крыльца, падали в обморок. Древних старцев, чьи деды некогда обосновали в глухой степи немецкую колонию, подводили к подводам под руки. Кое-кто на дрожащих вытянутых руках нес потемневшую от времени библию – фамильную драгоценность, вывезенную из фатерланда предками-колонистами и чудом уцелевшую в недавние крутые – безбожные – времена.

В глазах заведующего током стахановца Фогеля застыли озабоченность и страх. Ему надо было помочь семье – собрать пожитки в дальнюю дорогу, а он день и ночь сторожил колхозное добро, не смея отлучиться ни на шаг. Ему советовали: «Бросай все к чертовой матери! Об этом ли тебе сейчас думать?!», но он никого не слушал, как угорелый, кружился возле горки зерна, аккуратно укрытой брезентовым пологом.

– Геноссе Эрлих, либер меньшь... ну, скажите кому-нибудь, чтобы срочно приемщика прислали. Надо же мне ток сдать по акту! Я же от эшелона отстану... Геноссе Эрлих, ну, пришлите кого-нибудь, чтобы я все сдал честь по чести.

С такой же просьбой вцепился в него и заведующий фермой в Полеводино.

– Ну, как я брошу ферму?! Ну, есть же Советская власть! Ну, пришлите же какого-нибудь русского или пастуха-татарина, чтобы я отчитался по закону. Завтра утром на станцию выезжать, а я здесь, как на привязи! Ну, сжальтесь, геноссе Эрлих... Вы же партайман. Поймите же меня!..

А партайман Эрлих был бессилен что-либо предпринять. Он обращался к командиру группы красноармейцев или к начальнику отряда НКВД, умолял помочь этим

бедным, растерявшимся людям, колхозникам-стахановцам, знатным труженикам, передовикам, маякам, славе кантона, но те только отмахивались:

– Да пусть катятся! Без них обойдутся и разберутся!

– Но должен же быть порядок!

– Оставьте! Можно подумать, что без вашего орднунга мы тут все пропадем...

У учителя семилетней школы меннонита Фрезе была своя забота. Всю жизнь он собирал фольклор российских немцев, книги, рукописи по истории колонистов, литературные издания, журналы, альманахи, газеты, старинные экспонаты, занимавшие почти весь его дом; при всем желании он даже малую толику этого богатства не мог забрать с собой, и он бросился к местным властям, съездил в кантонобр, прося, умаляя начальство взять его сокровища в управление архивами или музей, выделить, может, один класс в школе и передать все это в надежные руки, но о том сейчас никто и слушать не хотел.

– О чем вы говорите, учитель Фрезе!

– Судьба страны решается, а вы о каком-то хламе печетесь!

– Это не хлам. Это культура, народное достояние. Этому цены нет!

– Учитель Фрезе, успокойтесь, опомнитесь! И не путайтесь, пожалуйста, под ногами. Не до вас!

А в сельских магазинах днем и ночью звучала граммофонная музыка: стражи порядка, бравые ребятушки НКВД лихо расправлялись с даровыми немецкими запасами, уверенные, что в организации выселения законопослушные немцы обойдутся вполне и без их бдительного надзора.

Грязные клеветнические слухи ползли-волочились по униженной, поруганной земле немцев Поволжья. Эти слухи кем-то усиленно распространялись, раздувались, внушались. Не зря, видно, Советская власть их выселяет. Без дыма огня не бывает. Сверху все видней. Должно быть, и впрямь все они шпионы и диверсанты. Только прикидываются невинными, трудолюбивыми бауэрами. Подлое тевтонское племя! Сколько горя оно принесло русскому народу! Слышали, слышали?.. Говорят, колодцы отравляют... пшеницу сжигают... скот уничтожают... дома минируют... оружие в погребах прячут... хлебом-солью фашистский десант встречают... что-то там взрывают... панику и пораженческие настроения сеют...

От этих слухов и измышлений немел рассудок. Никто

не видел ни шпионов, ни диверсантов, ни оружия, ни десанта, ни охваченных огнем пшеничных полей, ни отравленных колодцев, ни взорванных домов... а нелепые, злые слухи волочились по земле, щедро политой кровью и потом народа, который в спешном порядке выселяли в неведомые края...

Руководство кантона из числа немцев после того, как оно активно посодействовало властям в исполнении высочайшего Указа о выселении немецкого населения Поволжья, в знак признания заслуг так же организованно было доставлено на железнодорожные станции, где оно погрузилось в последний эшелон, отправивший их в Сибирь и Казахстан вслед за униженными, оклеветанными, покрытыми позором несчастными соплеменниками.

Лес рубят – щепки летят.

Палач и жертва – едины. Как партия и народ.

Война без жертв не бывает. Победа будет за нами.

Дело наше правое.

Глухими зимними ночами фельдшера-спецпереселенца Давида Эрлиха в ауле на берегу казахской реки Есиль преследовали тяжкие, как кошмарный сон, видения и воспоминания...

1995

ТРУДАРМЕЙЦЫ

Он просыпался по обыкновению сам за несколько мгновений до того, как в непроглядной тьме за остывшим, затхлым бараком начинали яростно колотить об чугунный рельс. Вслед за этим в барак врывался в клубах пара кто-то из охранников и луженой глоткой с ходу срывался на ор:

– Пааа-дъе-ееем, немчурааа!

Некоторым из бывших урок доставляло особое удовольствие по-волчьи врываться в барак и молча стягивать рывком с нар еще не очнувшихся ото сна трудармейцев и швырять их, точно куль, на грязный, затоптанный пол. Измученные непосильной работой, покорные труженики лесоповала, так и не отогревшись и не выспавшись за ночь, только таким образом просыпались. Дежурные, матерно ругаясь, расталкивали их тумаками, пинали ногами, вопя дурниной и распаляя себя с утра пораньше.

– Пааа-дъе-ееем, сучары!
– Недобитки проклятые!
– Встать, фрицы!

Барак приходил в движение. Возле буржуйки замельтешили уродливые тени: мужики разбирали так и не подсохшие за ночь вонючие чуни, портянки, фуфайки, ушанки, рукавицы. Кряхтя, отдуваясь, переругиваясь, трудовая колонна второго лесопункта готовилась к повседневному каторжному труду. В промозглом барачном смраде из угла в угол перекатывался глухой немецкий ропот:

– Toller Hund!
– Sauschwanz!
– Missgeburt!
– Lagerhengst!
– Donner und Wetter!

Эти невинные ругательства – бешеный пес, хвост свинячий, ублюдок, лагерный жеребец, гром и молния – сопровождали их быт везде и всюду и повторялись так часто, что ими привычно пользовались как сами немцы-трудармейцы, так и их иноязычные охранники и все лагерное начальство.

Старый дядюшка Франц из поволжского села Шафгаузен (было старику чуток за пятьдесят, но облысевший, обросший сивой щетиной, беззубый, тощий, как Кащей, он казался дряхлым, суетливым) подавал замешкавшимся у нар сопревшую, еще волглую одежду, пытался растопить буржуйку, урезонивал, успокаивал наливавшихся спросонья раздражением и злобой соплеменников.

– Киндер, киндер.. Детки мои... Спокойно, тише... Не ропщите напрасно. Что должно быть, то и будет.

– Начинается... философ засранный, – ворчал кто-то в стылом углу.

– А что будет, то уже было... Верно, Vetter Франц? – с ехидцей отозвался с другого края голос.

– Ja, ja... mein Junge, stimmt.[1] Воистину так, – подтвердил старик.

У дядюшки Франца на все случаи жизни имелся завидный запас банальных сентенций и житейской премудрости. И он сыпал ими без разбору, к месту или не к месту, что иных трудармейцев забавляло, а других раздражало.

---

[1] Да, да, мой мальчик, верно.

– Заткнулся бы, Vetter Франц. И так тошно...

– Конечно... Schlafende Hund soll man nicht wecken.[1] Но что поделаешь?

Старик обессилел еще в прошлом году, и была опасность, что его вот-вот переведут в «доходяги», что было равносильно приговору к скорой смерти от истощения. Дядюшка Франц из Шафгаузена, тихий колхозный счетовод, все чаще вспоминал полузабытые строки из «Vater unser»[2] и мысленно прощался с дородной своей фрау Амалией, детьми и внуками, от которых его отлучили призывом в трудовую колонну еще в феврале 42-го из глухой алтайской деревеньки под нелепым названием Кривое. Недолго многочисленная семья Франца Зауэра прозябала в этом селе в старой, заброшенной развалюхе.

Ее даже мало-мальски обустроить и обжить не успели. Сначала забрали в трудармию двух сыновей, Эрвина и Эдвина, куда-то в Молотовскую область, потом призвали дочку Эльвиру в Архангельскую область, потом дошел черед и до Эриха, которому едва исполнилось семнадцать, а в февральскую метель прислали вызов из райвоенкомата и ему, отцу семейства. И осталась в том русском селе на Алтае неутешная, растерянная Амалия с тремя малолетками и двумя внуками без кола и двора. В неотвязных, саднящих денно и нощно душу думах о них и загнулся почти, было, тихий счетовод из поволжского Шафгаузена. Он уже с трудом ковылял по бараку, еле передвигал кровоточащие распухшие, как бревна, ноги, кое-как перемалывал, перетирал кровоточащими деснами свои триста граммов хлеба, но судьба смилостивилась над ним: в самый отчаянный момент трудармейской жизни его Амалия, милая Мальхен, умудрилась непостижимым образом сообразить посылочку с крупой и шматом сала. Как ей это удалось, обреченный на верную гибель дядюшка Франц представить не мог. Однако этот крупяной приварок, жидкая блеклая похлебка с мелкими кусочками сальца, и спас его от неминуемого списания в разряд безнадежных доходяг. Вперемежку со слезами хлебал он этот припарок с чесночным, желтоватым салом и на этот раз увернулся-таки, выскользнул из холодных объятий костлявой старухи с косой.

---

[1] Спящего пса не надо будить.

[2] «Отче наш».

Старика пожалели. Лес валить, даже сучья рубить, понятно, он уже не мог, и его оставили дневальным в бараке – поддерживать огонь в буржуйке, таскать дрова, воду, сушить мокрое тряпье, подтачивать топоры и разводить зубья пил. Иногда ему доверяли чистить картошку на кухне. Дядюшка Франц старался быть расторопным и услужливым, угождал, как мог, лагерному начальству, безотказно выполнял его мелкие поручения.

– Эй, старик! Где моя шапка? Не спалил случайно?

– Wer keinen Kopf hat, braucht keinen Hut.[1]

– Вот осел! Он еще издевается.

– Ein Esel nennt den andern Langohr.[2]

Кто-то громко хмыкнул.

– Верно, Vetter Франц. Все мы здесь – ослы.

– Ja, mein Sohn... Narren sagen das, was die Klugen denken.[3]

– Also, мы все дураки, один ты умный?

– Я этого не сказал, – миролюбиво ответствовал старик.

Христьян, прислушиваясь к привычному кряхтенью и сопению вокруг, к коротким фразам, доносившимся приглушенно из барачной сутемени, оделся, обулся, нахлобучил шапку-ушанку, обмотал шею побитым молью шерстяным шарфом, туго затянулся кожаным офицерским ремнем, некогда подаренным братом Давидом, когда он приезжал из летной школы на побывку, – предмет зависти лагерных охранников, и стоял в проходе между нарами в ожидании команды построиться и топать в столовую неподалеку. Его пошатывало; сердце будто ворочалось, опускалось вниз, потом затихало, вставало на место.

Мерзкая дрожь ходила по озябшему телу, в животе урчало, посасывало. Старый Франц, должно быть, заметил его смурное состояние, спросил заботливо:

– Na... mein Kind... крепишься?

– Держусь пока. Но муторно как-то.

– От слабости все. Подкормить бы тебя...

В последнее время дядюшка Франц привязался к Христьяну, как к сыну. Он готовил для него отвар из еловых шишек, варево из картофельных очисток, иногда подсо-

---

[1] У кого нет головы, тому и шляпа не нужна.

[2] Осел другого называет длинноухим.

[3] Дураки говорят то, о чем умные лишь думают.

вывал ему краюшку посушенного на буржуйке черного хлебца. Христьян стеснялся, отказывался, но дядя Франц по-отцовски уговаривал:

— Ты молодой. Ты не должен здесь сгинуть. Еще пригодишься. Не теряй надежды...

Христьяну особенно нравился родной поволжский выговор дядюшки Франца, его прибаутки, побасенки, поговорки. Он не раз думал: была бы бумага, записал бы весь этот кладезь фольклора поволжских немцев, которым напичкан бывший колхозный счетовод, как добрый крестьянский шпик чесноком. Христьян восхищался меткостью фраз, диковинными сравнениями, причудливыми неожиданными словечками, давным-давно выпавшими из нормированной немецкой речи, сохранившими привкус забываемой ныне устной речевой культуры колонистов-бауэров. Из нечастых разговоров Христьян уловил, что в плешивой голове дядюшки Франца сохранились бесчисленные пословицы, дразнилки, стихи, загадки, диалектные выражения Бог весть из каких времен и исчезнувших с лица земли германских княжеств. Христьян помнил, как из Саратова и Энгельса наезжали, бывало, в немецкие деревни левобережья группки любознательных студентов под предводительством ученого, языковеда-этнографа, которые охотно и прилежно записывали на потеху сельчан образчики народного творчества, придавая им особый смысл и значение. Какая досада, что все это пропадает втуне в сибирской глухомани!

Дядюшка Франц осторожно толкнул Христьяна в бок, повел глазами в угол нар на второй ярус. Там под одеялом и ватной фуфайкой что-то неподвижно бугрилось. Христьян оцепенел. В последние месяцы во всех бараках трудармейцы мерли, как мухи. Каждое утро на нарах оставались лежать два-три окоченевших трупа. Обычно их обнаруживал дневальный и тотчас сообщал лагерному начальству. Приходили с носилками угрюмые, также ослабевшие от недоедания мужики из похоронной команды и относили отмучившихся бедолаг к сараю у самой «колючки», где трупы сваливали штабелями, пробивали им кувалдой на всякий случай черепа и оставляли их лежать там до весны, пока не оттаивала земля, чтобы сбросить в общий кое-как вырытый ров. В дальнем углу на втором ярусе за прошедшую ночь предстал перед Небесным Петрусом Оскар-музыкант. Он был популярен в поволжских деревнях еще до войны. С небольшой концертной брига-

дой Оскар-музыкант разъезжал по кантонам немецкой автономии и запомнился своими длинными, не по пролетарской моде, до плеч, пышными волосами и тонкими очками на внушительном носу и еще тем, что ловко играл на множестве инструментов и пел высоким голосом, аккомпанируя себе на аккордеоне, искусно выводил тирольские песни.

Здесь, в лесу, этот броский молодой человек, артистическая натура, сразу же сник, растерялся. Начальник лагеря, обратив внимание на его буйную шевелюру и очки, от возмущения заорал:

– Это что еще за красотка в пенсне?! Не потерплю!!

В тот же день Оскара-музыканта обрили наголо, и он сразу превратился в беспомощного, жалкого галчонка. Работник он был никудышный. Не удерживал пилу, валился обессиленный в сугроб, то и дело ронял очки, топором размахивал так неуклюже, что, казалось, норовил отрубить себе длинные костлявые ноги. Бригадир-самодур тоже отчего-то взъелся на него, заставлял его для подкрепления духа трудармейцев играть на аккордеоне зажигательную «Камаринскую» и патриотические марши, а в лесу, у костра, петь во весь голос тирольские песни, пока Оскар-музыкант окончательно не сорвал на морозе голос. Бедный, он отчаянно вытягивал тощую шею, глядел слезящимися глазами на стылое сибирское небо, всхлипывал, выводил веселые трели, а бригадир с охраной, помирая со смеху, гоготали на весь лес. Когда Оскар вконец осип, бригадир отобрал у него аккордеон для своего сына-балбеса, заметив с издевкой: «На хрена попу гармонь...» Оскар превратился в ходячую тень. Единственное, что можно было ему доверить, – собирать ветки, измерять поваленные деревья и поддерживать огонь в костре.

Однажды доставили ему посылочку от сестер с Алтая. В плотную бумагу с нотными записями была завернута селедка. Бережно разглаживая засаленные, потрепанные нотные листы с записью разных попурри из классических оперетт, Оскар-музыкант плакал, как ребенок. И простодушные парни из крестьянских семей Поволжья недоумевали, не зная, как утешить его. После этого случая Оскар-музыкант угасал на глазах. Он смирился со своей горькой участью и стал безразличным ко всему, что вокруг происходило. И свою урезанную из-за невыполнения плана порцию хлеба жевал рассеянно, уставясь, невидящими глазами в пустоту. И вот представился, бедняга. Тихо,

незаметно, на втором ярусе нар в промозглом бараке глухой сибирской ночью.

Христьян, застыв от ужаса и скорби, смотрел в тот угол, где под одеялом и рваной, подпаленной по краям фуфайкой покоился Оскар-музыкант со странной фамилией Мунтаниол.

Иоганнес Фрезе, новоиспеченный бригадир из поволжских меннонитов, давно догадался, что тщедушный музыкант из его бригады отмаялся. Сейчас, поймав взгляды Христьяна и дядюшки Франца, подошел к ним и приложил палец к губам. Все было понятно. Бригадиру не хотелось сообщать куда следует о гибели еще одного трудармейца, пусть дежурные о том догадаются позже, днем или вечером, а пока надо успеть заполучить пайку покойника, положенную на завтрак, и разделить ее между другими изголодавшимися тружениками таежного фронта. Шестьсот граммов хлеба, отпущенные на долю Оскара-музыканта, могут спасти или хотя бы продлить жизнь другого бедолаги. Расчетливый меннонит Фрезе это понял. Оскара-музыканта уже не вернуть, но заприходовать его последнюю пайку надо ради жизни на земле.

Бригадир выпучил глаза, скорчил строгое лицо и выразительно кивнул на выход. Христьян и дядюшка Франц послушно опустили головы.

– По четыре строооооой-сяяяя!..

Толкаясь, как бараны в загоне, все ринулись к выходу из барака. Резкий холодный воздух перехватил дыхание, точно тупым ножом полоснул по горлу. Все сгорбились, инстинктивно зарылись носами в шарфы, натянули на рот куцый воротник фуфайки, ниже нахлобучили шапки.

– Бр-р-р!.. Холодрыга... Градусов сорок, однако, будет.

– Сорок, сорок пять – какая разница? Раз нет пятидесяти – топай в лес.

– А и пятьдесят будет – погонят.

– Найн... при пятидесяти не положено. Ни один охранник носа не высунет.

Жидкий парок вился, клубился сизым облачком над колонной трудармейцев. Еще не рассвело, все расплывалось в сутемени. Вдали мерцала вышка. На верхотуре ее едва различалась неуклюжая фигура охранника в тулупе и с винтовкой. Колонна, взвихривая сугробы, двинулась в столовую. По краям сновали охранники-конвоиры в овчинных полушубках, ватных брюках, заправленных в

пимы-самокаты. Скуля от холода, брели на поводках овчарки.

Сумрачную, грязную столовую едва освещали по краям два керосиновых фонаря. Трудармейцы тяжело опустились на скамью вдоль длинного, тяп-ляп сколоченного стола в ожидании, когда десятники принесут и раздадут положенные им пайки хлеба – 800 граммов выполнившим норму и 600 или еще меньше невыполнившим – и кипяток, случалось, перловую кашу на воде. Наспех умяв пайку и малость отогрев брюхо кипятком, трудармейцы гуськом потянулись к выходу. Снова сквозь сумрак и стынь обрушилась команда:

– По четыре строоооой-сяяяя!..

И опять колонна покорно побрела на плац неподалеку от вышки, где каждое утро проводилась ритуальная перекличка.

Григорий Подтыкайло, рыжий детина в полушубке и валенках, изрыгая из луженой глотки клубы пара, сипло выкликивал сначала десятников, с наслаждением перевирая, переиначивая их фамилии. Его помощники, мастера и охранники из выслужившихся урок сытно гоготали над остроумием своего начальника.

– Гитлер! – начинал валять ваньку начальник.

В первое мгновение никто не откликнулся. На плацу становилось тихо. Начальник победоносно вышагивал вдоль тесно столпившихся понурых трудармейцев, перекатывая желваки.

– Гитлер... твою мать! – надсаживался пуще.

– Гитлер капут, – угодливо хихикнул кто-то из охранников, но верзила Подтыкайло шутку не оценил.

– Это бесноватый Адольф капут, а наш Гитлер пока еще не околел... Гитлер!!

Начальник гаркнул с такой яростью, что овчарки на поводках охранников насторчили уши, напряглись, ожесточились волчьими зрачками.

– Я не Гитлер, моя фамилия Гитнер, – отчетливо донеслось из колонны.

– Один хрен! – отрубил начальник. – Для меня ты – Гитлер!

– Гы-гы-гы, – зашлись в смехе охранники.

– Вав-вав-вав, – ощетинились овчарки.

– Риббентроп! – пальнул, как из пушки, Подтыкайло.

И снова молчание в ответ. Только охрана щерилась, испытывая удовольствие от спектакля.

– Риббентроп, мать твою промеж ног!

– Редекоп я, Редекоп, – мягко поправил начальника тихий голос с отчетливо немецким акцентом. – Рее-дэ-кооп!..

– Молчать, сука! Борман!

– Борнеман... Борнеман... – убеждал его голос из колонны.

– Я и говорю Борман, – наивно недоумевал начальник. – Геринг!

– Вся фашистская сволота в сборе, – опять хихикнул подхалимски охранник.

– Всю шайку свезли на мой участок, – пророкотал Подтыкайло.

– Го-го-го! – сипела охрана.

– Хверзе!.. Х... Хер-зо!..

– Я Фрезе, – отозвался с готовностью бригадир-меннонит.

– Ну, докладайте! Все в сборе? Никто не отлынивает? Никто за ночь не окочурился?

Колонна молчала. Десятники и бригадиры растерянно переминались с ноги на ногу. Кто за ночь отдал Богу душу? Кого сегодня колонна не досчитается? Неужели сейчас затеют на ледяном ветру нудный пересчет? Фрезе почудилось, что начальник лагеря буравил его своими бесцветными гляделками. Он представил скрюченный труп Оскара-музыканта на втором ярусе нар в бараке, лихорадочно соображал, пронюхало начальство или нет, зажмурился, чуть запнувшись:

– По... порядок...

Обрушилась пауза. Колонна затаила дыхание. Весть о гибели Оскара-музыканта успела дойти до многих.

– Хорошо, – пробасил, наконец, Подтыкайло. – На моем участке значит полный... как его... орднунх...

И ощерился по-волчьи. Фрезе облегченно перевел дыхание.

Начальник отступил на шаг назад, и на утрамбованный пятачок плаца выкатился заведующий культурно-воспитательной частью – долгоносый коротыш в роговых очках, весь такой сытенький, кругленький, завел, загнусавил свою привычную шарманку.

– Помните всегда, везде и всюду: ваша вина перед Советской властью и народом безмерна. В тяжелую годину, нависшую над нашей родиной, когда героический советский народ истекает кровью в схватке со злейшим врагом

человечества, вы... вы... вы оказались пособниками германского фашизма. И свою вину вы, как диверсанты и шпионы, можете смыть только беззаветным, честным...

– Покороче, Яков Семенович, – буркнул начальник лагеря.

Коротышка осекся, поправил очки на носу, прибавил пафосу к голосу:

– ...беззаветным, честным трудом во имя победы над немецким фашизмом! Помните об этом ежедневно, ежечасно...

На пронизывающем до костей морозе угрюмо молчали трудармейцы, теснее жались друг к другу, откашливались. Все знали, что свою политическую пятиминутку коротыш, подражая популярному киноартисту, завершит чтением стихов молодого советского сочинителя-патриота. И, действительно, коротыш, весь напрягшись, вскинул голову и размахивая ручонками, зловеще чеканил набившие оскомину строки:

Если немца ты не убил,
То молчи о своей любви.
Край, где рос ты, и дом, где жил,
Своей родиной не зови.

Морозный воздух перехватил дыхание. Коротыш захлебнулся, потом вдруг снова взвил голос, полный негодования и пафоса:

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Униженные, молча стояли немцы-трудармейцы, точно перед расстрелом. Юркий заведующий культурно-воспитательной частью с упоением, взахлеб, читал эти стихи каждый день при утренней перекличке на плацу. И каждый день изнуренных трудармейцев всех вместе и поодиночке расстреливали словами поэта, пробиравшими хлеще сибирского мороза до костей, отравлявшими сознание до умопомрачения. Христьян вычленял из этих стихов лишь две строки, которые проборматывал без конца: «Край, где рос ты, и дом, где жил, своей родиной не зови»... Где он, тот край, где он рос? И где остался тот дом, где

жил?.. Все рухнуло в небытие, все разрушено, все в невозвратном. Родиной не зови... не зови... не зови... Именно эти слова проникали в затаенную глубь сознания, огнем обжигали все его существо. «Убей!» – его не касалось. Истерическое «Убей!» было не страшно. С того дня, с того черного последнего четверга августа 41-го, его убивали столько раз, что священный призыв поэта-патриота его не волновал, не трогал. К тому же Христьян понимал, что поэт призывал убивать на каждом шагу поскорей «тех» немцев, это уж лагерный культуртрегер-коротыш ухитрялся свой гнев обрушить на отечественных немцев-бедолаг. Бог весть, в чем они перед ним так провинились. Видно, мстить тутошним безобидным немцам было сподручней, нежели воевать с теми, кто – послушный воле ублюдка-фюрера – пришел в страну с войной. А вот слова про край, где рос, про дом, где жил, про отнятую родину причиняли такую невыразимую боль, от которой могла избавить, пожалуй, только смерть.

– Колонна... марш-ш!..

Только теперь Христьян очнулся от дум и тронулся вместе с колонной в сопровождении вооруженной охраны и овчарок на коротких поводках к широко распахнутым воротам за колючей оградой. В сумраке занимавшегося дня колонна, окутанная сизой изморозью, молча двинулась в лес.

Привели их сюда в январе 42-го. Так же лютовал мороз. Также взжикивал под ногами снег. Так же враждебно взирал на них стеной стоявший могучий лес. И так же покорно брели под охраной трудармейцы, еще не ведавшие, что это такое – трудармия. Их – целый эшелон мобилизованных через военкоматы – везли со станции Чапа Новосибирской области до Ивеля через Свердловск. Потом километров шестьдесят топали до поселка Вижай. В колонне было около шестисот человек. Сплошь поволжские немцы. Из Вижая, сутки спустя, погнали в глубь леса еще километров на пятнадцать. Место оказалось жуткой глухоманью. Поблизости ни поселка, ни жилья. Отвели им участок. И сами трудармейцы перва-наперво огородили себя колючей проволокой в несколько рядов, построили вышки, чтобы их могли бдительней охранять, поставили временные палатки. Работали без выходных с шести утра до шести вечера. Весной взялись сооружать типовые бараки на тридцать-пятьдесят человек каждый. Валили деревья с метками – спецлес для авиа- и судо-

строительных нужд. Выбирали могучие, ровные и гладкие, как на подбор, пятиметровые сосны. Называлось: выборочная рубка. Расценки были совершенно дурные. План по кубометрам никто не был в состоянии выполнить. Лес валили пилами, «лучки» – последнее слово техники – появились лишь через год. Снег лежал в лесу толщиной более метра, а пилить полагалось на высоте тридцати сантиметров от основания. Попробуй разгрести снег, оттоптать основание вековой сосны, а потом пилили, опустившись на корточки, вытягивая все жилы, при скудных харчах, при постоянном холоде. Уже к весне появились первые «доходяги». Лес вывозили к реке и весной сплавляли до Ивделя. Лошади не выдерживали, быстро выходили из строя. И трудармейцы вывозили его волокушами – адская, изматывающая работа. Люди валились с ног, вечерами едва добирались до бараков. Дневальный раздавал хлеб и кипяток, и трудармейцы, наспех проглотив пайку, замертво, едва стянув верхнюю одежду, валились на нары. Некоторых смертный час настигал прямо в лесу или на обратном пути в барак.

Облегчение какое-то наступило лишь летом, когда поспевали ягоды, грибы (правда, от них многие отравлялись до кровавого поноса), а в августе спасением становились кедровые орешки. Погибали, в основном, мужчины в возрасте тридцати-сорока пяти лет. Часть выживала за счет молодости. По словам бывалых урок-бригадиров, Ивдельлаг был одним из самых паршивых лагерей. К весне первого же трудармейского года выбывали из строя две трети лагерного контингента. Безнадежных «доходяг» списывали и отправляли домой, то есть, в ту же ссылку, но к родным и близким, куда редко кто добирался, а из тех, кто добирался, редко кто выживал. На место погибших поступали немцы с Украины, Крыма, Кавказа. Жернова войны изрядно перемалывали в глубоком тылу бессловесный, бесправный, репрессированный люд. И никто не ведал, когда кончатся эти муки. Догадывались: когда кончится война. А она все затягивалась, несмотря на победоносные сводки Совинформбюро, о которых раз в неделю сообщал им юркий культуртрегер.

– Христьян, Христьян, – окликнул его десятник Фрезе. – Куда тебя заносит? Опять задумался?

– А-а-а-а... Нет, нет... просто, рассеянно откликнулся Христьян, только сейчас заметив, что выбился ненароком из строя.

— Ты это брось! От дум устаешь больше, чем от работы. Ни о чем не думай! Тогда оклемаешься. Понял?..

Фрезе был старше всего года на четыре, а рассуждал и вел себя так, как бывалый мужик, и душевно заботился о всех в своей бригаде. Он вскоре понял, что никакой наряд выполнить практически невозможно, и ловко составлял «туфту»: тонкий лес оформлял как толстый, с умом, осторожно приписывал кубатуру, правдами и неправдами добивался полной пайки, совсем уж обессилевших определял на день-другой на кухню, на хлеборезку, назначал дневальными. Однажды, углядев, что долговязый Лангеман из Марксштадта половину и без того скудного пайка обменивал на махорку, закатил ему оплеуху. «Что делаешь, сукин сын?! Подыхать хочешь? — налетел на него бригадир. — Я тут жизнью рискую, фальшивые наряды закрываю, а ты куревом пробавляешься?! Я хочу, чтобы ты, кретин, все сдюжил и домой вернулся, понимаешь?!» С того дня больше никто не осмеливался менять хлебную пайку на табак.

Фрезе вплотную подошел к Христьяну, зашагал рядом, незаметно сунул ему кусок хлеба.

— На, ешь... пайка Оскара-музыканта. Съешь на помин его души.

— Не могу, — отстранился в испуге Христьян.

— Тише... — Фрезе оглянулся на охранников. — Спрячь за пазухой... Потом съешь. — И запихнул ржавый кусок за ворот его фуфайки.

Впереди открылась поляна с черной проплешиной посередине со вчерашнего костра. Отсюда трудармейцы, разбившись на группки, углублялись в дремучий лес, и вскоре из него доносились приглушенное жикание пил и дробный стук топоров.

Вверху стояли тишь и морозная сутемень. Внизу, в снегу, копошились люди обреченные на тихий подвиг, неусыпную боль и бесславную гибель. Вечером, сваливаясь в сон, как в яму, никто не знал, проснется ли он утром на скрипучих, постылых нарах. Утром, на рассвете, отправляясь на лесоповал, никто не ведал, суждено ли вернуться вечером в барак...

2001

КТО ТАКОЙ БО-И-БО?

Это было в те годы, когда любое собрание, любое самое незначительное сборище, любая пустяковая публичная речь непременно заканчивались традиционным возгласом: «Да здравствует великий вождь советского народа товарищ Сталин!» Этот своеобразный ритуал – пуще намаза правоверных – вошел в плоть и кровь и мальца, и старца. Он был незыблем, как дважды два, как восход и заход солнца.

Едва выучив буквы, аульные шалопаи, мочась на белоснежные сугробы вокруг завалюшек-мазанок, старательно выписывали (корень: и пи́сать и писа́ть) желтой струйкой это священное имя. Обычно напора хватало лишь на первые три буквы, а дальше шли по нисходящей вялые, уродливые закорючки, по которым можно было только догадаться о патриотических потугах малолетних писарей. И тот считался героем, у кого запасы мочевого пузыря позволяли написать более-менее ровнехонько все шесть букв. Иногда для осуществления благородного замысла приходилось досам-жолдасам скооперироваться, то есть, объединить усилия, и тогда имя вождя четко выделялось на белом снегу – особенно в бледных лучах скудного зимнего солнца – разноцветными застывшими струйками. Сибирский мороз прочно, будто на мраморе, закреплял эти художества юных дарований, и никто в ауле не осмеливался стереть грозное имя во избежание каких-либо кривотолков или недоразумений, на такую дерзость решались лишь очередной лиходей-буран, заваливавший, бывало, в ярости снегом весь аул, и весна, беспощадно разрушавшая величественные сугробы со знаками всеобщего верноподданного поклонения божеству. Девочки завидовали своим сверстникам, ибо Бог жестоко лишил их возможности подобным образом доказать свой беспредельный патриотизм к грозному Усачу.

Такое было время.

И вот именно в эту пору подоспел срок вступить мне в ряды ленинского комсомола.

(Тут считаю нужным заметить в скобках: нет, нет, не желаю прослыть запоздалым кощунником или ерничать почем зря. В моей жизни это был волнительный этап. О том я сужу не только по памяти, но и по своему сохранившемуся школьному дневнику, в котором зафиксированы все подробности того события.)

В том краю, где я вырос, и в той школе, где учился, к этому периоду политической жизни юношества относились весьма серьезно. Полагаю, что так было не только у нас.

Сама процедура приема в комсомол длилась несколько месяцев и состояла из разных стадий. Еще до того, как твое заявление рассматривалось на комитете первичной комсомольской организации, полагалось основательно затвердить Бог весть когда и кем составленный длиннющий, как баранья кишка, список всевозможных вопросов и ответов, которые в совокупности довольно обстоятельно отражали тогдашнюю внутреннюю и внешнюю политику СССР, а также давали общие сведения о раскладе сил в сложном послевоенном мире. Первым долгом полагалось назубок знать верных соратников великого вождя. Всех без исключения и непременно по имени-отчеству. Для аульных грамотеев это было непросто хотя бы по той причине, что казахская гортань и весь аппарат, воспроизводящий звуки, не очень четко, а точнее, уж больно своеобразно озвучивали непростые, почти экзотические имена сталинских соколят.

Будущие комсомольцы, собравшись в интернате, экзаменовали друг друга.

– Назови Маршала Советского Союза, соратника товарища Сталина!

И Бейсен, не задумываясь, выпаливал:

– Кылим Иебремыш Барашилоп!

– А кто у нас заместитель Председателя Совета Министров?

И Ибрагим убежденно отвечал:

– Бяшеслап Мекайлыш Молотып!

– Назовите членов Политбюро.

И Шаяхмет начинал перечислять, словно своих предков до седьмого колена:

– Ылазыр Масеиш Каканобиш... Кёрки Максылманыш Маленкоп... Э-е ... Ылабренти Баалыш Бериа...

– Маладес! Пять!

Напрасно учительница русской литературы Мария Петровна всячески выправляла язык своих подопечных, дабы они не срамились потом в райцентре. Будучи сама поднадзорной как жена то ли левого, то ли правого оппортуниста, Мария Петровна особенно пугалась, прямотаки вздрагивала и бледнела, когда потенциальные комсомольцы торжественно произносили: «Ёсып Бесаронышш», поэтому – чтобы от греха подальше – было

решено ограничиться только короткой и оглушительной, как удар дубинкой по темени, партийной кликухой вождя.

Кандидатам в комсомол полагалось знать не только собственных вождей, но и выдающихся деятелей стран социалистического лагеря, руководителей компартий всех стран, секретарей союзных республик, дважды и трижды Героев Советского Союза, маршалов и генералиссимусов всех времен и народов, даты проведения съездов ВЛКСМ и многое-многое другое.

Мы по несколько месяцев отчаянно зубрили бесконечный список, который по нашему разумению и мере начитанности расширялся изо дня в день.

Страсти накалялись накануне общего комсомольского собрания. Тут уж, как некогда на выборах волостных правителей, затевались интриги, образовывались группки, строились каверзы, отрабатывались подножки, готовились впрок изощренные, сногсшибательные вопросы со стороны тайных недоброжелателей или откровенных завистников. Кому-то непременно хотелось кого-то смутить, ошарашить, ввергнуть в оторопь, устыдить, срезать, унизить, опозорить в глазах всех старшеклассников, учителей, завуча и директора.

И вот пришел тот день – 9 марта 1950 года. В самом просторном классе до отказа набились необычно возбужденные комсомольцы ленинской казахской средней школы. За длинным столом, укрытым красной скатертью, чинно сидели комсомольские вожаки, учителя и – о, Аллах! – сам директор школы.

Кандидаты в комсомол сбились в углу, одеревеневшие от волнения. И вид у них был такой, будто их ожидала гражданская казнь.

– Ия, Кудай, – тихо бормотал возле меня мой тамыр Ибрагим. – Поддержи... не оставляй в беде своих грешников...

– Бисмилля, – шептал Шаяхмет.

Я также закусил губы. Уши – чувствовал – пылали. Мне тоже на всякий случай хотелось сказать: «Бисмилля» – «Во имя Аллаха», однако сознание тотчас подсказало неуместность моего желания: во-первых, я в своем классе единственный немусульманин, и мне, следовательно, не пристало упоминать имя Аллаха всуе, ну, а во-вторых, я как-никак вступаю в ряды комсомола, а у него, как известно, с верховным создателем изначально весьма натянутые отношения. Конечно, я мог бы, подражая маме, ска-

зать сейчас: «Ach, Gott.!.» или «Lieber Heiland», но у меня совсем не было уверенности, что защитник и благодетель мусульман разумеет по-немецки.

И тут я услышал, точно во сне, что меня вызывают к столу президиума. Комсорг зачитал мое заявление и автобиографию — несколько скупых и куцых, как хвост ягненка, строк.

— Ну, какие будут вопросы?

Мгновенно вскинулся десяток рук. Сейчас засыплют вопросами, точно снежинками в пургу.

— Когда был принят первый устав комсомола?

Ответил, не моргнув глазом.

— А последний?

Ответил без запинки.

— Когда и на каком съезде комсомолу было присвоено имя великого пролетарского вождя?

Ответил, не задумываясь.

— Когда произошла Великая Октябрьская революция и на сколько систем раскололся мир?

Ну, уж на это и пионер ответит.

— Кем по должности является Молотов?

И на это ответил тотчас. И еще от десятка подобных вопросов отбился играючи. Понемногу я обрел уверенность. Неужели подвоха не будет? Неужто нет охотника подстроить мне ловушку, подкинуть каверзу?

— Достаточно! Хватит! — раздались голоса.

И тут из задних рядов, возле печки, кто-то заполошенно вскочил, взмахнул руку. Ба! Да это же шибзик, тихоня Молдаш. Задергался, заверещал:

— У меня есть вопрос! У меня, у меня...

Видно, кто-то науськивал озорства ради шкета Молдаша. Сейчас наверняка какую-нибудь глупость сморозит на потеху всех.

— Пусть скажет... пусть скажет, если такой умный, кто такой БО-И-БО?

— Как, как? — переспросил комсорг.

— БО-И-БО!

— Астафиралла! Придумает же...

За столом президиума переглянулись. В классе воцарилась тишина. Я тоже на мгновение растерялся. В самом деле, кто такой БО-И-БО? Но тут же осенило: имя это (или фамилия?) мелькнуло как-то в том длиннющем измочаленном списке вопросов и ответов, который ходил по рукам будущих комсомольцев.

Вспомнив, кто такой БО-И-БО, я не стал спешить с ответом, а сделал вид, что напряженно копаюсь в бездонных закоулках моей обремененной всевозможными познаниями памяти. Пауза затянулась.

– Э, ладно... – начал было комсорг, но тут я отчеканил:

– Товарищ БО-И-БО является министром финансов Китайской Народной Республики.

– Апырай, а! – восхищенно цокнул кто-то языком.

Гул неподдельного восторга прокатился по рядам.

– Ну-у... если он даже китайского министра знает...

– Он все знает!

– Он знает и то, что под землей.

– Отвечает, как орешки щелкает.

– Какие там орешки?! Как семечки лузгает!

Подал голос и директор школы. Его интересовало, готовлюсь ли я уже сейчас к летним экзаменам и до какой темы я дошел при повторении учебного материала по геометрии. Ну, как, мугалим, не готовиться? Каждый божий день зубрю. И уже дошел до этих... параллельных линий.

– Ойпырмай... Его, как строптивого неука, за гриву не ухватишь.

– Из седла не вышибешь.

– Можно подумать, что он приходится племянником самого БО-И-БО.

– Подготовился к поступлению в комсомол, как к поминкам деда.

– Да чего там! Принять, принять!

– Единогласно! – подтвердил комсорг.

...А впереди был еще один этап – наиболее хлопотный и ответственный. Весной, в середине мая, когда после весеннего половодья налаживалась паромная связь через Ишим в районный центр, в Марьевку, нам, новобранцам ленинского комсомола, надлежало предстать перед президиумом или бюро райкома, подтвердить перед его строгими членами свою политическую зрелость, после чего лишь вручали вожделенный билет.

На скрипучей интернатовской арбе, запряженной заморенным интернатовским однорогим волом, нас, семерых новоиспеченных кандидатов в комсомол, довезли до парома. Путь был долог и утомителен. Как ни погоняй, ни подхлестывай вола, а у него своя – раз и навсегда заданная скорость, то есть, километров пять в час. Пока

дотащились, собрались с духом, расправились с интернатовским сухим пайком, перебрались запруженным паромом на левый берег Ишима, добрели до ветхого здания райкома комсомола, майский день был уже на исходе. Усталые члены президиума или бюро – среди них я узнал только врача, редактора районной газеты, спортивного инструктора, остальные были мне незнакомы – стали нас вызывать одного за другим. Первым зашел Ибрагим. В приоткрытую дверь я услышал, как ему задали вопрос об основных обязанностях члена ВЛКСМ, на что, помявшись, насупившись, пощипав пробивающиеся усики, ломающимся баском Ибрагим ответил максимально коротко:

– Ушиться карошо нада!

Члены президиума или бюро, видно, решили, что этого достаточно. А вот я почему-то вызвал у них любопытство. Как? По национальности немец? В казахской школе? Откуда взялся? Родился в Энгельсе? Это где такой город? Кто отец? А-а... этот тот рослый фельдшер? А почему вступаешь в комсомол?.. Ну, как «почему»? Хочу быть в рядах молодых строителей коммунизма. Книги читаешь? Конечно... охотно... В последнее время? Ну, в последнее время я прочитал «Мои фронтовые друзья» Малика Габдуллина, сборник «Казахстанцы – Герои Советского Союза», «Загадочное знамя» Сабита Муканова, стихи Джамбула. Все на казахском?.. На казахском. А на русском? «Обломов» Гончарова. А по-немецки? На немецком в ауле книг нет... Интересно, интересно... Прочти что-нибудь на казахском. Пожалуйста...

Ау, қызғыш құс... қызғыш құс...
Қанатың қатты, мойның бос.
Исатайдан айырылып,
Жалғыздықпен болдым дос...

– Ух, ты! Вот дает! А чьи это стихи?.. Махамбета?! Хм-м... Надо же...

Словом, в тот день, еще до восхода луны, все мы были приняты в комсомол. А наутро нам вручили новенькие комсомольские билеты...

Тут нас подстерег сюрприз. Не успели мы нарадоваться билетом, зазубрить его восьмизначный номер, как наш вожак, Ермагамбет, объявил, что мы идем к парому, а сначала поучаствуем в районном пионерском слете.

– Как это – пионерский слет?! Мы же комсомольцы!

– Подумаешь? На пару-другую часов вновь станешь пионером.

– Ничего себе! Это ведь несправедливо! Только что получили комсомольский билет и вдруг – пионеры!

– Ну и что? Убудет с тебя, что ли?!

– Ойбай-ау, – возмутился Ибрагим так, что его ломающийся басок сорвался на дискант. – Какой я пионер, когда у меня усы растут?!

– Нешауа! На задних рядах посидишь – усов не видно будет.

– Стыдно ведь, агай! Говорим о честности, а сами...

– Ты что? Хочешь, чтобы интернатовский доходягабык сюда на арбе еще и пионеров возил?! Хочешь, чтобы бык подох в пути? Или чтобы сопливые дети по дороге с арбы свалились?! – Ермагамбет начал злиться. – Оставьте разговоры и айда на пионерский слет. В конце-концов, это приказ директора школы, если хотите знать.

Мы приумолкли. Против директора не попрешь, хоть ты и комсомолец. А потом, действительно, каким образом доставить сюда за двадцать пять верст аульных пионеров?.. Но с другой стороны...

– Агай, но у нас ведь нет красных галстуков! – сказал я. – У нас в кармане комсомольский билет.

Я был убежден, что этим аргументом сражу нашего вожака наповал. Но Ермагамбет только осклабился.

– Кому какое дело до того, что у вас в кармане? А красные галстуки – вот они!

И Ермагамбет достал из-за пазухи ворох красных галстуков.

Крыть было нечем. Мы покорно повязали свои густо покрытые степной пылью шеи красным галстуком и побрели в районный клуб на слет пионеров.

А после обеда, до отвалу напившись розовой водички – морса – и вернув красные галстуки нашему вожаку, мы благополучно перебрались паромом на правый берег, где нас с тупым безразличием в слезящихся глазах встретил заморенный интернатовский вол. В аул мы прибыли уже в густых сумерках.

Так я стал членом ВЛКСМ, чему был безмерно рад. А осенью того же года, по исполнению шестнадцати лет, меня – как немца-спецпереселенца – поставили на комендантский учет. Отныне мне предстояло каждый месяц отмечаться в аулсовете. От этой унизительной процедуры не спас и комсомольский билет с силуэтом вождя. Впро-

чем, у папы был партийный билет, однако и он, папа, каждый месяц должен был у коменданта засвидетельствовать свою благонадежность.

Но это уже другой рассказ. И БО-И-БО тут ни при чем. И вообще речь совсем не о БО-И-БО.

30.10.1996

БОГИ НЕ НА ЗЕМЛЕ ОБИТАЮТ

Целая вечность прошла с тех пор, а я помню этот день со всеми подробностями и оттенками...

До весны на севере Казахстана было еще далеко, но воздух становился волглым, снег потемнел, сугробы осели, покрылись тусклым глянцевитым панцирем, а над чахлой рощицей в овражке посреди аула ошалело кружилось, надрывно каркало – особенно по утрам – воронье.

Тревога стынью окутала окрестности. До глухомани на берегу Ишима докатился зловещий слух: тяжелая хворь свалила великого вождя. В глазах аульчан застыл немой вопрос: «Апырай, что же будет?», но говорить об этом в открытую никто не решался

Вождь был далек и недоступен, как Бог, однако незримо присутствовал в каждом доме, в каждом ауле. Точно два мифических ангела, Мункир и Нанкир, ведущие счет всем благим и неблагим деяниям человека, он неотступно следил за всяким в отдельности и одновременно за всеми, и потому все были озабочены лишь одним: как бы невзначай и особенно в присутствии других не опростоволоситься, не допустить промаха, не навлечь гнева сурового усатого владыки. Однажды в ауле произошел такой случай. Баскарма, председатель колхоза, по поводу обрезания младшего сына провел сундет-той, на котором присутствовали сливки аульного общества: директор и завуч школы, аулнай, то есть, председатель аулсовета, завскладом, бригадир и фельдшер с женами. Как водится, мужчины сидели за одним дастарханом, женщины – чуть поодаль за другим. Той проходил вполне традиционно: шутили, пили чай с баурсаками, конфетами-подушечками, топленым маслом, потом поели бесбармак из мяса ярки и копченой конины с сочнями и картошкой и перед тем, как попить из деревянных мисок наваристой сорпы-бульона, кто-то из домочадцев принес газетку, предназ-

наченную для вытирания рук. О салфетках в ауле еще не помышляли. Жена завуча, местная красотка и певунья, любившая к тому же верховодить за дастарханом, привычно разорвала газетку на полосы, раздала гостям по клочку и первой принялась вытирать жирные пальцы.

Вдруг над низким, круглым столиком метнулась тень замешательства. Все точно онемели. Глаза округлились от страха. На скомканном, в жирных пятнах клочке газеты в руках бойкой молодки все углядели верхнюю часть лица сумрачного вождя. А в руках соседки оказался обрывок со знаменитыми усами и с тем, что следовало ниже. Большего святотатства и придумать было невозможно! Ужас был столь велик, что все оцепенели, потупили взоры, а женщины, застигнутые врасплох в страшном прегрешении, так и застыли с обезображенным, смятым, надорванным изображением вождя всех времен и народов. Мужчины, все сразу смекнув, насупились. Замять неловкость было поздно и невозможно: слишком много свидетелей. Неужели не нашлось в доме газетки без портрета вождя? А если вождь красовался во всех газетах, то нельзя разве было предусмотрительно вырезать его, дабы избежать публичного кощунства?

Слух о жутком казусе мгновенно облетел аул. Все ждали: что теперь будет, какая последует кара и кого призовут к ответу первым. То ли баскарму, в чьем доме это случилось, да еще во время сундет-тоя, то ли директора школы, который, будучи секретарем аульной партячейки, не проявлял достаточной бдительности, то ли жену завуча, допустившую политический промах, то ли фельдшера, немца-спецпереселенца, возможно, спровоцировавшего каким-либо коварным образом вражескую акцию.

О, Аллах, защити своих грешников, рабов своих неразумных, оступившихся на ровном месте, попутанных злокознями вездесущего шайтана...

И вот настигла злая хворь великого среди великих.

Стынь сковала приишимские аулы.

Солнце робко выглядывало иногда из-за свинцовых туч.

Вороны каркали, кружась над рощицей.

Люди затравленно озирались.

В нашем ауле было два радиоприемника («Родина», на батарейках): один — у нас, второй — в кабинете директора школы. До школьных занятий я обычно успевал послушать утренние последние известия из Москвы, которые

потом старательно пересказывал кое-кому из любопытных учителей и старшеклассников. Ролью информатора я весьма гордился.

А в тот памятный мартовский день у нас ночевал знакомый врач из райцентра, и я не осмеливался включить радио. И в школу таким образом отправился, не зная, что произошло в мире за истекшие сутки.

В школе было необычно тихо, словно в предчувствии неотвратимой беды. Прозвучал звонок, а учителя нет. Прошло десять минут – тишина. И в коридоре не слышно шагов. В чем дело?.. Ну, понятно, учителя, видно, столпились у радиоприемника в кабинете директора, чтобы услышать сообщение о здоровье вождя. Мы замерли за партами. Молчим. Почти не дышим.

Учитель Абикей вдруг приоткрыл дверь, тихо сказал:

– Еслямгари, сбегай к завхозу, принеси метр черной ткани...

Что?.. Черной ткани?!.. Неужели?.. Как?!..

Мы опустили головы еще ниже. Тишина воцарилась такая, что слышен был тугой стук наших сердец.

Вернулся из интерната Еслямгари, сел на свое место, стараясь не греметь крышкой парты, глухо проронил:

– Вчера... в девять часов пятьдесят минут вечера скончался председатель Совета Министров... Так сообщило радио...

В дверь заглянул завуч.

– Выходите в коридор, послушайте сообщение из Москвы.

Мы, точно побитые, выбрались в коридор. Там набилась вся первая смена. Из кабинета директора вынесли радиоприемник, поставили на табуретку возле двери. Включили на всю мощь. Оркестр играл что-то бесконечно скорбное. Мы жались друг другу, понуро свесив головы. Девочки вытирали слезы. Малышня, сбившаяся возле печки, всхлипывала. Наконец, музыка оборвалась, наступила гнетущая тишина. И вдруг ее прорвал густой, рокочущий голос Левитана: «Говорит Москва!»

В гробовой тишине мы выслушали правительственное сообщение, из которого поняли только одно:

– ... СКОН-ЧАЛ-СЯ...

Тут все заплакали, как по команде. Захлюпали, зашмыгали носами.

– Тише, дети-балалар... успокойтесь, – сказал, вытирая слезы, директор. – Послушаем обращение Центрального Комитета...

Выслушали обращение, ничего не соображая. Каждый, точно заведенный, мысленно повторял одни и те же слова:

– Скончался... Вождь умер...

– Занятий сегодня не будет, – сообщил директор. – Пригласите всех аульчан в школу на траурный митинг.

Митинг состоялся в тот же день после обеда. В длинный, просторный коридор школы аульчане набились битком.

Жылгельды, мугалим казахской литературы, лицедей и златоуст-шешен, высокий, горбоносый, с круглыми блестящими глазами на тонком, бледном лице, медленно и скорбно обвел всех взглядом, издал громкий, тяжелый вздох, обеими руками зажал виски, будто стискивал разламывающийся от непосильного горя череп, и с трагической дрожью в голосе заговорил:

– Плачь, плачь, мой народ, плачь, обездоленный люд, лишившийся в черный час своей золотой опоры, своей светлой надежды, своего ясного солнца на безоблачном небе, своей путеводной звезды...

– Ой, алла... – прокатился стон. – Поддержи нас...

– Плачьте люди... плачьте, мои братья и сестры, – продолжал Жылгельды, прикладывая скомканный носовой платок к своим совиным очам. – Черная твердь под нами сегодня пошатнулась, солнце обуглилось, небо содрогнулось, небосвод раскололся, рухнул остов мира, как одинокий карагач в бурю...

– У-у-у... – захлебнулись от слез собравшиеся на траурный митинг.

Жылгельды выдержал паузу, сгорбился, вцепился обеими руками в край стола, удерживая равновесие.

– Слышите: из груди земли раздается тяжкий стон. Горы укутались черными тучами, реки взбухли от горя, степь погрузилась во мрак. Плачут наши отцы и деды, священные аруахи наши в утробе земли. Плачут еще неродившиеся дети в утробе матери. Скорбит природа. Скорбит вселенная!..

Собравшиеся плакали навзрыд. Речь Жылгельды рвала душу. С трудом воспринимались лишь обрывки фраз:

– Злой рок... черная судьба... горный орел, взметнувшийся с кручи выше облаков... несокрушимая крепость униженных и оскорбленных... величайший из великих, мудрейший из мудрых... прозорливейший из прозорливейших... титан... корифей... учитель и отец... генералиссимус...

Жылгельды задохнулся, зарыдал, обессиленно опустился на стул, ссутулился, сжался, затрясся длинным, неуклюжим телом...

Плач стоял вселенский. Голосили бабы. Мужчины смахивали слезы, кряхтели, дергали бороды, гулко сморкались. Казалось, вот-вот разверзнется земля и наш аул провалится в бездну...

Мы, школьники, весь день слонялись неприкаянными и растерянными по аулу, кучковались в классе, аулсовете, в интернате, толковали по своему разумению: ЧТО будет, КАК будет, КТО будет, КАК поведет себя проклятый империализм и не ринутся ли теперь на нас бессчетные враги СССР, которых великий вождь держал в узде страха.

Вечером, вконец обессиленный, потрясенный, я вернулся домой и увидел отца у радиоприемника, из которого лилась бесконечная заунывная музыка, перемежаемая изредка раскатистым левитановским баритоном.

Отец, прислонившись лицом к спинке стула, беззвучно плакал.

Меня это поразило. Я никак не мог разобраться в своих чувствах; в голове, в душе царил сумбур. Я допускал, что мой отец, коммунист, естественно, должен горевать, но не до такой же степени...

Зашла мать с охапкой березовых полен, чтобы растопить печь, покосилась на отца, ухмыльнулась:

... Терпеть не могу фальши!..

Она сказала это как бы в пространство, но с такой силой убеждения, что душа моя еще более смутилась.

Через месяц-другой о кончине вождя никто в ауле не вспоминал, не говорил. Жизнь шла своим чередом. Солнце сияло. Ишим после весеннего половодья вошел в русло. Небо голубело. Дети резвились на лужайках.

Однажды мы, группа выпускников школы, столпились возле старика Абильмажина, восседавшего на шкурке на солнцепеке у своей завалюхи. Уж не помню, по какому поводу вечно восторженный Шаяхмет глубокомысленно изрек:

... Э! Э... жаль, Сталина нет... Эх, ширкин, Сталин был кудай, Бог!

Старик Абильмажин помял свои ревматические ноги, потеребил сивую бороденку, почесал плешивую голову.

... Твой Сталин, айналайын, может быть, и был вождем, как-никак тридцать лет руководил народом, на тро-

не сидел. А вот до Бога ему было далеко. Куда ему до Бога!.. Боги не на земле обитают...

19.12.1996

В АУЛ ПРИЕХАЛ КОМЕНДАНТ

(Из цикла «Тогда...»)

На этот раз комендант нагрянул в аул нежданно-негаданно. Обычно он заявлялся в определенных числах каждого месяца, ну, случалось, на день-другой раньше или позже намеченного срока с учетом погоды, наличия подводы, состояния дороги – мало ли причин? Вообще было время, когда спецпереселенцы и прочий ненадежный люд, состоявшие на учете бдительных органов, раз в месяц сами, своим ходом или уж как повезет, добирались до райцентра, чтобы «отмечаться» у коменданта. Потом, должно быть, смекнули, что это и хлопотно, и накладно. Во-первых, до Марьинки, где расположено районное управление МВД, отнюдь не рукой подать, попробуй добираться туда каждый месяц, зимой и летом, в стужу и слякоть, по бездорожью за тридцать, а то и пятьдесят километров. Во-вторых, если учитывать, что эти самые спецпереселенцы наличествуют, считай, в каждом ауле, в каждом селе и даже совсем уж захудалом хуторке (и впрямь раскидали их, точно кизяк в степи), то отлучение их от работы наносит, как ни крути, ощутимый урон восстановлению народного хозяйства. Бригадиры и председатели колхозов ропщут: мыслимо ли поднять народное хозяйство в обезлюдевших после войны аулах без живого участия послушных и безотказных спецпереселенцев? Шутка ли, отпускать столько народу, столько умелых, мозолистых рук, – особенно в посевную, в сенокос, в уборку – на день, а то и на два ради того, чтобы он всего-навсего лишь «отмечался» – расписывался в милиции, удостоверяя самолично, что он есть, не умер еще, никуда не убег, не нарушил строгих предписаний и вообще ни-ни, существует тихо и кротко. В-третьих, все же рискованно упускать этот народец из виду на целые сутки, кругом степь, леса, овраги, туганы, мало ли что может взбрести в спецпереселенческую голову на воле, а вдруг случится что-то непредвиденное, да и опять же не исключены разные нежелательные, предосудительные

контакты, связи, тут нужен глаз да глаз, тотальная бдительность, дабы в самом зародыше подавить какие бы ни было вражеские намерения.

Словом, целесообразней и спокойней, если не гора идет к Магомету, а Магомет отправится к горе. И коменданты сами стали выезжать в аулы и деревни, обслуживая вверенный им поднадзорный контингент.

Коменданта звали Магомет. Впрочем, так он называл себя сам. В аулах же называли его просто Махмет или Мамет, а то и насмешливо, за глаза «Махмет-бала», то есть «Малыш Махмет». Дело в том, что был он маленького росточка, совсем уж неказист и невзрачен, серенький какой-то, тщедушный человечек с маленькими колючими глазками неопределенного цвета, коротконогий, короткопалый, с несоразмерно крупной головой. В гимнастерке — почему-то всегда не по фигурке, до самых колен, в пузырящихся галифе, в сапогах, с тяжелой кобурой на боку, он и в самом деле казался столь потешным, что принимать его всерьез было очень непросто.

Такое впечатление он производил, однако, только на вольных граждан. И насмешки могли себе позволить, понятно, лишь те, кто не находился в его непосредственном ведении. Те же, что находились под неусыпным оком комендатуры, предпочитали называть его Магометом, или товарищем Джебраиловым, хотя немцы-спецпереселенцы между собой именовали его еще не иначе, как «дас комендантье», то есть, «комендантик», да еще с артиклем среднего рода.

Никто не знал, откуда он родом. И национальности он был неопределенной. Не казах, не татарин, не ногаец, не кабардинец — одному Аллаху ведомо. Послушать его русскую речь — сразу ясно, что не русский. Заговорит по-казахски — о нет, не казах. Разве, что предок его в седьмом колене приходился казахам дальним родственником.

Внушительный облик обретал комендант Джебраилов, когда восседал за огромным сельсоветовским столом. Приезжая в аул, он распоряжался, чтобы для него тотчас освобождали самое вместительное помещение колхозной конторы, в которой располагался аулсовет, заставлял очистить от замусоленных папок, деревянных счетов, пожелтевших подшивок газет массивный обтерханный стол, в ночное время нередко служивший лежбищем для суровых уполномоченных из центров, и усаживался в скрипучее деревянное кресло основательно, крепко, по-делово-

му, положив на стол по левую руку громоздкую кобуру, а справа – пузатую полевую сумку. Потом он вызывал расторопного колхозного учетчика, плешивого Мукая и приказывал:

– К двенадцати ноль-ноль доставить сюда всех спецпереселенцев, а также чесеирку Егорову и административно высланного Касими!

Исполнительный, шустрый Мукай, почесывая плешивую голову, за полчаса обегал весь аул. Зайдя к комунибудь из поднадзорных, он вынимал из кармана спичечную коробку, приставлял к ее середине спичку, так, чтобы высовывалась наружу лишь серная головка, и говорил:

– Э т о т тебя вызывает. Понял?! Ноль-ноль!

И сам при этом дурашливо хохотал. Никто из вызываемых, однако, не смеялся, ибо сразу догадывался, о ком идет речь. Серная головка, высовывающаяся из спичечного коробка, удивительно походила на карликового «дас комендантье», восседающего за необъятным столом.

Это повторялось всякий раз. И к этому ежемесячному ритуалу поднадзорные в аулах стали понемногу привыкать. В сознании их закрепилось: маленький комендант воплощает большую власть, а следовательно, шутки с ним плохи. Можешь про себя и не почитать ее, а трепетать перед ней обязан.

То, что на этот раз «дас комендантье» заявился в «Кызыл ту» прежде срока, явно настораживало. Что же такое могло случиться? Мария Петровна, «чесеирка», то есть, член семьи изменника родины, вся помертвела при появлении вестника Мукая. Она застыла у классной доски, бессмысленно теребя измазанную мелом тряпку. К счастью, урок заканчивался, дети уже записывали домашнее задание и не заметили состояние онемевшей вдруг мугалим. Или сделали вид, что ничего не видят. В аулах тайн не бывает, и дети знали, что их новую учительницу, мугалим по русскому языку, каждый месяц вызывают в аульную контору вместе с пришельцами-немисами, то есть немцами, где с ними проводит за закрытой дверью таинственную беседу сам «гоминдан», комендант, значит, из района.

«Господи, что же еще? – ворохнулся холодный страх в измученной душе Марии Петровны. – Неужто с ребятами что?!»

Двое сыновей Марии Петровны, отлученные от матери и отца, выросшие под чужой фамилией в далеком рос-

нец Гарри Карлсон, будь он хоть трижды туберкулезный больной, обязан отмечаться сам. Значит, явка его в колхозную контору строго обязательна. «Ничего, ничего, – утешал строптивого парня Давид Павлович. – Надо, так надо. Ты же сам все понимаешь. Лбом стену не прошибешь».

Гарри ничего не ответил, но от одной только мысли, что он, отличник учебы, недавно принятый в комсомол, редактор школьной русско-казахской стенгазеты, должен, о-бя-зан, вы-нуж-ден идти в комендатуру и расписываться в гросбухе МВД, как спецпереселенец, его ввергало в озноб.

Поднадзорные «Кызыл ту» оказались точными. Без пяти минут двенадцать все сидели на скрипучих конторских стульях и табуретках вдоль стены, и товарищ Джебраилов, цепко оглядев всех, встрепенулся, приосанился, суровей сдвинул брови, затвердел лицом, положил перед собой тяжеленные трофейные карманные часы, щелкнул крышкой.

– Та-ак... Все в сборе?

– Все, все, – тотчас откликнулся Давид Павлович.

– И...э-э...этот...как его... Кари Карлсон тоже здесь?

– Да, Гарри тоже пришел, – ответил фельдшер и на всякий случай добавил. – Хоть ему и трудно.

Маленький комендант откровенно подражал большому вождю: медленно, глухо ронял слова, выдерживая долгие паузы, глядел пристально, недоверчиво, вприщур.

– Ха-аро-шоо... Тогда, значит, так... Давай, Давид Павлович, докладывай про обстоятельства... обрисуй, значит, э-э... общее положение. А я потом буду мало-мало просветительскую беседу проводить. Аден указ читать...

– Указ?! – всполошился кузнец Иоганнес.

– Да... Такой, значит, аден...э-э ... небольшой указ. – При этом товарищ Джебраилов сделал указательным пальцем правой руки плавный, как бы подчеркивающий важное, ударное слово, жест, точь-в-точь как великий вождь. – Но это потом... потом.. Сначала послушаем Давида Павловича.

Фельдшер встал, повел кадыком, чуть покраснел. Он немного волновался, отчего еще заметнее стал его немецкий акцент.

– Полошение ф опшемь ганс нормаль... нормальное. Озопих беремен не происошло. Никто никуда за эт-то фремья не отлучался. Только я два раза ездил в район. Один

раз в аптеку за медикаментами, а во второй раз отвез в больницу роженицу Абуову. Кузнец Иоганнес Карлсон один раз съездил в Козловку, пригнал оттуда старый трактор.

– Тебя в известность ставил? – уточнил комендант.

– Ставил, ставил. Утром высхал, а вечером вернулся.

– Дальше!

– Тальже... што ишшо? – Фельдшер запнулся. – Польше, пошалуй, нишево. Касими, как всегда, работал в интернате, ну, в лес ездил за дровами и за сеном. Марья Петровна работает в школе, очень старается. Эмма Карлсон родила репенка.

– Как родила, если мужа нет? – усмехнулся товарищ Джебраилов.

– Бывает, – развел руками фельдшер.

– Да, да...бывает. Всякое бывает, когда девка гуляет. – И, довольный, что так складно получилось, комендант заколыхался от смеха. – Хе-хе-хе...

Он оглядел всех поднадзорных, удивляясь тому, что никто не поддерживает его смех и решил про себя: видно, не оценили, не допоняли его остроту. Тогда он подобрал губы, затвердел скулами.

– Никто ни к кому не приезжал?

– Нет.. А-а... извините. К Ольге, жене Иоганнеса, приезжала мать из Куприяновки. На неделю. С разрешением от коменданта Зинченко.

– С кем уехала?

– С почтовозом стариком Нурканом.

– Знаю, – опять усмехнулся комендант. – Все знаем. Кончил?

– Фсьо, – ответил фельдшер, явно обескураженный тем, что доклад получился столь куцым и блеклым.

– Ладно... Хорошо, Давид Павлович. Но... надо быть бдительней. Бди-тель-ней! Понятно? Международное положение... э-э... очень сложное. Да! Мир раскололся на два лагеря. Э-э... этот американский империализм... не спит. Надо о каждом знать все, все.

Магомет Джебраилов сделал долгую паузу, извлек из полевой сумки какие-то бумаги, что-то прочитал про себя, шевеля губами, время от времени поднимал голову и вперял взгляд в затаивших дыхание поднадзорных колхоза «Кызыл ту».

Все уже знали, что последует дальше. Комендант Джебраилов будет долго и основательно разоблачать козни

американского империализма, напомнит о величайшей победе советского народа под предводительством вождя всех времен и народов и об ожесточении борьбы за социализм.

Обо всем этом комендант Джебраилов будет говорить обстоятельно, с пафосом, чтобы спецпереселенцы и прочий поднадзорный люд прониклись сознанием, как трудно, невыносимо трудно приходится Советской власти, оплоту мира и демократии, а закончит свою речь непременно здравицей в честь великого, величайшего из величайших генералиссимуса и к тому же корифея всех наук, после чего все обязаны встать с места и застыть в полном благоговении. Он, комендант Джебраилов, конечно, тоже встанет.

Стало тихо-тихо. Даже слышно было, как почмокивала во сне туго запеленатая Паулинка на руках Ольги. Касими угрюмо расчесывал пятерней свою дремучую бороду. Казалось, из-под пальцев с треском сыпались искры. Мария Петровна нервно ломала руки. Кузнец мял в ладони самокрутку. Фельдшер отрешенно уставился в потолок. Брат кузнеца, молотобоец Антон, безучастно теребил чуб. Гарри все более бледнея, прислушивался к отрывкам фраз, доносившихся из коридора и с крыльца колхозной конторы.

Джебраилов все говорил, говорил, просвещал своих подопечных.

Снаружи доносились голоса:

– Апырай, он кончит сегодня или нет?

– А зачем он тебе?

– Да не нужен он мне больно! Я к першылу приехал, мальчонка захворал, а медпункт закрыт.

– Мне кузнец Иван нужен. Лемех от плуга отпаялся.

– И детишки в школе бегают. Второй урок учительницы русского языка срывается.

– Э, что поделаешь? Махмет-гоминдан – человек политики. Все законы знает. Пока не объяснит все – не кончит.

– Вот досада! И чего пристал к хорошим людям?

– Это для тебя и меня хорошие. А для власти – элемент.

– Какой элемент?

– Ну, этот... как его... подозрительный, политически неблагонадежный.

– А мы?

– Ну, мы, слава Аллаху, благонадежные.

– Апырай, а ! Чудно как-то...

Наконец, и Джебраилов довел свою речь благополучно до конца, перевел дух и приступил к главному – зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года «О ТОМ, ЧТО НЕМЦЫ, КАЛМЫКИ, ИНГУШИ, ЧЕЧЕНЦЫ, ФИННЫ, ЛАТЫШИ И ДР. ПЕРЕСЕЛЕНЫ НАВЕЧНО, И ЧТО ВЫЕЗД С МЕСТ ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗ ОСОБОГО РАЗРЕШЕНИЯ ОРГАНОВ МВД КАРАЕТСЯ КАТОРЖНЫМИ РАБОТАМИ ДО ДВАДЦАТИ ЛЕТ».

Комендант выдержал паузу и торжественно-размеренно, явно подражая известному диктору, продолжал:

– Председатель Президиума Верховного Совета СССР А.Шверник, секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.

Воцарилась гнетущая тишина. Кажется, никто из поднадзорных колхоза «Кызыл ту» не вник в смысл Указа, но лишь смутно ощущали его зловещее содержание.

– Что-о?.. Не поняли, да?

– Про... про... прочтите, пожалуйста, еще раз, если... если м-м-можно... – изменившимся голосом, почему-то заикаясь, попросил завмедпунктом.

– Еще раз? А-а... документ вообще-то секретный, для печати это... как это... э-э... не подлежит. Ну ладно, прочту еще раз.

«Дас комендантье» медленно, точно пробуя на вкус и обсасывая каждое слово, еще раз прочел короткий, но свинцовой тяжести державный указ.

– Теперь понятно?!

Заворочалась вдруг в пеленках Паулинка и зашлась сразу в исступленном крике. Спецпереселенцы вздрогнули, как бы очнулись. Ольга чуть отвернулась, выпростала из широкого выреза платья грудь и поспешно ткнула сосок малютке в рот.

– Вот кто все понял... – совершенно неожиданно для всех пробубнил в бороду угрюмый Касими. Все с изумлением повернулись к нему. Только теперь, казалось, открылся истинный смысл Указа, и недавняя немота прошла.

– «Навечно» – это как понять? – спросил Антон – На один век? Или навсегда?

Вопрос, видно, был неожидан для коменданта. Он както о том не задумывался. Поэтому решил отшутиться.

– Для тебя, дорогой, думаю, это одно и то же.
– А в принципе? – настаивал Антон.
– Э, в принципе, скорей всего, навсегда!
– На-всег-да... Надо же...
– А каторга – это где? Дальше Сибири?!
– Целых двадцать лет?!..

Комендант Джебраилов молча оглядывал всех, как бы предоставляя возможность осознать, прочувствовать сокровенное значение документа, который отныне предопределил весь жизненный путь этих неблагонадежных граждан великой страны. Он уже в четвертом месте оглашал новый указ и уже не удивлялся, что реакция на него всюду бывала одна и та же. Сначала оторопь, потом потрясение, потом сдержанный ропот, недоумение, и, наконец, смирение и обреченность, безразличие, будто только что огласили смертный приговор. Что ж... мощь власти, сила Указа неумолимы и сокрушительны. Это давно поняли враги Советской власти, первой социалистической державы, как внешние, так и внутренние. Нет, не будет никому пощады. Пора бы всем это зарубить себе на носу раз и навсегда!..

– От какого числа Указ?
– Я уже дважды говорил: от 26 ноября 1948 года.
– Полгода, значит, прошло...
– Ну и что? От Москвы дорога неблизкая. А до «Кызыл ту» еще дальше.
– Да-а...
– Ну, почему все же «навечно»? Как это можно быть высланным навечно?
– Так должно быть! Значит, нет вам веры.
– И никакой надежды? За что?!
– Никакой! А за то, наверное, что виноваты. Там, – комендант поднял указательный палец к потолку, – знают. – И он опять сделал тот известный многозначительный плавный жест рукой, подсмотренный у вождя.
– Ну вот... – Ольга убрала грудь, теснее прижала сверток. Лицо ее вдруг вздулось, пошло пятнами. – Вот моя Полиночка... Крохотулечка... Еще в пеленочках. В чем она провинилась? Почему и она «навечно»?
– Значит, родители виноваты, – просто объяснил комендант.
– Родители?! – взвился голос Ольги. – Я, что ли? Да мне десять лет было, когда нас выслали. Что я понимала?

Может, Иоганнес виноват? За то, что с двенадцати лет в кузнице ишачит, а?

– Тогда выходит, ваши родители провинились!

– В чем? В том, что мой отец в колхозе стахановцем был, а потом в трудармии с голоду околел вместе с братьями и двумя сыновьями?! Так, что ли?!

– Либер гот, перестань, пожалуйста! – Иоганнес дернул за рукав все более распалявшуюся жену.

Густо покраснев, дрожа от волнения голосом, Гарри спросил:

– А кто эти «и др.»?

– Какие «и др.»?

– Вы читали: «немцы, калмыки, ингуши, чеченцы, финны, латыши и др.»...

– А-а... – «Дас комендантье» на всякий случай заглянул в текст указа. – Это значит «и другие».

– Так, кто же они... «и другие»?

– Ну мало ли разных врагов? Всех не перечислишь, сброд, шорт-мазарат, шантрапа.

Гарри понесло, он уже не мог сладить ни с собой, ни со своим голосом. А тут его упрямство как бы подстегнул еще укоризненный, полный испуга и мольбы взгляд учительницы Марии Петровны.

– Русских, к примеру, среди «и др.» нет?

Дас комендантье задумался, потом возмутился.

– Ты что, ойбай!.. Русские – великий народ! Разве не знаешь? А еще говорят, отличник, комсомолист... Не знаешь, как говорил о них наш вождь и учитель товарищ Сталин? Он даже рюмочку за них выпил, э-э... это... тост сказал. Да! Это не шутка! Русские всем народам старший брат. Ясно?

– Не совсем... Вот тем, кто выселен навечно и карается каторгой, русские тоже старший брат?

– Эй, ты! – Комендант пришел в раздражение. – Мою башку куртыл-муртыл не делай, панимаишш! Русские воевали с немцами и победили их. Так, с какой стати, он им еще старшим братом будет, а? Сам подумай?

– Каких немцев победил? – не унимался Гарри. Ему словно доставляло удовольствие пикироваться с самонадеянным, напыщенным карликом в мешковатой гимнастерке и галифе, с таким достоинством восседавшим за конторским столом. – Фашистов или наших?

– Эй, пашис «наш» не бывает!

– Оставьте, Гарри, – тихо попросила Мария Петровна. – Зачем этот бестолковый разговор?

– Ну, а если мне непонятно, Мария Петровна? Имею я право спросить?

– Да понятно вам все. К чему гусей дразнить?

Комендант дернулся в кресле, весь подался вперед.

– Вы что, гражданка Егорова? Потише, пожалуйста! Какой такой гусак? Это оскорбление, понимаишш!

– Простите... К слову пришлось. Есть такая русская поговорка.

– Х-хэ... Поговорка! Какой такой-сякой поговорка? Я тоже знаю поговорка. Вот!.. Э-э... гусак кабану не товарышшш.

– Да, да! Абсолютно верно, – покорно согласилась учительница и вымученно улыбнулась.

Антон тряхнул чубом.

– Впервые такую поговорку слышу...

– Еще вопросы есть? Ты, Иван, почему молчишь?

– А мне до конца жизни все ясно. – Иоганнес по привычке цвиркнул презрительно сквозь зубы, будто стоял у наковальни, а не сидел в колхозной конторе перед комендантом из района.

– Но вы так и не ответили, – вновь подала голос Ольга. – В чем же виновата моя Полиночка?

– Ну, хватит! – скривился Иоганнес. – Заладила: в чем, в чем? Да в том, что немкой родилась. Вот и все!

– У меня еще вопрос, – Гарри поднялся, сунул под мышки костыли. – Вот в Конституции сказано, что все народы у нас свободны и равноправны. И в песне поется: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Я на днях мугалиму Жангалию сдал экзамен и получил «пять» за то, что рассказал, какая есть хорошая статья в Золотом законе. А вот Указ говорит: высланы навечно и караются каторгой до двадцати лет. И еще Давид Павлович – весьма уважаемый человек, фельдшер, член ВКП(б) и одновременно спецпереселенец и находится под комендатурой. Это как понять? Нет ли тут противоречия?

– Чего нет?

– Противоречия. Неувязки. Кайшылык, – объяснил Гарри по-казахски.

– Нет! – отрезал убежденно комендант.

– Как нет?

– Нет и все! Нет и не может быть! Конституция –

Золотой закон. Сталинский Указ... э-э... тоже сталинский. Ясно?

Фельдшер заметил, как юноша побледнел, как-то дернулся, едва не выронив костыли. Зная его строптивость и упрямство, его болезненную возбудимость, он дотронулся до его плеча, сказал тихо, умоляюще:

— Не надо, Гарри! Уймись! Зачем лезешь на рожон? При чем тут товарищ Джебраилов?

— Ах, так!.. Вам, выходит, все ясно?! — запальчиво прохрипел Гарри. — Ну, тогда, тогда, сидите здесь и расписывайтесь в своей покорности!

Юноша как-то ловко завис на костылях, здоровой ногой пнул дверь и вышел вон.

— Гарри, не глупите, — донесся ему вдогонку голос Марии Петровны.

— Ка-акой настырный, панимаишш! Ка-акой гордый! Да его из комсомола в шею гнать надо! Из школы вытурить! Грамотей!.. Сопляк, панимаишш, инвалид-калека, а хвост торчком! — Товарищ Джебраилов вышел из себя. Уж сколько лет он работает в МВД, и комендантом не первый год, а таких строптивцев, такую ехидну встречать среди спецпереселенцев еще не доводилось. — Приведите его сюда немедленно! Пусть распишется собственной рукой! Иначе никого из вас отсюда не выпущу. Понятно?!

— Молодой, нервный... Столько лет болеет, — извиняюще проговорил Давид Павлович.

— Простите его, — заступилась за своего ученика Мария Петровна.

— Х-хэ! Молодой, больной, панимаишшш... Я ему рога обломаю! Приведите его! Немедленно! Н-ну!..

— Постараюсь...

Фельдшер вышел. Остальные понуро молчали. Комендант, рассерженный, оскорбленный дерзостью спецпереселенца, откинулся в кресло, то и дело хватался судорожно то за кобуру, то за полевую сумку.

— О, Аллах! Скоро он там людей отпустит?! — донесся за дверью возмущенный голос.

В наступившей тишине опять неожиданно для всех буркнул в бороду административно высланный Касими.

— Маладэс! Джигит! Человеком будэт!

Никто не думал, не предполагал, что сумрачный молчун Касими в состоянии произнести вслух несколько слов кряду. Даже товарищ Джебраилов с изумлением вперил в него маленькие зрачки.

По пустынной широкой улице аула, резко и яростно загребая костылями и бережно поджимая больную ногу, почти вприпрыжку, точно подранок, удалялся в сторону Ишима Гарри. В груди его что-то сжималось, свернулось в клубок, подкатило к горлу, глаза пылали от обиды и боли, а в ушах монотонно и гулко, точно сухая барабанная дробь, звенело: «Навсегда... навсегда... Навсегда!..»

Позади, бестолково размахивая руками, плелся спецпереселенец Давид Павлович. Он часто останавливался, словно не зная, куда и зачем бредет, озирался по сторонам, шептал что-то невпопад, и степной ветер уносил его невнятные слова вдаль.

1989

ИЮЛЬ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО

В большом, заставленном обшарпанными шкафами кабинете майора Шевцова было сыро и сумрачно. Плотный ряд разросшихся акаций окружил неказистое двухэтажное здание областного управления МВД. Опять заладил дождь. По окну струились грязные потеки. Майор Шевцов походил взад-вперед в глубине кабинета, стараясь не глядеть на тщедушного, бледного юношу у двери. Майор досадливо хмурился, подходил к окну, молчал. Его раздражал этот упрямый юнец-спецпереселенец. Битый час толковал он ему, что не может, ну, никак не может дать разрешение на столь длительный выезд, да еще не куда-нибудь поблизости, ну, скажем, в соседний район, а аж в самую Алма-Ату, и все без толку. Долдонит одно и то же: «Я должен учиться. Я обязан учиться. У меня просто нет... поймите же... нет другого выхода». И выговор какой-то странный, нажимает на «о», вытягивая и округляя губы, точно окунь на крючке. Видно, волнуется, голос дрожит, щеки покрываются пятнами. А сам хлипкий, хворый.

Да-а... редкий случай. Нечасто спецпереселенцы обращаются в областную комендатуру с такой просьбой. Многим из них и в голову такое не приходит — учиться в высшем учебном заведении. Да что там... и десятилетку-то немногие из них заканчивают. Все эти годы курс был иной. Кончил пять-шесть классов, малость окреп, ну и хватит, довольно, айда на механизаторские курсы неподалеку от места проживания, в лучшем случае — ФЗО. И никто не возражал, все с этим смирились. Немцы-пересе-

ленцы вообще на редкость покладисты и послушны. А этот окончил школу едва ли не с медалью и возомнил себе бог весть что. Высшего образования, видишь ли, захотелось. Майор искоса бросил на юнца взгляд и поморщился. Надо же... повис на костылях, того и гляди свалится прямо у порога. Нос заострился, уши горят, губы дрожат. Кажется, вот-вот от обиды заплачет. Только онто, комендант Шевцов, тут при чем? Не он ведь эти порядки установил. Значит, так и надо. Стало быть, заслужили. Не положено и все тут! Эдак завтра все спецпереселенцы захотят учиться, всем давай разрешение на выезд. А сколько их в области?! Пруд-пруди в каждом районе, в каждом селе и ауле. Нет, пусть сидят на своих местах и работают. Так проще, удобней. Всякий на виду.

— Ну, куда ты поедешь, если у тебя даже нет вызова?! — решил майор Шевцов наповал сразить упрямца-спецпереселенца.

— Какого вызова?

— Из института!

Юноша переставил, поправил под мышками костыли, побледнел еще сильнее, достал из походной сумки, висевшей на плече, несколько писем, протянул их:

— Вот, вот!

— Что это?

— Прочитайте...

Голос юноши дрогнул. Кадык на тощей шее дернулся вверх-вниз. Майор Шевцов, хмурясь, вынул из конверта бланк с печатью, прочел: «Казахский государственный педагогический институт имени Абая». Извлек письмо из второго конверта: «Институт иностранных языков». Покосился на третий конверт: «Казахский государственный университет им. С. М. Кирова». Все письма были лаконичные и схожие по содержанию. «На ваш запрос отвечаем, что вы имеете право учиться в любом высшем учебном заведении Советского Союза... при наличии разрешения органов МВД».

— Но это же не вызов! — Майор с раздражением отпихнул от себя официальные извещения.

— Конечно! — Юноша скривился. — Однако, главное сказано ясно: имеете право учиться в любом вузе Советского Союза. Вызов будет при наличии разрешения органов МВД. Вот и дайте разрешение!

— Но я же тебе объяснил по-русски: без вызова из института мы разрешения на выезд давать не можем.

— А институт не может дать вызов без разрешения органов МВД. Как же мне быть?

Шевцов отвернулся к окну, забарабанил пальцами по подоконнику. «Как быть?.. Как быть?» Прав этот упрямец: получается заколдованный круг. Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана... Но только не ему, майору, разорвать этот круг. В инструкции все изложено ясно. А он обязан придерживаться инструкции. Пусть спецпереселенец сам что-нибудь придумает, исхитрится достать вызов из института, и тогда он, майор Шевцов, тотчас выпишет ему желанное разрешение, лишь бы по прибытии к месту назначения спецпереселенец встал на учет в местную комендатуру. Но этот упрямец и слышать ничего не желает...

— Трудную ты мне задал задачку, — майор попытался улыбнуться, но вместо улыбки получилась гримаса. — Надо было тебе, видно, с этим вопросом обратиться куда-нибудь повыше.

— Повыше?! — встрепенулся юноша. — Так я написал!

— Кому?

— Министру внутренних дел товарищу Круглову. И еще — товарищу Ворошилову.

— Вон как?!.. И получил ответ?

— Я — нет, а в райУМВД бумага пришла.

— И что там сказано?

— Я не читал. А по словам Волченко якобы сказано: «На общих основаниях»?

— Что «на общих основаниях»?

— Учиться, надо полагать...

Майор Шевцов задумался. С этим юнцом следует, пожалуй, ухо держать востро. Он, оказывается, строчит во все инстанции. Интересно, сам строчит или кто-то его направляет? В тех краях, в аулах Приишимья, немало административно высланных. Может, кто-нибудь из них и булгачит юнца, подбивает на дерзость? Скорее всего, так. Иначе откуда бы у выпускника аульной школы, да еще казахской, столько прыти? Ишь ты, и депутатам пишет, и в правительство пишет, и в институты пишет. И на сталинскую конституцию без конца ссылается. Грамотей!..

— Слушай, а почему ты сразу в три института написал? Что, сразу в трех учиться намерен? Или тебе все равно где учиться?

— Нет, не все равно. Мечтал учиться в институте международных отношений. Но мне объяснили, что там у

меня... – юноша опять усмехнулся, – никаких шансов. Даже высмеяли. И я решил стать языковедом или литератором. Как уж получится.

– Понятно.. Пишешь, небось?

– Да, так... заметочки, репортажи... В районной, областной газетах иногда даже печатаюсь.

– Вот как?! А я что-то твоей фамилии не встречал.

– Ну, я ведь пишу по-казахски. И под псевдонимом.

– Да-а?! А почему под псевдонимом?

– Ну... – Юноша чуть замялся. – Подпишешь «Карлсон» – не печатают. Подпишешь «Карлыбаев» – все проще.

– Надо же!..

Майор посмотрел на часы. Юноша это заметил, сильнее стиснул костыли, сжал губы. Он уловил в голосе майора нотку сомнения, даже какую-то заинтересованность, и вообще успел приглядеться к нему. Коменданту, должно быть, было под сорок, плотный, кряжистый, с короткой стрижкой. В усталых глазах чудилось сочувствие. Юноше показалось, что здесь его поймут или – по крайней мере – могут понять, а потому надо стараться затянуть беседу, проявить терпение и упорство, и тогда этот майор, в душе которого закрались сомнения, наверняка не устоит, посочувствует, сдастся, сжалится и даст разрешение. А там... Что будет потом, о том сейчас не думалось. Первое и главное препятствие – заручиться разрешением облУМВД на выезд. Клином сошелся белый свет на этом разрешении. Нет, он не выйдет отсюда, пока не добьется своего, пока его не вытолкнут силком из кабинета. Больше ведь некуда обращаться, и никто ему больше не поможет. Правда, учительница Мария Петровна посоветовала ему на худой конец обратиться еще в обком комсомола. Конечно, это уже больше для утешения, так, соломинка для утопающего, ведь комсомол не занимается спецпереселенцами, но кто знает, вдруг там хотя бы выслушают да походатайствуют. Даже представить себе невозможно, что он будет вообще делать, если вся его надежда потерпит крах.

– А что с ногой?

– Тэбэцэ костей.

– Давно?

– С двенадцати лет.

Шевцов вновь подошел к окну. Да-а... жалко беднягу. «Поймите же... нет у меня другого выхода...» Он, пожа-

луй, прав. Какой тут, к дьяволу, выход? На комбайн, на трактор с костылями не сядешь. А какая еще в ауле работа? Таких можно б было, пожалуй, и снять с учета. Сделать исключение. Но закон есть закон. Сделаешь раз исключение, дашь одному поблажку и все пошло-поехало. Пойдут сплошные исключения. А Указ 48-го года не отменен. И сказано в нем предельно ясно: «высланы навечно». Да, именно так: на-веч-но! За самовольный выезд — двадцать лет каторги. Как его, такого, на каторгу? Околеет на первом же этапе... Ну, что же с ним делать?..

Кудлатые тучи клубились над городом. Издалека доносились раскаты грома. Дождь хлестал в окно, стекал с крыши мутными ручьями.

— Вот что... Гарри. — Майор подошел к юноше, пристально уставился на него. Тот замер, вытянулся между костылями. — Разрешения дать тебе не могу. Пойми: не мо-гу. Не имею права.

— Но... я...я... — У юноши опять задрожали губы, щеки запали, в глазах блеснули слезы.

— Подожди. — Майор направился к столу, отвернулся

Наступила тягостная пауза. Понуро опустил голову комендант Шевцов. С усилием сдерживая слезы, обреченно повиснув на костылях, застыл, замер юноша-переселенец.

За окном неистово хлестал ливень. От грома сотрясалось старое кирпичное здание областного УМВД.

— Давай сделаем так... — глухо донесся сквозь шум дождя голос майора. — На свой страх и риск... ты понимаешь? — я выдам тебе разрешение на три дня. Так сказать, по личным делам. Понятно, что за три дня ты в лучшем случае только доберешься до Алма-Аты. Но больше не могу. Только три дня. Приедешь — сразу встань на учет. Сразу. Иначе и меня подведешь, и тебе будет худо. Адрес комендатуры в Алма-Ате — Пролетарская, 10. Запомни. Встань на учет, объясни все и сдавай свои экзамены. Вдруг повезет...

— Спасибо, спасибо... — залепетал юноша, еще не поняв все толком.

— Ладно... За разрешением зайди завтра, часов в десять. Я все подготовлю. Заявление и разрешение райУМВД оставь мне. Вот так. Все!

— Спасибо, спасибо... До свидания... Завтра в десять?

— В десять...

Гарри вышел из кабинета коменданта Шевцова, по-

стукивая костылями, дочикилял до конца узкого, темного и гулкого коридора с шаткими, скрипучими половицами и поспешно опустился на скамейку у входа. Его шатало, подташнивало; нога точно одеревенела, руки дрожали. Он боялся, что выронит костыли и грохнется возле здания облУМВД.

Дождь унялся. В лужах вздувались и тотчас лопались пузыри. В просветах туч струились солнечные лучи.

Гарри положил рядом костыли, поудобнее пристроил больную ногу, откинулся на спинку скамейки. В голове царил сумбур. Неужели ему повезет? Если завтра он получит разрешение на выезд, то он не станет возвращаться в аул, даст Оле телеграмму и тотчас отправится поездом в Алма-Ату. А там... там все образуется.

Он добрел до городского сада, съел два пирожка с ливером, запил морсом. Все было ему здесь внове — афиши, ларьки, тир, танцплощадка, аллеи, посыпанные красным песком, толпы возле пивнушки, громкий, раскованный разговор. В углу парка, под навесом, разношерстная компания азартно забивала «козла».

К вечеру, вконец усталый он постучался в ворота старого Хамзы. Почти все, кто из Кызыл-ту наведывался в город, останавливались в этом доме неподалеку от горсада. И аксакал Хамзеке радушно принимал всех, никому не отказывал в ночлеге. Хозяйка, грузная, молчаливая старуха в темном плюшевом камзоле и высоком белом тюрбане на голове, была родом из Кызыл-ту, но давным-давно, в год повального джута, каким-то образом перебралась в город, далекий Кызылджар, который в представлении простодушных земляков-аульчан казался едва ли не обетованной землей. В родной аул она с тех пор наведывалась редко, однако была в курсе всех событий и любила подолгу, обстоятельно расспрашивать каждого постояльца об аульном житье-бытье. Когда стало известно, что Гарри собирается в областной центр, аульчане в один голос посоветовали непременно остановиться у почтенного Хамзы и Балым-апа. «Ойбай, какой может быть разговор?! Как родного встретят! Ну, какой же ты чужой, если из одного аула. Так, ты же наш, из рода Атыгай. Так что, зайди и скажи: «Ассалаумагалейкум, ата! Я из Кызыл-ту» и все. Как не знает? Наверняка кто-нибудь сказал, что есть такой Кари в ауле. Непременно зайди. И передай салем от аула».

Так уверяли все. И, действительно, все сомнения Гар-

ри мигом улетучились, едва он, робея, переступил порог деревянного особняка за дощатым забором. Был вечер. Хозяева как раз чаевничали в полной тишине. На террасе тихо попискивал медный самовар. Щуплый старичок с сивой бородкой, скрестив под себя ноги, задумчиво потягивал густой, со сливками чай из пиалы. Старуха громоздилась возле самовара.

— Из Кызыл-ту, говоришь — переспросил старик, поблескивая мышиными глазками. — Э, проходи, проходи! Должно быть, добрый человек, коли подошел к дастархану. Садись, гостем будешь

— Зовут меня Гарри. Приехал по делу на день или два,— уточнил Гарри.

— Кари?.. Э, у тебя вполне казахское имя, айналайын. Не стесняйся, подсаживайся. О деле потом расскажешь.

— И-и-и-и, Аллах! — вздохнула, покосившись на костыли гостя. — Вижу, устал с дороги. Отдохни, милый.

И пододвинула Гарри тарелочку с маслом и кусок лепешки.

Гость почувствовал себя так, будто к родным попал. А после чая он пересказал старикам все аульные новости

Вот и сегодня Хамзеке обрадовался приходу гостя.

— Ты где это пропадал, айналайын? Мы со старухой тут уже встревожились: не заблудился ли в городе, не случилось ли что...

— Нет, ата. Ничего не случилось. В саду походил.

— В саду напрасно задержался. Там, сказывают, шпана шастает. Аульных ротозеев в два счета общипают.

После чая Хамза-ата, по привычке свесив голову на грудь, внимательно выслушал рассказ Гарри про свои злоключения.

— Апырай, а! — недоумевал старик. — Много всякого лиха я на своем веку повидал, а вот это в моей сивой голове не укладывается. Ну, пашис, керман — это понятно. Но ты-то при чем? При чем малые, неразумные дети? Кому плохо оттого, что ты будешь учиться? Кому какой от тебя вред? Какая от тебя опасность? Не понимаю! Ничего не понимаю!..

— И-и-и, алла-а! — вздохнула старуха. — Где нам все понимать?

— Нет, но это же глупость! Глупость! — возмущался Хамзеке. — Сколько в городе жулья, шпаны, их вылавливают и силком заставляют учиться. А Кари хочет учиться, и ему не дают, не доверяют, потому что он, понимаешь

ли. немцем родился. Ну, и что? Чем он хуже казаха или уруса какого-нибудь?! Не по-мусульмански это. Аллах свидетель, не по-мусульмански!

Ночью Гарри долго не мог уснуть. Непривычный городской гул стоял в ушах. И душа была взбаламучена предстоящими переменами. Завтра он получит разрешение, а уже через несколько дней окажется в южном яблоневом городе. Он сразу же разыщет всех своих одноклассников, придет в общежитие КазПИ, постучится в комнату Багиры, войдет и торжественно объявит прямо с порога: «А вот и я!» Багира застынет от удивления, потом в черных ее зрачках вспыхнут радостные искорки, и она побежит к нему, прижмется, а он ладонью погладит ее по смоляным волосам, замирая от блаженства, от счастья. Эта картина рисовалась в его воображении все вновь и вновь. Вот он постучал в дверь, вошел, объявил: «А вот и я!..» Удивленный вскрик Багиры... Счастливый блеск в ее глазах. Вот она прильнула к нему, он ощутил ее горячее дыхание, запах ее волос...

А потом он метался по перрону. Вот-вот должен был отходить поезд, а он никак не мог найти свой вагон. Несколько раз он обошел весь состав — от начала до конца, но вагона, указанного в билете не находил. Наконец в неясном свете мелькнул нужный номер, он устремился к нему, все сильнее постукивал костылями, пот заливал глаза, сердце подкатывалось к горлу, еще несколько шагов, еще два-три шага, еще шаг до ступеньки... Сейчас, сейчас он уцепится левой рукой за поручни, в правую возьмет оба костыля, упрется здоровой ногой в ступеньку и одним рывком очутится в вагоне... «Разрешение!» — холодным голосом произнесла проводница, и голос ее утонул, исчез в густом паровозном гудке. Задыхаясь, он повис на костылях, сунул руку за пазуху, где находилось разрешение областной спецкомендатуры и обомлел. Разрешения не было!

«А-а-а!» — закричал, завопил он в отчаянии, видя, как громыхнув колесами, медленно отходил перед ним поезд...

— Астафиралла! Что случилось? — сквозь грохот донесся вдруг тихий голос Хамзы-ата. — Блоха, что ли, укусила?

Гарри проснулся. Он не сразу сообразил, что с ним, где он. Сердце колотилось. Во рту было сухо. Неприятное предчувствие тяготило.

Утром с первым же автобусом он приехал в облУМВД. Заспанный милиционер не пустил его за ограду.

Гарри долго слонялся по безлюдной улице, не зная, куда себя девать. Ныла больная нога, подташнивало от слабости. До назначенного Шевцовым часа оставалось еще много времени. Он заглянул в столовую поблизости, долго изучал витрины магазинчиков, потом от нечего делать завернул на центральную почту.

Ему почудилось, что прохожие сегодня особенно хмуры, молчаливы, чем-то озабочены. И в магазине, в столовой все почему-то разговаривали приглушенно, оглядываясь по сторонам, а то и шепотом. Странно! Не всем же нужно разрешение из спецкомендатуры. На почте, в углу, шепталась группа женщин. «Вы слышали?.. Ой, что теперь будет? Ужас! Все, все враги. Шпионы, все книги, все журналы, газеты сожгут. Да, да! Ой, ой!..» Неясная тревога охватила и здание областного управления Министерства внутренних дел. По коридору взад-вперед сновали хмурые люди. В гулкой тишине там и тут хлопали двери кабинетов. Редкие посетители жались к обшарпанным стенам, никто на них не обращал внимания. Никого никуда не вызывали, не приглашали. Произошло что-то непонятное.

В десять утра Шевцова не было. Кабинет его пустовал и в половине одиннадцатого. Дежурный пробубнил, что сегодня его может и не быть. Гарри лишился последнего терпения. Как быть? К кому обратиться? Он осторожно, трясясь от страха, приоткрыл двери нескольких кабинетов. Они или пустовали, или за столами сидели хмурые, словно ошеломленные, ошарашенные, потерянные люди. Казалось, они оцепенели и ничего сейчас не видели и не слышали.

Наконец, показался майор Шевцов. Тоже хмурый, озабоченный, с отсутствующим взглядом. Гарри встал, робко толкнулся к нему.

— Здравствуйте!

В голосе его прозвучали одновременно надежда, мольба и страх. Он сам удивился этой унизительной, трусливой интонации своего голоса.

— Сейчас, сейчас,— бросил на ходу Шевцов и исчез за дверью.

Минут через двадцать Гарри набрался смелости и осторожно просунул в дверь голову. Майор сосредоточенно копался в ящиках стола, перебирал бумаги. Время от вре-

мени к нему заходили из других кабинетов, но тотчас выходили еще более мрачные, насупленные.

Прошел еще час. Майор, казался, напрочь забыл о Гарри. В полном отчаянии, уже не соображая, что делает, Гарри протиснулся в дверь и замер у порога.

– Вчера... вчера... – он судорожно глотнул, – вы обещали...

– Что-о?! – Майор уставился на него, будто видел впервые. – А-а-а... Да-да...

Он, как и вчера, встал, заходил взад-вперед вокруг стола и повернулся к окну.

Гарри похолодел. Он как-то сразу понял, что мечте его не суждено осуществиться.

– Извините, – глухо сказал Шевцов. – Я вынужден отказаться от своих слов. Разрешения я вам дать не могу.

Что-то оборвалось в груди Гарри.

– Но ведь вы вчера обещали... – обреченно пролепетал он.

– Не мо-гу... Обстоятельства сегодня изменились.

– Какие обстоятельства?

– Вы что? Не слушали радио?

– Не-ет...

– Надо слушать. Арестован Берия...

– Как это?.. Лаврентий Павлович?.. Верный друг и соратник товарища Сталина?!!

Майор Шевцов круто повернулся и пристально уставился на юношу-спецпереселенца. Что он? Всерьез? Или насмешничает?.. Нет, этому сейчас не до насмешек.

– Оказался матерым английским шпионом.

– Шпионом?.. Лаврентий Павлович?! Верный друг и соратник товарища Сталина?!

Гарри вдруг в одно мгновение показалось, что все его мытарства, его желание получить разрешение на выезд в южный город – ерунда, мелочь, ничтожный каприз по сравнению с тем, что случилось, что обрушилось на страну, на мир. Какое разрешение, что за никчемные, спецпереселенские претензии и просьбы, если сам любимец вождя всех времен и народов оказался всего-навсего презренным агентом английской разведки?!

Напряжение всех этих дней мгновенно спало. Гарри не мог сейчас понять, что с ним происходит, но он чувствовал, явственно почувствовал какое-то облегчение. Отказ коменданта Шевцова после этой ошеломляющей вести совсем уж не показался ему столь тяжким и безвы-

ходным. Ему вдруг захотелось скорее вернуться в аул, поделиться новостью с Марией Петровной и Давидом Павловичем. У них, почему-то казалось Гарри, должны быть какие-то старые счеты с этим английским шпионом, и они наверняка все растолкуют, все разложат по полочкам.

— Так вот, Карлсон, — совсем уж официально заговорил майор Шевцов. — При данном стечении обстоятельств я самолично ничего решить не могу. Нужно время. Сколько — не знаю. Возможно, все теперь осложнится. Возвращайтесь домой.

Гарри чувствовал себя совершенно спокойно. Он видел, что майор Шевцов растерян, смущен. Он понимал, что комендант действительно бессилен чем-либо ему, спецпереселенцу, помочь. Ему даже жалко его стало: бедняга благоразумный ответ дать не в состоянии. «Возвращайтесь домой». Стоило так унижаться, клянчить у Волченко разрешения на три дня, обивать пороги районного УМВД. Стоило столько дней околачиваться бесприютно, неприкаянно в пыльном райцентре. Стоило мытариться в дождь, в ненастье на попутных машинах, с ночевкой в кузове под открытым небом двое суток, чтобы добраться до областного центра, разыскивать коменданта Шевцова и услышать от него: «Ничего решить не могу. Возвращайтесь домой».

В груди точно все помертвело. Безразличие словно разом оглушило его. Губы невольно дергались, кривились в злорадной усмешке над самим собой. Он спокойно, впервые с каким-то чувством превосходства посмотрел на растерянного коменданта. Тот, потупив взгляд, бессмысленно перебирал бумаги на столе, и вид у него был жалкий. Он был охвачен неизвестностью, страхом. А у Гарри все было ясно. Ему уже не на что было рассчитывать. У него сейчас, в этот момент, на этом этапе не было никаких надежд. А потому не было и страха. Нисколечко. Поразительное состояние: ни надежды, ни страха. Ничего. Пусто. Мертво. Он даже испытывал радость, что может в упор, прямо смотреть на коменданта майора. Он ведь уже ничего не просил, ничего не желал. Майор Шевцов сейчас был беднее, беспомощнее, чем даже он, бесправный спецпереселенец Гарри Карлсон.

— Спасибо...

— Что?

— Спасибо. Вы меня очень утешили.

Гарри позволил себе даже хмыкнуть. Ему вдруг захотелось расхохотаться. Громко, в лицо этому майору, перед которым трепетали все спецпереселенцы и у которого он два дня так унизительно канючил разрешение на выезд. Он встал, крепко подпирая себя костылями, напружинился весь и не чувствовал, что по впалым щекам его текли слезы.

Майор глянул на него и тотчас отвел взгляд.

– Дайте мне разрешение Волченко. И не забудьте сделать пометку о том, что я был у вас. А то еще не поверят.

– Да, да... Сейчас...

На лицевой стороне узенькой бумажки – разрешения райУМВД спецпереселенцу Карлсону на выезд в город Кызылджар сроком на трое суток – областной комендант майор Шевцов сделал соответствующую пометку, приложил штампик, поинтересовался:

– Вы поедете сегодня?

– Постараюсь.

– Если надо... если хотите побыть в городе, я могу разрешить вам на день-два...

– О, нет! Благодарю. Спецпереселенцам положено сидеть дома.

Майор не ответил. Протянул бумажку.

– Еще раз спасибо. И – до свидания.

Стуча костылями, Гарри вышел из сумрачного, пропахшего сырью и пылью кабинета.

За высоким забором пустовала скамейка. Он опустился на нее, положил рядом костыли и дал волю слезам. Все беды-напасти, пережитые за свою жизнь, разом вспомнились, обрушились на него. Выселение... неприкаянность... бездомность и голод... гибель отца... несчастье братьев и сестер... болезнь... крушение мечты... Было пустынно вокруг. По небу неприкаянно метались тучи. Пахло дождем. Но Гарри было все равно. Он плакал, никого и ничего не стесняясь. И не хотелось ему сейчас жить. Хотелось раствориться, исчезнуть, растаять, как тучки, растерзанные ветром.

– Сволочи!.. Мерзавцы!...

Рядом на скамейку грузно опустился мужчина. Он был заметно возбужден, бормотал ругательства, то и дело срывал с головы кепку, хлопал ею по колену.

– Шайзкерле! Хундстрек! Доннерветтер!.. твою мать!..

Мужчина никак не мог успокоиться. Русские и немецкие ругательства извергались из него сплошным по-

током. Крепко сбитый, обветренный и загорелый, рябоватый, с твердым, точно каменным подбородком, он всем своим обликом источал непреклонность и волю. Даже плотный русый ежик на голове точно ощетинился, встопорщился от гнева и ярости. Наконец, мужчина заметил сжавшегося на краю скамейки юношу с костылями, полыхнул по нему бешеным взглядом.

– Что, тоже отсюда? – он брезгливо кивнул в сторону здания облУМВД.

– Да, – тихо произнес Гарри.

– Немец, что ли? В комендатуру вызвали? Кто? За что?

Он не спрашивал, а допрашивал. Каждый вопрос – как удар плети. Гарри сбивчиво рассказал о своих делах. Мужчина только хмыкал и коротко взмахивал рукой, будто дубасил кого-то.

– Ну и что сидишь, нюни распустил?! Ты прав? Прав! Вины нет? Нет! Ну и добивайся своего! Не дрейфь! Иди напролом!

– Легко сказать...

– А иначе как?! Иначе ни хрена не добьешься! Пропадешь-сгинешь законопослушным немцем-переселенцем.

– А вы-то кто?..

– Я?.. Э, брат, моя жизнь – роман. Всю жизнь только и делаю, что воюю. Я ведь и из трудармии удрапал, фамилию сменил, с фашистами воевал, награды имею, до Берлина дошел, на свободе жил и только вот недавно, как и ты, мать его за ногу, спецпереселенцем стал.

– Как это – «фамилию сменил»?

– Просто! Был Зельцер, стал Зельцин. Был немец, стал русский. И никаких комендатур. Воевал, работал, куда надо – ездил без всяких там ограничений и разрешений.

– А теперь что?

– Теперь что?! Видишь что! Хреновина получилась. Вот хожу теперь к энкеведешникам, к гепеушникам, оправдываюсь, объясняюсь, лаюсь. Был Зельциным, стал Зельцером. Был русским, стал снова немцем. Превратности судьбы!

– Странно...

– Ничего странного! Знаю, Антонина, супружница моя, стерва, дрянь, выдала меня с потрохами. Пошла и доложила, кто я такой на самом деле есть. Бдительность проявила. Правда, выяснилось, что эти, – он опять кивнул в сторону областного управления МВД,– и без нее кое о

чем догадывались... Вот и затаскали теперь. Все вынюхивают, все докапываются, что да как, где да почему, с кем и когда, в рот им дышло!

— Весело живете!

— Хм-м... дальше некуда. Комедия с трагедией... Самто с Волги? Или с Крыма?

— С Волги. Родился в Энгельсе, а выслали из Гнаденфлюра.

— Вон как?! Знаю, знаю... Блюменфельд, Нойдорф, Полеводино, Мангейм, Зихельберг, Мариенбург, да?

— Да. Родители из Мангейма.

— Смотри-ка! — Мужчина оживился, потеплел голосом. Казалось, ему было приятно перечислять названия полузабытых немецких сел. — Выходит, земляки-соседи! Надо же! Наш кантон назывался Красный Кут. Там были деревни Шёнфельд, Шёндорф, Шёнталь. Вот я оттуда. А рядом находились русские селения — Ягодное, Митрофановка, Семеновка, Николаевка. Не знаешь?

— Нет.

— Ну, конечно. Мал был...

Долго молчали. Зельцер-Зельцин вдруг как-то сник, глаза потухли. Он нахлобучил кепку, понуро опустил голову, обмяк, сжался. Недавние гнев и ярость сменились усталостью и тоской. Потом он словно очнулся, пробормотал:

— Ия, майн юнге... Вкривь и вкось пошла наша жизнь. Главное — ни за что, ни про что...

Гарри ничем не мог возразить. Но ему стало легче. Зельцер ему нравился.

— Ладно, дорогой. Мне пора.— Зельцер встал, посуровел лицом, затвердел подбородком. В глазах с красными прожилками вновь вспыхнули злые искорки.— Не распускайся, юноша! Ожесточись! Вытрави из сердца тоску и уныние. Надо выстоять, все сдюжить! Тебя давят, топчут, а ты не поддавайся назло всей этой дерьмовой политике. Знаешь «Песню болотных солдат»? Перед войной Буш пел. Вот и ты тверди: «Эвиг канн'с нихьт винтер зайн!» Да, да... «Зима не может вечно длиться». Только так! Прощай, земляк! Немец-спецпереселенец!..

И он пошел прочь — непреклонный, жесткий, вызывающий.

«Ну, вот и все. Вот и все»,— сказал сам себе Гарри. Здесь, в Кызылджаре, больше ему делать было нечего. Солнце приближалось к зениту. Небо опять заволакива-

ли тучи. Снова теперь заладят дожди, и тогда вряд ли за сутки доберешься до Марьинки. Такая пойдет слякоть — грузовики застрянут по самую ось. А ночевать в безлюдной степи под дождем — мука мученическая. Хорошо, если неподалеку от дороги обнаружится скирда сена: можно хоть на ночь зарыться в нее...

Старый Хамзеке, едва взглянув на своего гостя, сразу догадался о его состоянии. Он сидел на ветхом домотканом паласе, постеленном на террасе, положив поперек колен суковатый темный посох, надвинул на лоб такию и сосредоточенно думал. Приходу Гарри он обрадовался.

— Ой, как ты устал, айналайын! Да ты же совсем высох за эти два дня. На тебе лица нет. Видно, не впрок тебе город... Или нога мучает?

— Не нога, ата, а душа.

— Рано тебе, милый, о душе говорить. Откуда тебе знать, что такое душа? Это у нас, у стариков, она иногда болит. Ибо у нас она уже на кончике носа.

— Возвращаюсь в аул, ата. Не вышло ничего с учебой. Не дали разрешения.

— Что так? Ты же говорил, что этот... как его... гомандан ваш... вроде обещал.

— Обещал, да раздумал. Обстоятельства изменились. Берию, говорят арестовали.

— Это который? Плешивый, в стекляшках?

— Он самый.

— Ну и что?.. К тебе это разве относится? Он же ведь не твой родственник. Он, кажется, даже не немец...

— Нет, конечно... Боже упаси! Только этого еще не хватало!

— Э-э... Солай де. Так оно, значит. Не могли его арестовать раньше или позже.

— Да, ата. Должно быть, больно везучий. Совпало.

Хамзеке уронил голову на грудь, пробормотал что-то непонятное.

После обеда Гарри собрался в обратный путь. Хамзеке долго уговаривал его остаться еще на одну ночь, а завтра, спозаранок, попытаться найти попутную подводу, но Гарри настоял на своем.

— Нет уж, ата. Пойду к Есилю, к мосту, может, подвернется машина в нашу сторону. Вам и Балым-аже большое спасибо.

— Упрямый ты... — Старик, провожая Гарри, вышел за ворота. — Аулу привет передай. А сам, когда еще будешь в

городе, заходи к нам. Не стесняйся... И еще скажу тебе. Ты не очень переживай, не изводи себя. От ранних дум сердце, говорят, чернеет. Главное: не ожесточайся. А то ожесточишься и будешь затравленным волком смотреть на божий свет. Не отчаивайся. Ничего в этом мире постоянного нет. Сегодня – так, завтра – по-другому. Сказано ведь: жизнь оборачивается к человеку то лицом, то задом. Дурацкие законы не бог дает, а люди придумывают. Из-за дурости, должно быть, а больше из-за страха. Все чего-то боятся... Помни мои слова: все еще изменится. Да, да... меня, видно, только не будет. Ну, а это не беда. Аман бол, балам! Благополучия тебе, сынок.

– Спасибо, ата!.. Свидимся еще...

Ветер дул со стороны Ишима. По небу неведомо куда спешили тучи. Гарри сдвинул полевую сумку на спину наподобие вещмешка, плотнее прижал костыли и, осторожно обходя бесчисленные лужи, направился на окраину города, к крутому красному яру, откуда в разные стороны открывающейся дали пролегали темные полоски в лесостепь – извилистые дороги.

1988

«Я В ЭТОТ МИР ПРИШЕЛ, ЧТОБ ВИДЕТЬ СОЛНЦЕ»

Сейфи

Однажды летним днем, на рассвете, выгоняла мама корову на выпас и увидела у колодца незнакомого мужчину, наполнявшего водой деревянную колоду. Мама поразилась: чтобы казах поднимался в такую рань и доставал воду из колодца – такого в ауле ей видеть еще не приходилось. А незнакомец приветливо улыбнулся и заговорил вдруг нездешним языком:

– Гутен морген, гнедиге фрау!

Никто к маме («милостивая»!) сроду так не обращался, а немецких слов из чужих уст она вообще уже лет десять, пожалуй, не слышала.

– Гутен морген, – ответила она растерянно, – но... я вас, простите, не знаю.

– Ах, либер Гот, – продолжал незнакомец. – Вир зинд дох Нахбарн.

Выяснилось: живет по соседству, зовут Сейфи, да, да... Война давно кончилась, столько лет ни слуха ни духа, и вот объявился живой и целехонький. Правда, без трофеев, без наград, без гимнастерки и галифе...

Вскоре я заметил: в ауле к нему относились настороженно. И на людях-то он показывался редко. Казалось, сторонился аульчан. Даже жена и сын держались с ним скованно, будто провинились перед ним. Или, наоборот, он перед ними.

А меня он манил, привлекал. Возможно, потому, что не был таким он, как все. Нелюдимый. Отрешенный. Загадочный.

Как-то раз заглянул он в медпункт, к моему отцу, заговорил было по-немецки, но отец ответил почему-то нехотя и уклончиво. И Сейфи перестал к нам ходить.

С утра до вечера он копошился на своем подворье. Оплел гибким талом изгородь, подправил скособочившуюся шошалу, конусообразное летнее жилище, прочистил дымоход, перекрыл хлев, отгородил загон для овец, расколол на дрова заскорузлые кряжи, вывез многолетний мусор, все что-то чистил, выскребывал, убирал, переделывал. И все делал как-то по-особому, очень уж тщательно, неторопливо, аккуратно, основательно:

Мама восхищалась: «Надо же... Он работает, как немец!» И укоризненно косилась на отца, который, по ее твердому мнению, не проявлял достаточного прилежания в домашнем хозяйстве. Отец чаще всего отмалчивался, а однажды досадливо буркнул:

— Научился, видно, там...

Меня тянуло к Сейфи, но робел, стеснялся, не знал, как и о чем с ним говорить. Да и он все больше помалкивал. Глядел пристально, цепко, кривил губы, хмурился. Думал, бывало, о чем-то, молчал, молчал, и вдруг заключал скорбно, безнадежно:

— А-а... аллес Хундстрек!..

Было непонятно: почему все на свете собачье дерьмо. И я, набравшись смелости, как-то полюбопытствовал:

— Почему «аллес»? И почему непременно «Хундстрек»?

Он пытливо оглядел меня.

— Э, майн юнге... подрастешь — поймешь.

Знакомство со странным соседом выпало коротким. Через несколько месяцев за ним приехали двое из района.

Весть облетела аул мгновенно. Во всех домах, мазанках, халупах, шошалах: шу-шу, гу-гу.

– Ойбай, Сейфи забирают!..
– Кто?
– Ой, не спрашивай. Джигиты из энкэвэдэ...
– За что?!
– В плену, оказывается, был.
– Так отпустили же!
– Отпустили-то отпустили, да кто знает?
– Может, шпионом заделался?
– Чьим? Где?
– Э, откуда нам знать?

На сборы, проводы Сейфи «джигиты из энкэвэдэ» отвели ровно час. Один из них, должно быть, старший, был казах, и аульные аксакалы уговорили его проявить достойное правоверного милосердие.

Тотчас собрались аулчане. Детвора, притихшая, толпилась во дворе. Женщины, сбившись в прихожей, плакали, вытирали кончиками жаулыков глаза. В комнате, на алаше у простенка, сидел отрешенно Сейфи и гладил по голове уткнувшегося ему в колено сына Сакена. По правую руку Сейфи сидел неприступно-мрачный энкэвэдэшник-казах, у двери, на низенькой табуреточке, громоздясь, смолил махорку его напарник, русский. Оба молчали.

Один за другим, робко оглядываясь, входили в комнату мужчины, все больше старики и подростки, пожимали Сейфи руку, обнимали его, говорили слова утешения.

– Из дальней дороги вернулся, и из ближней вернешься.
– Да, Аллах милостив.
– Не падай духом... Не теряй надежды.
– Да, один шайтан живет без надежды.
– Жену и сына твоего в беде не оставим.
– Мертвый не воскреснет, а живой вернется...

Сейфи раздумчиво кивал головой, бормотал что-то невнятное, и мне, прижавшемуся к косяку двери, почудилось, будто говорит он свое привычное: «А-а... аллес Хундстрек!»

Провожать Сейфи в неведомый путь пришли не все в ауле. Я не увидел ни баскармы – председателя колхоза, ни аулная – председателя сельсовета, ни директора школы, ни бригадира, ни партсекретаря, ни моего отца.

Переборов смущение, я протиснулся в дверь, и тотчас заметил, как оба стражника с недоумением уставились на меня. В самом деле, что здесь надо этому недоноску, сыну

фельдшера-спецпереселенца? Нет ли тут чего-то такого?..

Я подошел к Сейфи, низко склонился, как это делали аксакалы, пожал ему руку, стараясь не замечать насторожившихся стражников, но ни одного слова произнести не смог. Мне показалось, что Сейфи обрадовался моему порыву. Он стиснул мне руку, потрепал мой чуб, улыбнулся.

– Данке, сары-бала... Лееб вооль...

Потом вывели Сейфи, усадили в бричку, с двух сторон примостились стражники и повезли его в район.

– Ко-ке-е-е!.. – завелся дурниной Сакен и рванулся было за удалявшейся бричкой, но женщины сграбастали его, увели в дом. Мальчишка еще не успел привыкнуть к отцу, как вновь терял его.

«Подрастешь – поймешь».

Я уже хорошо понимал, что быть немцем-спецпереселенцем – не лучшая доля. Но я еще не знал, что попасть однажды в плен – еще хуже.

г. Шопоков, Кыргызстан,
1992

В комендатуре

Длинный-длинный, пыльный и заплеванный коридор районной милиции. В конце коридора, впритык к обшарпанной, давно не беленной стене, стоит хромоногий облезлый стол. За ним, неумело согнувшись над каким-то бланком, сидит черный, весь в морщинках старик с невероятно длинным, с горбинкой, носом и грустными глазами и что-то сосредоточенно пишет. Мозолистые, узловатые пальцы не привыкли держать ручку, да и читает носатый старик видно, лишь по складам.

Над столом хрипит посеревший от пыли, засиженный мухами картонный репродуктор. Играет музыка. О чем-то плачут, надрываясь, скрипки, грустно и согласно вторят им альты, а где-то далеко-далеко все грозней, все неотвратимей раскатывается, приближаясь, глухой гул. Скрипки стараются заглушить его, но гул становится все явственней и чувствуется, что вот-вот этот грохот – торжественный, ликующий – покроет, захлестнет все остальные звуки.

По окну ползет огромный, мохнато-золотистый шмель. Время от времени он яростно жужжит, наливаясь дикой

силой, остервенело тычется головой в стекло, силясь пробиться на божий свет, туда, где над тихими акациями кружатся, порхают, вытанцовывают белокрылые бабочки. Потом, обессилев, обмякнув, шмель падает на подоконник, устало сучит лапками и через минуту, снова становясь тугим, кидается на окно, готовый разбиться в слепой ярости.

Бледный, худощавый парень в не по росту коротких серых брюках давно уже стоит возле кабинета коменданта, дожидаясь вызова, и слушает музыку. Странно: когда скрипки выводят свою скорбную песню, шмель утихает, смиренно отдыхает в углу на подоконнике, но как только в оркестр врывается дерзкий, призывный грохот барабанов, он, зажужжав, хмелея от бешенства, упругим комочком бросается на стекло.

В углу, надвинув на глаза фуражку, дремлет на скамейке сомлевший от духоты и безделья дежурный милиционер. Хлипкий, кривоногий, скуластенький. Видно, недавно только взяли из аула в милицию, изредка он чуть приоткрывает один глаз, смотрит в щелочку на горбоносого, потом на шмеля и снова погружается в дрему.

Носатый все еще корпит над бланком. Подолгу смотрит на бумагу, жует губами, кряхтит, морщит лоб, на котором выступили бисеринки пота, и осторожно косится на милиционера. Что-то непонятно старику, но спросить дежурного не решается. Гулко, победно заглушил оркестр грохот, и шмель, взлетев мгновенно, осатанело зажужжал, задрожал и тяжело забился о стекло. Милиционер приоткрыл глаз, посмотрел на шмеля, ухмыльнулся его тщедушным потугам, и тут горбоносый, решившись, спросил хриплым от волнения голосом:

– Тауарышш, чито такой дэятэлност?

Дежурный, не поняв, взглянул на старика, и когда тот смущенно уткнулся мощным своим носом в бумагу, встал, потянулся и вдруг молниеносно хлопнул фуражкой по шмелю. Шмель умолк, скатился на подоконник и, еле шевеля лапками, пополз к щели. Раза три гулко ударил барабан, и музыка оборвалась. Дежурный милиционер подошел к старику, покачался на носках, ухмыльнулся.

– Как твой памилиа?

– Сулейман-заде.

– А!.. Знаим, знаим... Ссыльнай?

– Што-о?.. А... да, да, ссыльный.

– Што просил?

– Вот эта... эта дэятелност нэ панимаю.

– Кде?

Дежурный чуть наклонился, прочел, почесал затылок, задумался.

Горбоносый ткнул толстым бурым пальцем в графу.

– Э-э... Деятелност, знашит, не понимаишш? Ты руски жазик не знаишш, да?

Горбоносый заерзал, заулыбался кротко, виновато.

– Деятелност это... это... ну... – Заметив насмешливый взгляд бледного парня у двери, дежурный нахмурился, спросил строго.

– А тебе кто надо?

– Комендант Волченко.

– Болшенко отпуск пошел. Сенишкин иес.

– Ну, тогда я к Сеничкину.

– Зашем?

– Разрешение хочу попросить.

– Какой разрешение?

– На выезд в город.

– Зашем?

– Хочу учиться.

– А памилиа твой как?

– Вальтер. Спецпереселенец.

– А, Балтр! Прошли год зашем не ушился?

– В прошлом году разрешения не дали. А без разрешения куда?

– А! Знаим, знаим... Сенишкин там. – Он указал на дверь. – Падажды немношка...

Горбоносый быстро-быстро заморгал, закашлял, чтобы обратить на себя внимание, поймал взгляд дежурного, улыбнулся. Дежурный поморщился.

– Деятелност это... ну... это... знашит... – Дежурный начал злиться. – Ты што... не знаишш?

– Нэ панимаю... – выдавил с тоской горбоносый.

Дежурный с досадой дернул плечами.

– Шорт-мазарат! Деятелност это... Это знашет твой атес колак или бандит... или браг народа был ... понимаишш?!

Горбоносый испугался, побледнел, замахал руками.

– Нэт... нэт... Дэятэлност нэт... нэ был...

– Не был?

– Нэ был... нэт... нэт...

– Тогда грапа поставь э...э... палка!

– Палка?! – глаза горбоносого полезли на лоб. – Какой палка? Как палка?!

Дежурный и вовсе рассердился на бестолкового старика, выхватил у него ручку и поставил рядом со словом «Деятельность» прочерк.

– А! – заулыбался горбоносый. – Спасибо! Спасибо! Понял, понял тэпэр дэятэлност.

Дежурный презрительно хмыкнул.

Распахнулась дверь комендатуры, на пороге вырос багроволицый, плотный человечина с пустым графином в руке.

– Эй, Кузембай! Дуй скорее в раймаг. Там, наверное, морс привезли. Давай, живо!

Дежурный сказал: «Иес!», взял графин и, грохоча сапожищами, побежал по длинному-длинному коридору.

В приоткрытую дверь бледный парень успел заметить за столом кабинета еще какого-то мужчину. На столе стояли бутылка, стакан, валялись шахматные фигурки...

Горбоносый, тяжело вздыхая, опять заскрипел пером. К косяку двери, дожидаясь вызова, прислонился бледный парень. Мимо окна по пыльной дороге протопал к раймагу кривоногий Кузембай с графином в руке. Репродуктор, захлебываясь, хрипло докладывал о новом, сталинском, этапе в языкознании.

Совхоз Теренсай,
1969

Мария Петровна

Летом в ауле скука смертная. Взрослые пропадают день-деньской на колхозном стане, на ферме – забот невпроворот. Возле школы ни души – каникулы. Тишь. Жара.

Разве что петух прокукарекает. Соседский пес Майлыаяк понуро протрусит до колодца и обратно, потом растянется в тенечке возле шошалы, положит облезлую постную морду на лапы и зевнет громко, по-стариковски. И полаял бы, да не на кого.

Аульный мулла Елемес, тщедушный, кривоногий старичок, накинув на плечи такой же ветхий, как он сам, чапан и держа в руке медный кумган с теплой водой, бредет в сторону березового колочка совершить омовение перед намазом. Слезящимися глазами подслеповато щурится на стреноженную поодаль дойную кобылицу, не ушла

ли далеко, может нужно ее на обратном пути завернуть ближе к подворью. А то, думая о ней, собьешься невзначай с молитвы, запнешься, грех на душу возьмешь...

В прибрежных тальниковых зарослях вдоль Ишима надрывается кукушка. Одинокий ее голос пронизывает вселенскую тишину. Птаха сбивается со счета, начинает куковать снова, печально, безутешно, будто оплакивает кого-то.

И все разнообразие.

И так изо дня в день. Все долгое, нескончаемое лето.

Свихнуться можно от тоски.

И вдруг в какое-то послевоенное лето словно рябь прошла по сонной аульной жизни. Как-то вечером со стороны школьного интерната донесся восторженный гвалт детворы. В воздухе приглушенно звучала не слышанная доселе, нездешняя музыка.

Я поспешил в интернат.

В летнюю пору в интернате оставалось десять-пятнадцать гавриков, у кого ни отца, ни матери, и следовательно, деваться некуда. Их тоже возили, чтобы не слонялись зря, на колхозное поле, на сенокос, на прополку, и раз в десять дней доставляли в аул — в баню сходить, одежку казенную сменить.

И вот теперь, уединившись кто где во дворе интерната, они с любопытством листали, рассматривали какие-то яркие журналы в глянцевых обложках.

Восторг. Галдеж.

— Глянь!

— Ух, ты!

— Красота!

— Здорово!

На завалинке сидела незнакомая, хрупкая женщина. На бледном, изможденном лице выделялись серые, внимательные глаза. Неулыбчивые губы плотно сжаты. Плечи опущены, рядом, на табуретке, ящик, из которого льется, слегка дребезжа, дивная песня. Я вспомнил, что похожий ящик впервые видел несколько лет назад, еще на Волге, у дяди Даниэля, директора школы, но по малолетству запамятовал тогда же, как он называется.

— Что это? — спрашиваю.

— Бадипон, — шмыгнув носом, отвечает черный как дно казана, Ескожа.

— Какой падипон?

– Видишь же, какой... Ручку крутишь, иголку поставишь, пластинка вращается – песня получается.

– Апырай, а! Откуда такое диво?

– Вот... орыс апай привезла.

– Кто она?

– Мугалим! Русский язык преподавать будет.

– Как зовут?

– Мар-Бедровна.

– Странное имя!

– Э-е... – по-взрослому цвиркает меж зубов черный Ескожа. – У орысов все странное...

С того дня, чуть вечер, вся аульная ребятня стала толпиться возле новой мугалим. До этого мы и книг-то не видели: обходились замусоленными учебниками да потрепанными, еще латинским шрифтом набранным однотомником Джамбула. А у новой учительницы все имущество – несколько ящиков книг. И, пожалуйста, бери, читай. Жаль, что они все на русском. А по-русски в ауле, кроме самой Мар-Бедровны, никто и не читает.

Часто, собрав нас, она подолгу читала. «Очерки бурсы» – никто ничего не понял. А вот «Кавказский пленник», «Каштанка», глава из «Тараса Бульбы», «Дети подземелья» оказались более близки, хотя тоже понимали лишь с пятое на десятое.

Вскоре мы обогатили свой язык многими русскими словами. Узнали имена русских художников, писателей, композиторов. Все было интересно, необычно. В ауле только и слышно было: Мар-Бедровна, Мар-Бедровна... И я тоже говорил: Мар-Бедровна.

– Боже, а ты-то почему язык коверкаешь? – подосадовала как-то учительница. – Говори же нормально!

– А нормально как? – удивился я.

– Да Мария Петровна я! Неужто не ясно?

Стала Мария Петровна маленьким очагом культуры в нашем ауле. Днем – в двух сменах – преподавала русский язык и литературу. Вечерами вела драматический кружок, организовывала выставки, проводила викторины, выпускала газеты, устраивала тематические вечера, костюмированные балы. До глубокой ночи в крохотном закутке интерната, куда поместили Марию Петровну, горела керосиновая лампа: учительница проверяла тетради, готовилась к урокам

Многое в ее жизни было для нас тайной. Лишь потом, старшеклассником, и то через родителей своих, я узнал,

что до войны она преподавала в Ленинградском педагогическом институте им. Герцена, что муж ее, доцент философии, отбывает срок в Карлаге, что она несколько лет работала телятницей в колхозе в нашем районе и только уже после войны ей доверили преподавать русский язык в захолустном казахском ауле. Но каждый месяц она вместе с нами, спецпереселенцами, ходила в сельсовет отмечаться. Мы назывались ссыльно-поселенцами, а она административно-ссыльной. Разницу между этими двумя понятиями мы усваивали с детства.

Неясно, каким образом, но двоим ее сыновьям удалось поступить («сын за отца не отвечает»?) в вуз в г. Горьком. Несколько лет она их вообще не видела. Они наведывали ее позже, в начале 50-х годов – умные, обходительные, ироничные, не столь осторожные и запуганные, как их мать.

Более десяти лет преподавала Мария Петровна в аульной школе. Ученики души в ней не чаяли. Этой тихой, необычайно скромной, внешне неприметливой женщине удалось зажечь свечу добра, человечности, познания в душах многих аульных подростков. Мы все ей многим обязаны. Сознаем это лишь с годами.

Я иногда досадовал на ее излишнюю осторожность, некоторую скрытность, робость перед власть имущими. Мало что поднадзорная, она еще сама себя, казалось, держала в заточении. Ее же пугали кое-какие мои выходки, несдержанность, юношеский максимализм, бравада, смутный душевный бунт. Случалось, жаловалась на меня отцу. Иногда говорила: «Ой, плохо кончишь... Будь благоразумней!»

Что она имела в виду, я понял позже. Я был уже студентом, когда освободили ее мужа. По словам моих родителей, был он раскованным, дерзким, неуемным человеком, хотя и отсидел в лагерях бог знает сколько.

Вскоре он уехал в Ленинград, вновь стал преподавать исторический и диалектический материализм. Потом забрал и Марию Петровну, уже неизлечимо больную, обреченную.

Мои родители пересылали Беднягину (так звали доцента философии) в Ленинград кое-какие его вещи, книги, конспекты. Меня поразила одна тетрадь среди его бумаг: все двадцать четыре страницы тетради двумя столбцами были исписаны одной и той же фамилией – Никита Сергеевич Хрущев. Может, таким образом недавний зек выразил свои чувства, свою признательность освободителю?

Не знаю.

Среди вещей Марии Петровны не оказалось ни дневников, ни записных книжек, ни писем — ничего, кроме учебников, методических разработок, произведений классиков русской литературы и старого патефона с грудой заигранных пластинок.

Уже тридцать лет покоится она на одном из кладбищ любимого ей Ленинграда, а в душе ее многочисленных учеников той захолустной аульной школы она живет и поныне, как самое доброе, светлое воспоминание.

Ташкент,
1992

«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце»

Война кончилась год назад, а жизнь в ауле текла тусклая, нищенская. Народ как бы враз обессилел, надорвался. Размахивая камчой и скверно ругаясь, бригадир Садвокас с трудом выгонял на колхозное поле десятка два вконец изработавшихся, отупевших от беспросветных лишений баб и подростков. В покосившихся, а то и вовсе развалившихся подворьях безмолвно копошилось старичье. Не слышен был и гомон детей: от кого рожать? Дым над летними шошалами струился жидкий, скудный. Варить-то нечего. Миска перебродившего айрана да горсть поджаренной пшеницы — вот и вся еда. Да и то не в каждом доме.

Не жизнь — возня муравьиная. Казалось, жизнь, надрываясь, волоком тащили все те же измытаренные, отощавшие под ярмом за годы войны колхозные волы.

И событий никаких. Задерет волк чью-нибудь козу — событие. Ударила молния в хлев Альмиша — событие. В соседнем ауле заезжий мулла сделал какому-то сорванцу обрезание — разговору конца-краю нет.

А в наш дом при медпункте нет-нет да и заявится незнакомый человек то из райцентра Марьевки, то из самого областного города Кызыл-джар. Каждый такой человек — как пришелец из иного мира, и я жадно вглядываюсь в него, кручусь возле, впитываю каждое слово, запоминаю каждый жест.

Все новое манит. Особенно в детстве.

Вот и он врезался в память. Запомнился на всю жизнь.

От него веяло одиночеством и обреченностью. Долговязый, худой, нескладный, усталый, помятый, лысеющий, рассеянный. Все, что было при нем, - вместительная холщовая торба. Отца он называл непонятным тогда мне словом – коллега. Выпил стакан солодкового чая, сжевал кусочек хлеба, вежливо поблагодарил.

Меня поразил его взгляд. Он глядел невидяще, мимо, куда-то вдаль. В разговоре с отцом тускло обронил:

– Забирают в пятый раз. Устал...

Вот это «забирают» и царапнуло мое сознание. Как это – «забирают»? Куда? Зачем? Кто?

Тут-то я и заметил, что он не один. При нем какой-то хмурый, молчаливый спутник, такой невзрачный, что я на него-то и не обратил внимания. Потом лишь догадался, что этот невзрачный должен доставить долговязого в район. Долговязый чем-то не угодил властям, провинился, должно быть. Он лишь недавно был откуда-то выслан в аул за Ишимом, но и там не оправдал доверия, опять что-то не так сделал или сказал.

Пока казенный мерин, привязанный к таратайке, отдыхал, хрумтел сеном, долговязый сидел и, как заведенный, твердил на разные лады одну и ту же фразу, как бы разговаривал с самим собой:

– Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...

Произнесет негромко фразу – и усмехнется. Еще раз произнесет – и кусает губы, низко свешивает голову на грудь. И в третий раз произнесет – скорбно покачает головой.

Фраза мне понравилась – своим ладом, гордостью, величавостью, вызывающей уверенностью, но от того, как произносил ее долговязый, у меня мурашки пробежали по спине.

Огромный мир простирался вокруг, и солнце сияло ясно, но на душе долговязого творилось такое, что мне понять, постичь оказалось невозможно.

Мне хотелось, чтобы долговязый заметил меня, заговорил со мной, рассказал о себе. Но – чудилось – меня он не видел...

Через час-другой долговязый и невзрачный, усевшись на таратайке рядком, покатили дальше. Перед прощанием долговязый подозвал меня.

– Сколько тебе лет?

– Одиннадцать.

– По-русски читаешь?

– Немножко.

Долговязый задумался, порылся в холщовой сумке, извлек потрепанную книгу.

– На... Больше дарить мне нечего. Книга, пожалуй, тебе непонятна. Но подрастешь – поймешь. Мудрая книга!

Невзрачный покосился на книгу, но промолчал.

Покатилась таратайка в Марьевку. Я полистал книгу. Первых шестнадцать страниц в ней не было. Конца кажется, тоже. Принялся читать с середины – не увлекла.

А фраза – «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце» – неотвязчиво преследовала меня всюду, и я повторял ее вновь и вновь, интонируя ее так как это делал долговязый. Она звучала во мне как магическое заклинание.

Через несколько дней отец съездил в район за лекарствами и привез скорбную весть: долговязый в лежачем положении удавился на спинке железной койки в районной каталажке – КПЗ.

«Забирают в пятый раз. Устал...»

Потрясенный, я вновь начал читать потрепанную книгу без начала и конца, но она, действительно, была мне не по зубам.

Многие годы спустя, уже студентом, открыл для себя: это была книга Лиона Фейхтвангера и называлась она «Лже-Нерон». И то, что в ней говорилось, видно, перекликалось с тем, что видел, чувствовал, переживал этот нескладный, долговязый человек, бог весть чем и почему не угодивший всесильному режиму. И, должно быть, хотелось ему, чтобы со временем и я, тогдашний несмышленый аульный мальчуган, все это понял.

А ныне летом, в Ташкенте, в родительском доме, попался мне недавно изданный увесистый однотомник Константина Бальмонта. Я рассеянно полистал его, и вдруг знакомая фраза обожгла мою душу:

– Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...

И вспомнился тотчас тот долговязый из давнего детства, всколыхнулась память, подумалось о превратности человеческих судеб, о том, что каждый, кто является в этот мир, конечно же, достоин увидеть солнце, но – увы! – не всегда и не всем это суждено...

Ташкент,
1992

НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

Вольдемару ГЕРДТУ

I

Он был влюблен, влюблен, влюблен. И понял он это неожиданно и сразу в тот теплый летний вечер в городском саду. Любовь обволакивала его, окутывала, точно зоревой туман над Волгой, убаюкивала, будто ласковые волны реки в предзакатных лучах солнца. Любовь пришла к нему в ритме вальса, и все кружилось-кружилось вокруг в размеренном вальсе, звучавшем везде и всюду и в нем самом величественно, плавно, просветленно и чуточку грустно. Ах, как было сладостно, блаженно на душе!

Оркестр играл самозабвенно. Кларнеты выделывали немыслимые рулады, украшая мелодию нежными узорами; мягко вторили валторны; глухо урчал баритон; мерно отбивал ритм барабан. Раз-два-три...

Это был дивный вальс. И назывался он красиво, возвышенно, чуть таинственно — «На сопках Маньчжурии».

— Какая прелесть! — выдохнула она, кружась непринужденно.

И от близкого, легкого ее дыхания, от блеска ее глаз и ясной улыбки на приоткрытых пухлых губах у него еще сильнее кружилась голова, и он не ощущал себя, не чувствовал своих ног, а точно плыл, плыл в вязком, истомленном вечернем воздухе, и, казалось, этому сладостному мгновению не будет конца.

Der alte Walzer klang
Und meine Liebe sang
«Auf den Hügeln der Manshurai»...[1]

Он был юн, восторжен. Грезил стихами. Иногда и сам сочинял, но больше украдкой. Не хотел, чтобы в редакции немецкого радиовещания над ним потешались записные зубоскалы. Но созвучия преследовали его. Он упорно бормотал: велле — волна, люблю — либе, Эмилия — милая — Мильхен, блике — блик, музыка — музик... Все было музыкой. Даже чарующее имя любимой — Эмилия Зейме.

---

[1] Здесь и далее стихи В. Гердта.

Она улыбалась ему, открыто и обворожительно.

Ach, wie schön war die Nacht,
Die in Herzen entfacht
Unserer Liebe sonnigen Mai...

Густые сумерки шли с заволжских степей. Великая река дышала прохладой. Старые липы в городском саду источали упоительный дурман. Кружились пары. Сияли счастливые лица. Слышалась речь — немецкая, русская вперемежку. Франтоватый капельмейстер на подставке смотрел отрешенно вдаль, поверх оркестрантов, привычно отмеривал такт волшебной палочкой.

— Прелесть! — выговаривали ее губы. — Правда, Эдди-и?

— Эмилия, милая, милочка Мильхен, — зачарованно шептал он в ответ.

Остановись мгновенье! Ты прекрасно...

Oh, klinge traute Tanzmusik,
Verweile, schöner Augenblick!

Было лето 1941 года. В городском саду Энгельса духовой оркестр играл вальс «На сопках Маньчжурии».

II

Они встречались каждый день и удивлялись, как они обходились друг без друга до сих пор, как они вообще могли жить в таком жутком неведении друг о друге. Едва дождавшись конца работы, он бежал в Немецкий педагогический институт, находил ее в библиотечном зале, и они уходили вдвоем в сад, в кино, на пристань, чтобы не расставаться до глубокой ночи.

Они не могли наговориться, Эмилия из Крыма, из немецкого села со странным татарским названием, и Эдуард из крохотного заволжского хуторка Зонненфельд.

Перед расставанием они долго целовались. И с каждым днем поцелуи становились все страстнее, а объятия — все горячей. Она как-то умело и просто гасила его нетерпеливый порыв, охлаждала его пыл, слабо, с хрипотцой говорила: «Найн... найн», и он тотчас смущенно сникал. Тогда она тихо напевала мотив «На сопках Маньчжурии»,

и хмурь сходила с его лица, и они вновь щебетали, миловались, дурачились, как дети.

Unser Atem ging heiss
Und wir flüsterten leis
Von unvergänglicher Liebe...

Но оба догадывались: неизбежное их застигнет. Не миновать им того желанного и боязного мига, когда зов юной крови не заглушить, не обуздать трезвым рассудком.

Однажды субботним вечером они долго катались на лодке, потом тихо сидели на теплом песке у самого берега. Ночь была душная, томная. У ног их плескались волны. Тихо шелестел, струился под ними песок. По небу плыли облака, и от них на гладь воды падали, колыхаясь, диковинные тени.

Она обмякла от его поцелуев, перестала сопротивляться его настойчивым рукам...

Притихшие и смущенные, вернулись они в город под утро. И в душе их нежно и грустно звучала мелодия вальса «На сопках Маньчжурии».

Verweile, schöner Augenblick
Kling weiter, traute Tanzmusik.

III

Было воскресенье. Он проспал до обеда. Проснувшись, удивился странной тишине. Хозяева куда-то ушли. Черная тарелка на стене молчала. До вечернего свидания с Эмилией времени было еще много, и он зажмурился, вспомнив, живо представив все, что произошло с ними прошедшей ночью. Он вновь почувствовал в себе торжествующую радость и упругую мужскую силу, вновь его укутал сладостный дурман любви, и звучали, пели в нем, в каждой клеточке печально-томительные и светлые звуки вальса — о неведомых сопках таинственной страны Маньчжурии.

В дреме он и не заметил, как вошла Эмилия. Она была бледна и заплакана.

— Ты ничего не знаешь?!

Голос ее прозвучал странно, деревянно.

— А что случилось?

Он потянул ее к себе, она отстранилась. Покосилась еще раз отчужденным взглядом, проронила:

– Война...

Музыка в душе вмиг оборвалась.

IV

Тихий, уютный городок сковала тревога. Духовой оркестр в саду смолк. Разноречивые слухи шелестели по углам. У военкомата целыми днями толпились добровольцы. Гремели митинги: «Враг будет разбит. Победа будет за нами!» Тут же, прямо на митинге, записывались на фронт. Сумрачные волны бились о волжский берег. Кудлатые тучи метались по небу с востока на запад и с запада на восток. От протяжных гудков с пристани замирали сердца.

Протерев до блеска значки «ГТО второй степени» и «Ворошиловский стрелок» на вельветовой куртчонке, Эдик Шиллинг тоже отправился в военкомат. «Повремените», – сказали ему. Тогда по заданию редакции он подался в степные кантоны, чтобы подготовить серию репортажей о трудовой вахте Автономной республики немцев Поволжья.

В родное крымское село с потешным татарским названием Эмилия не пробилась.

Звучало грозно: «По закону военного времени».

Появилось новое слово: «трудмобилизация».

V

И обрушился на немецкие города и села Поволжья с черной вестью черный четверг – 28 августа 1941 года. Черным смерчем кружились по Энгельсу смутные слухи, но никто толком ничего не знал. Два дня спустя, в субботу, у входа в радиокомитет Эдика встретили озабоченные энкавэдэшники. Сотрудников-немцев проверяли особенно придирчиво, Было объявлено, что передач на немецком языке отныне не будет. Неподалеку у киоска толпились возбужденные люди. Газеты «Большевик» и «Нахрихтен» раскупались мгновенно. В мирной уютной автономии черной бомбой взорвался черный Указ. Каждое слово Указа сражало наповал. «По достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и де-

сятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья».

Хотя у лжи и ноги короткие, но туловище уродливо длинное. Предложения Указа были длинные и неуклюже громоздкие. И тянулись, будто тонкая кишка. Газета «Большевик» стоила пятнадцать копеек. Указ не стоил и ломаного гроша. А беды он принес неисчислимые. Радиация его поражала людские души на многие поколения вперед.

Но о том в ту субботу, в предпоследний день августа 41-го, еще никто не знал и не догадывался.

Недоумение застыло в глазах трехлетних малышей и восьмидесятилетних старцев. Кто диверсант? Кто шпион? Где они, десятки тысяч? Какой сигнал? Какие взрывы?

Ложь. Все ложь. Большая большевистская ложь в лживой газете «Большевик».

VI

Ураган Указа разметал немецкий люд Поволжья, точно палые листья в осеннюю непогодь. Эшелон за эшелоном отправляли, вы-се-ля-ли скорбный, униженный народ, в Сибирь, в глухомань, в степь, в леса, в стынь, в голод, к черту на куличках, в тартарары, на погибель, в смерть...

В синих сентябрьских сумерках под открытым небом, в степи, в томительном ожидании эшелона навсегда прощались безутешные Эдуард и Эмилия.

Горе лишило их речи. Они стояли в обнимку в стороне от скопища людей у железнодорожного полотна. До них доходил приглушенный гомон, но они ничего не слышали. Вдали вспыхивали, мерцали отблески костров, но они ничего не видели. Эмилия думала о своих родителях, братьях и сестрах, многочисленной родне, оставшихся там, в Крыму, в немецком селе с татарским названием. Больше месяца не было от них вестей, а теперь она уезжает в неведомые края вместе с хозяевами, на квартире которых жила уже два года. Эдуарду тоже не удалось вырваться напоследок в родной Зонненфельд, и он не знал, куда, в какие края, каким эшелоном отправили многочисленных Шиллингов, не смог проститься с отцом, с матерью, с любимой, души в нем не чаявшей бабушкой. И ехал вме-

сте с сотрудниками, с их семьями, считай, один-одинешенек, с чемоданчиком и баулом.

Им — Эдуарду и Эмилии - не суждено было даже ехать в одном эшелоне. Не положено. Не муж и жена. И приписаны к разным эшелонам. Должно быть, и отправят в разные края.

Молчали. Думали. Скорбели.

— Эдуард... Эд-ди-и... Эдик... Может, еще встретимся? — с дрожью в голосе в который раз вопрошала она.

— Встретимся непременно, Эмилия... милая... Мильхен,— утешал он ее.

Со степей налетал временами неприкаянный ветер. Пахло сырью и нежитью. Дивные звуки вальса «На сопках Маньчжурии» угасли.

Dann vertrieb der August
Uns zum tanzen die Lust:
Ich musste am Bettelstab gehn,

Und mein Schatz blieb zurück
Mit Verzweiflung im Blick
Um uns nimmer wieder zu sehn.

VII

Нет, не навсегда. Встретились еще дважды. Так было угодно слепой судьбе.

Зимой сорок третьего года, в суровом Красноярском краю, на лесоповале, за колючей проволокой, сопровождаемый на работу и с работы вооруженной охраной, с овчарками, вконец истощенный, изнуренный непосильным трудом и постоянным голодом, он, как ему чувствовалось, доживал последние дни. Он видел, как каждый день десятками и сотнями умирали вокруг его соплеменники, бедолаги-трудармейцы, такие же, как он, униженные, растоптанные, обреченные на муки лишь за то, что имели несчастье родиться в России немцами. И он почти что смирился с неизбежным, с тем, что не сегодня-завтра и он рухнет в сугроб возле недопиленной лиственницы или по пути «домой» в промерзлый, промозглый барак, а, может, окочурится ночью на нарах и будет там лежать день-два, пока бригадир не спохватится, не вызовет похоронщиков, и те не выволокут его остывший труп, не оттащат в закуток за складом, откуда потом, проломив для пущей убе-

дительности череп кувалдой и нагрузив их, отмучившихся, на сани, точно дрова, не вывалят в траншею, наспех вырытую еще осенью по теплу, неподалеку в глухой тайге. Что ж... не он первый, не он последний. В душе его все помертвело, выгорело, ни баланда, ни несчастные четыреста граммов недопеченного хлеба, ни даже прогорклый отвар, которым пичкал его сердобольный дядюшка Иоханнес, старичок из знакомого поволжского села, ничего уже не могло его спасти. Он находился на зыбкой черте жизни-смерти. И все вокруг лишилось смысла.

Он все еще не имел вестей от родных. Он знал, что вокруг их лагеря, в двадцати-сорока километрах, находятся колхозы, в которых обитают немало немцев-спецпереселенцев с Волги, жены, дети, родители тех, кого забрали в начале 42-го в трудармию. Некоторые женщины бог весть какими путями находили своих мужей, братьев, родственников в лагерях, с превеликим трудом, нередко рискуя жизнью пробивались к ним, ловко обходили охрану, по нескольку дней хоронились в лесу, чтобы, улучив момент, проникнуть туда, на лесоповал, увидеть родных, подбодрить, передать весточку и тощий сверток с хлебом, с салом, маслом, выменянными на последние шмотки. Далеко не всегда это удавалось. Но каждое такое свидание было чудом. О нем потом долго и обстоятельно, со всеми подробностями говорили в бараках. Но большинство бедолаг на такое чудо не рассчитывало. Не на что было надеяться и Эдуарду. По всему видать, из бывшего Зонненфельда во всем этом заснеженном краю не было никого.

Но чудо произошло.

Был тусклый, морозный день. В глухом лесу, по пояс в снегу, с тупым усердием валили могучие сосны изможденные трудармейцы. Немую стынь нарушали лишь натруженное повизгивание пил да тупой перестук топоров. Время от времени взвивался надсадный хрип: «Бо-о-ойся-я-я!», после чего студеную тишь с нарастающим, гибельным гулом взрывал вдруг тяжкий грохот, казалось, земля издавала утробный рык или стон, снег вздымался огромным белым облаком и медленно, мучительно долго оседал, точно засыпал, захоранивал еще одну жизнь.

— Слушай, тебя там... какая-то фрау спрашивает,— сказал окутанный снежной нависью дядя Иоханнес.

— Где?.. Какая еще фрау? — Эдик сумрачно глянул на своего опекуна.

— Тихо, тихо... Возьми себя в руки... Вон, за ольшаником.

— Не-е... Не ко мне.

— Чудак! Здесь ведь нет другого Эдуарда Шиллинга.

— Не думаю.

— Значит, тебя и разыскивают. Подойди незаметно... чтоб охранник не видел... Он там, у костра, греется.

Поодаль, в низине, в зарослях ольшаника, закутанная в немыслимое тряпье, в огромных валенках на резиновой подошве, неподвижно стоял призрак. Эдик, пугливо озираясь, спросил:

— Вам... вввам... кого?

Призрак шевельнулся, недоуменно развел руки, вымолвил:

— Ах гот... либер хайланд... Эди... это ты-и?!

Только по голосу, по врастяжку, нараспев произнесенному «Эд-ди-и...» он узнал ее.

Это было невероятно, немыслимо, невозможно. Только своевольная судьба способна на такие игры с бедными людьми.

Они обнялись и заплакали. И плакали долго, беззвучно, безутешно, как плачут обиженные жестоко и невинно дети.

И не было слов. Говорили лишь взгляды. И проникали они до самого донышка поруганной души.

Русское село, в которое попала с несколькими семьями поволжских немцев и Эмилия, находилось всего лишь в двадцати километрах от зоны. Трое спецпереселенцев очутились в лагере из этого села, и жены вскоре разыскали их. От этих женщин, порасспрашивав, Эмилия узнала, что в лагере, насчитывающем более двух тысяч немцев-трудармейцев, валит лес и ее Эди. Да, именно ее Эди, ибо он был Шиллингом и поначалу в бараках, случалось, в задумчивости тихо выводил, напевал себе под нос вальс «На сопках Маньчжурии». Почему-то только всегда этот вальс, и всегда тихо, задумчиво, про себя. Правда, вскоре умолкал.

И Мильхен на свой страх и риск засобиралась в путь. Она нашла-таки его и передала ему все, что сумела накопить, собрать, достать в том русском таежном селе, — крохотный сверток с салом, маслицем и голубикой.

Этот сверток и спас ему жизнь, уберег от страшной доли «доходяг», среди которых лишь немногим удавалось выкарабкаться из гибельных тенет. А, может, спасли его

та мимовольная радость, тот слабый лучик утешения и надежды, которыми одарила своим нежданно-негаданным явлением его ангел-хранитель в облике возлюбленной Эмилии Зейме.

VIII

А в самых высоких верхах вождей было решено, что одноразовое выселение несчастных – мало. Добить людей можно лишь двойной, тройной депортацией. Пусть знают до седьмого поколения, что такое подлинная большевистская кара. Выселять, выселять все это фрицево отродье! Все выше, все дальше, туда, в заполярный круг, в вечную мерзлоту, на край земли, где и солнца-то не видно. И отлучив насильно детей от матерей, а подростков, подлеток – от стариковского догляда, погнали несчастных немок – женщин и девушек – в те же лагеря, в шахты, на каменные карьеры, на прокладку дорог, на секретные военные участки, в рыболовецкие артели на безлюдные, дикие острова.

Ранней весной сорок третьего, едва очистился Енисей ото льда, повезли катером и Эмилию вместе с неутешными детными вдовами и бездетными молодками в жуткую глухомань... Там и промаялась долгие годы в рыболовецкой бригаде, почти не снимая грубую брезентовую робу и громоздкие резиновые сапоги с раструбами. И от сетей, от багров и весел покрылись ее руки кровавыми волдырями, а от сырости и вечной стыни ломало невмоготу спину и нестерпимо ныли кости.

И то, что было, – не было. Не было. Не было ничего.

Zertreten war das Liebesglück
Vorbei der schöne Augenblick

IX

И прошли – где вскачь, а где волоком – многие-многие годы, десятилетия, целая человеческая жизнь. Или нежизнь. Кому – как...

Судьба, поистине, играет человеком. Встретились на долгожданном, нервном, напряженном, порою бестолковом и откровенно дрейфующем первом съезде советских немцев в Москве. Теперь уже в последний раз.

Эдуарда избрали в мандатную комиссию от Алтайского края. И в перерыве она подошла к нему, посмотрела растерянно-смущенно, сказала:

– Здравствуйте, Эдуард Францевич!

Получилось излишне громко, официально, со значением, и он невольно вгляделся в нее, замигал-заморгал, захлопал ресницами, ответил рассеянно:

– Здра...вствуй...те-е...

И тут она протянула руку, улыбнулась.

– Эмилия Вильгельмовна Зейме. Может, помните?

– Как?.. Ка-ак?! Эмилия...

– Да, она самая.

И он порывисто, неумело ее обнял...

Узнали друг друга с трудом. Поначалу глядели друг на друга даже отчужденно, отстраненно, недоверчиво. Действительно, в сухопаром, седом мужчине с глубокими бороздками вдоль щек, со скорбным, как бы отсутствующим взглядом мудрено было узнать того легкого, курчавого, с восторженно-веселыми глазами парня в вельветовой куртчонке со значками «ГТО второй ступени» и «Ворошиловский стрелок». И в приземистой даме с подкрашенными в рыжий цвет, химической завивки, волосами, с размытыми расплывшимися чертами лица, с сеткой морщин у глаз, с тяжеловатой фигурой непросто было разглядеть девушку с расширенными серыми зрачками и с пушистой русой косой.

...Вечером, в гостинице, в сумрачном буфете, за одиноким столиком у закуточка за бадьей с фикусом, они долго беседовали. И глубокий ров, прорытый годами и неведомой друг другу жизнью, постепенно исчезал, берега сближались, и душа, высветленная памятью, оттаивала, отогревалась.

– Разве обо всем расскажешь?.. Да и неинтересно, Эди...

– Мне интересно... Говори, Мильхен.

– Что рассказывать? С чего начать?

– Замужем?

– Была. Дважды.

– Вот как?!.. А осталась Зейме?

– Была, представь, Шнайдер. Его задавило в шахте. В Норильске. Потом стала... Зелепукиной. Думала, русский муж – спасение. А он спился. Решила: хватит и восстановила свою фамилию.

– Есть дети, внуки?

– И дети, и внуки. От Шнайдера сын, Арно. От второго – дочь, Марина. А внуков пять.

– Хорошие дети?

– Жаловаться грех. Арно уже пятый год в Германии. Меня приглашает. А мне Марину оставить жаль. Она русская, муж – татарин. Внуки – прелесть!

– Сама же воюешь за автономию?

– Нет не воюю. Навоевалась. Съездила на Волгу. Осмотрелась, поняла. Прошлое не вернешь.

– Да-а... А братья, сестры?

– Трое братьев и две сестры в трудармии погибли. Родители с голоду умерли. Осталась одна из всей семьи. Похоронены кто где – в Свердловской области, Красноярской, Архангельской, в Казахстане... А у тебя?

– То же самое. Считай, из всего рода Шиллингов один уцелел. Всех поглотила трудармия. И тоже похоронены по всей стране.

– Как это забыть, Эди?

– Никак невозможно, Мильхен...

– Жена кто?

– Русская... И дети записаны все русскими. Считали, так лучше. Теперь жалеют.

– Никто не уехал.

– Собираются... Двое здесь. Антраги заполнили.

– Я заметила: половина из тех, кто на съезде, заполнили антраги.

– Да... готовятся к выезду, а об автономии орут больше всех. А некоторые приехали на съезд, а околачиваются у посольства.

– А сам?

– Исключено... Не чувствую Германию своей этнической родиной. И уезжать не могу, и оставаться тяжко.

– Это так... Ты прав... И там, сказывают, не больно мы нужны.

– Волгу, Мильхен, вспоминаешь?.. Институт, городской сад, пристань...

– Редко. Чего душу-то бередить?

– А духовой оркестр в саду? Вальс «На сопках Маньчжурии»?

– Не надо, Эди... Какой уж вальс?

– А я, веришь, только это и вспоминаю. Все остальное... помнишь... в лесу, на лесоповале... Не явись ты тогда, словно в сказке, я бы погиб. Точно!

– Не надо, Эди... Прошу тебя. Это – другая жизнь.

– Верно: другая.
– И мы – другие.
– Да. Другие.
– Прости, Эди...
– Прости и ты, Мильхен...

...Прошли – где вскачь, где волоком – многие-многие годы, десятилетия, целая человеческая жизнь. Или нежизнь. Кому – как... И оставили эти годы зарубки на сердце, которые никаким живительным бальзамом не изгладишь.

X

Над несуразной огромной страной, над разноязыкими племенами и народами тяжелым катком прокатились эпохи. Их называли по-разному: тоталитаризм, волюнтаризм и субъективизм, развитой социализм, застой-запой, перестройка-катастройка, эпоха выживания. И бушевали над эпохами ветры времени. Сколько человеческих судеб перемололи, раздавили, удавили, задушили, заморозили, заморочили, изуродовали эти эпохи!

Эпохи сменялись – жизнь ухудшалась.

Разлад. Распад. Судорога. Хаос.

Von Verfolgern gehetzt,
Muв ich, Jesu, bis jetzt
Ein Brandmal als Geissel tragen.
Warum hat das Geschmeiss
Mich auf Stalins Geheiss
Lebendig ans Kreuz geschlagen?

XI

В глухой алтайской деревне угасал изможденный, иссохший Эдуард Шиллинг.

Entschwunden ist das Liebesglück,
Die Schwalbe bringt es nie zurück.

Ветер времени обнажил, а потом и вырвал корни жизни. Вырвал и разметал по низовьям и верховьям унылого бытия.

Так что же было? Ложь и боль. И это – жизнь? В этом – все? Жил ли он? Или отбывал повинность? Не было ответа.

В алтайском поселке тихо угасал одряхлевший от жизни и хворей Эдуард Шиллинг. И было так худо, так тяжко оттого, что чувствовал он себя пронзительно одиноким, никому не нужным. Он подолгу лежал, смежив веки, почти не дыша, и силился вспомнить прожитые годы, но тщетно; однообразная серая лента размазывалась, прокручивалась в его сознании, и от неясных очертаний на ней становилось и вовсе грустно. И лишь иногда вспыхивали в меркнущем мозгу яркие блики, дивные видения, будто в прекрасном сне, и он отчетливо ясно видел родную, уютную деревню Зонненфельд, песчаный волжский берег, безбрежную синь, городской сад со стройными липами, и тогда в душе просыпались звуки – чарующая мелодия бессмертного вальса «На сопках Маньчжурии». Вслед за этими звуками грезились ему в голубом тумане милые очертания девичьего лица, чистого, юного и восторженного, открытого любви и счастью. «Эд-ди-и, – слышалось ему сквозь годы и расстояния. – Эд-ди-и...» И хотелось ему откликнуться на этот зов: «Эмилия... милая... Мильхен...», – но сил уже не было...

1993

И ПРОБИЛ ГОРЬКИЙ ЧАС ПРОЩАНИЯ

I

В тяжкой старческой полудреме он одним лишь глазом, подслеповато покосился на багряную луну, одиноко плывущую над Рисовым базаром неподалеку, и почувствовал неодолимое желание завыть. Завыть исступленно, самозабвенно, чтобы хоть ненадолго заглушить нестерпимую, саднящую боль и смертельную тоску, иссушившую все его существо уже целую вечность – днем и ночью. Но он подавил в себе это острое желание, только поскулил негромко, жалобно, как обиженное дитя, и судорожно зевнул.

Ночь стояла оглушительно тихая. Временами налетал ветерок, шелестел пожухлыми листьями на деревьях, шарил в кустах. Луна равнодушно взирала с вышины, и ей не было дела до собачьего горя. Он кинул быстрый взгляд в сторону входной двери приземистого, под железной крышей, дома, чтобы убедиться, не проснулся ли его новый

хозяин, презренный коротышка, а еще хуже — его толстая, сварливая баба в вечно засаленном халатике и грязных отопках. Коротышка имел привычку, услышав лай, вой или грохот, выскакивать по ночам во двор, ошалело озираться по сторонам, высматривая померещившихся грабителей, потом, успокоившись, пятерней скреб впалую волосатую грудь, призывал к себе пса и долго мочился, норовя вонючей струей непременно угодить в него. Почему-то это доставляло ему удовольствие. Вслед за ним, случалось, выбиралась из дома его дородная баба, лохматая, опухшая, грудастая, сонно выглядывала из-за мужа и тут же, прямо возле порога, приседала, оголив на мгновение необъятный белый зад.

Рекс с омерзением отходил в глубь сада, наливаясь еще большей ненавистью к своим новым хозяевам.

На этот раз обошлось. Видно, его нечаянный скулеж не нарушил сна чуткого коротышки.

Рекс положил морду на лапы и вновь погрузился в дрему.

II

Боль и обида терзала Рекса в последнее время неотступно. С той самой поры, когда его бывшие хозяева, в которых он души не чаял, с тюками, баулами, сумками покинули однажды родную усадьбу.

Сборы были долгими и мучительными. Пес наблюдал за этими хлопотами со стороны, смекнув, что хозяева на распутьи, как бы враз остыли к своему так славно обжитому очагу, явно надумали уехать и — судя по всему — далеко и навсегда. Он изо дня в день видел, как хозяин — костлявый, долговязый старик — топтался по двору озабоченный и сумрачный, заглядывал во все углы огорода, летней кухни, мастерской, курятника, сараюшек, навеса, рылся в ящиках, перебирал разную слежавшуюся, пропахшую плесенью и пылью рухлядь, подолгу застывал, держа в руке уже ненужные теперь то вилы, то лопаты, то топор, то кетмени и ломы и вздыхал, потерянно оглядываясь вокруг. Мудрый Рекс чувствовал, как тяжело, должно быть, на душе старика, как больно было ему расставаться со скарбом, нажитым с такой любовью и тщанием за долгую-долгую жизнь, с домом, садом, всем-всем, что окружало его и имело свой смысл и назначение. Он тихо

сопереживал хозяину, не зная, как ему угодить, как утешить, как унять, развеять его душевную смуту.

Рекс наблюдал из-за своего закутка, как приходили незнакомые люди, оценивающе присматривались к подворью, заходили в дом, в сад, иногда уходили сразу, досадливо махнув рукой, иногда подолгу спорили с хозяином, случалось, забирали с собой какие-то вещи, грузили на машину и увозили. И пес заметил, как маялся старик всякий раз, обреченно разводил руками, и тогда, чтобы утешить его, подходил к нему, виновато помахивая хвостом-метелкой, жался к его ногам, тыкался мордой в его костлявые колени. И хозяин благодарно гладил его по голове, похлопывал по хребтине, и пес млел от радости и жалости одновременно.

III

Перемену в настроении жильцов Рекс уловил еще ранней весной. Она, как всегда, обрушилась сразу. После затяжных кислых туманов вдруг весело повалил с утра снежок, припорошил все вокруг, выбелил, но уже к обеду растаял. Потом несколько дней кряду лили дожди, почти без передышки, а далее так чисто заголубело небо, так ярко засверкало солнце, щедро поливая размороженную землю теплыми струями, так ошалело запели-загорланили петухи по всей махалле, что все-все мгновенно пробудилось ото сна, ожило, встрепенулось, взбодрилось. Особенно действовали на собачьи нервы задурившие коты. Они шастали в кустах, упруго взбирались на крыши и так бесстыже мяукали на все лады, так осатанело надрывались, что Рекс возненавидел их, похотливых тварей, до лютости.

Старик целыми днями хлопотал в саду, убирал мусор, копал землю, разбивал грядки, чистил арычки, вбивал колышки, белил стволы яблонь и урючин, и никто ему не помогал — ни дочка, ни внучка-белоручка, ни егозливый внук. Наоборот, дочь иногда бурчала на отца, отчего-то злилась, даже голос повышала, и тогда старик зашвыривал в сторону грабли или кетмень, хватался за голову и удалялся в дом. Внучка, взрослая девица, всегда нарядная, ухоженная, казалось, вообще ни во что не вникала, приходила откуда-то, помахивая импортной сумочкой, пила чай и вновь куда-то уходила, будто на нескончаемый праздник. А внук, приходя из школы, куролесил по

двору, приводил ватажку сорванцов, раздаривал им в приступе щедрости налево-направо свои пожитки – велосипед, самокат, приемник, значки, арбалеты, альбомы, книги, разные игры. Дай ему волю, он бы наверняка всю ограду отдал закадычным дружкам да еще и Рекса в придачу. Рекса он иногда крепко обнимал за голову, стискивал ему челюсти, дышал ему в ноздри и, буравя его шальным взглядом, говорил: «Ну, что, дурачок, остаешься? А? Оставайся, дурачок!... А мы уедем, уедем... в далекие края». Рекс смотрел на шалуна с недоумением, не понимая, то ли жалеет его, то ли пугает...

IV

Сборы были долгими, а прощание – коротким и неожиданным. Накануне вечером во дворе накрыли стол, пришли соседи и еще какие-то люди. Застолье получилось грустным. Никто не пел, не плясал. И говорили приглушенно, мало, как тогда, в тот черный майский день, когда вынесли со двора хозяйку, лежавшую в длинном черном ящике. Рекс в своем закутке, куда его увели, печально наблюдал за застольем. Дочь хозяина вдруг ни с того, ни с сего разревелась, размазывая краску по щекам; сын ее, неугомонный озорник, тоже притих, пригорюнился, прижался к матери; внучка-красавица, нарядная, с распущенными волосами, томно щурилась в пространство и кривила губы, усмехалась. Она, должно быть, уже пребывала в том прекрасном, взлелеянном в мечтах, сказочном мире, куда уже давно тянулась душа, и потому все, что происходило здесь, во всех ближних и дальних махаллях, и тем более в ее родном тупике, она воспринимала отчужденно, с нескрываемым презрением. А старик вдруг вскочил, приложил платок к глазам, гулко высморкался, удалился в сад. Рекс помертвел, зажмурился. По глубоким черным бороздкам на узкой его морде потекли горячие собачьи слезы.

Потом гости разошлись, дочь хозяина с красными и воспаленными от слез глазами мрачно убирала со стола, внучка уселась в кресло под виноградником с транзистором на коленях, слушала нездешние мелодии, ловила кайф, томно улыбалась. Ночью в кухне горел свет, и Рекс видел, как старик сидел за своим столом-тумбочкой и, низко склонившись, что-то строчил, строчил в толстой тетради.

Утром, чуть свет, старик снова был на ногах, обошел, осмотрел все подворье, постоял в саду, рассеянно погладил пса, ежеминутно сморкался, вынес из дома и выставил на скамейку возле колонки всю поклажу, и Рекс окончательно убедился, что хозяева уезжают. Понял он также, что его оставляют здесь, что его девать просто некуда и от сознания своей ненужности, от смущения пес старался держаться незаметней, в сторонке, ибо безошибочно чувствовал, что стал отныне обузой.

Потом хозяева ушли. Рекс лежал под столом, наблюдая из-за своего укрытия, надеялся, что его все же заметят, обласкают на прощание, но видно, в суматохе о нем совсем забыли. Первой вышла за калитку внучка в шикарном брючном костюме, с нарядной сумочкой на плече, с небольшим саквояжем, за ней — дочь хозяина, волоча за собой тележку, груженную баулом и сумками, последним, сильно хлопнув калиткой, заполошенно выскочил внук-сорванец с рюкзачком за спиной. У Рекса зачесался нос, будто пыль набилась в ноздри. Он лапами нервно провел по морде, хотел было вслед рвануться к калитке, но удержался, проявив достоинство и деликатность. И тут калитка вновь оглушительно хлопнула, пулей влетел во двор внук-озорник, закричал:

— Рекс! Рекс!.. Сюда!..

Пес послушно из-под стола, смущенно и счастливо подошел к внуку. Тот порывисто обнял его за шею, прижался щекой к его морде, заглянул в глаза, горячо сказал:

— Прощай, дурачок! У-у-у... все, все! Больше не увидимся. Понял? Понял?.. Ничего ты не понял, дурачок. Прощай, говорю. На!

Внук достал из кармана курточки конфетку, запихнул ее в пасть пса, еще раз больно потрепал его за уши и выбежал со двора.

Рекс приличия ради выдержал еще мгновение, потом подошел к калитке, встал на задние лапы, потянулся к хорошо известной ему щели в дощатом заборе, выглянул. По узкому, неровно вымощенному ущелью-тупику уходили его хозяева. Дочь и внучка уже дошли до поворота и свернули на улицу. Их, спотыкаясь, догонял внук. Замыкал шествие старик, волоча за собой тележку с поклажей. У поворота старик остановился, оглянулся, и у пса помимо воли радостно заходила-затрепетала метелка хвоста, забилось сердце. Ему на миг почудилось, что старик завернет сейчас назад. Но старик не двинулся с места. Вы-

прямился, снял шляпу и низко поклонился в сторону калитки, и псу показалось, что хозяин ищет его. Он тихо взвизгнул, царапнул когтями калитку, забил хвостом, нетерпеливо перебирал ногами, а старик все стоял, как вкопанный, и вытирал носовым платком глаза. На миг показалась из-за угла дочь, послышался ее укоризненный голос:

– Ну, папа!.. Опоздаем же!..

Тут же нарисовалась в проеме тупика и внучка, врастяжку, гнусаво протянула:

– Хватит, деда, комедию ломать... Пошли!..

Старик еще сильнее сгорбился, послушно поволок тележку за собой, скрылся за поворотом. Рекс постоял еще некоторое время у калитки, все глядел-глядел в щель. Хвост его обвис. Ноги от напряжения дрожали. Боль и тоска стиснули грудь. Он отвернулся, постоял у колонки, понуро свесив отяжелевшую голову, и не знал, как ему теперь жить дальше. Потом побрел в сад, чтобы остаться наедине со своим безмерным горем.

V

А какие беззаботные, шумные и веселые бывали времена! Как славно жилось всем на этой усадьбе и ему, Рексу, – тоже! И было это совсем недавно... Свою жизнь до того, как он появился на этой усадьбе, пес не помнил. Смутно он запомнил лишь тот весенний солнечный день, когда хозяин – рослый, сухощавый старик – притащил его, еще несмышленого щенка, во двор в рюкзаке с базара. Он стоял посреди двора в окружении домочадцев, все с любопытством разглядывали его, что-то друг другу доказывали, поставили перед ним блюдечко с молоком и хлебным мякишем, а он дрожал, дергал хвостиком, озирался, ничего не соображая. Потом его попеременно брали в руки, щупали, тискали, прижимали к себе, и щенок тыкался в них влажной мордочкой, благодарно ощущая любовь и ласку.

Он быстро подрос, окреп, превратился в ладную веселую собаку неопределенной породы – скорее всего, помесь среднеазиатской овчарки с дворнягой, с густой рыжей шерстью на подгрудке и ляжках, с гладкой вытянутой мордой, с подпалинами под брюхом, с умными, все замечающими темными глазами подо лбом. Так же быстро он освоился, привязался ко всем домочадцам, вызнал их манеры и повадки, обследовал все уголки, закутки большо-

го подворья, стал понимать, чувствовать, угадывать малейшие желания хозяина и беспрекословно, с радостью прислуживать ему. Его все любили, и он полюбил всех. Большой костлявый старик, играя с ним, превращался в озорного мальчишку, прыгал и бегал вместе с ним, приучал ходить на задних лапах, боксировать, высоко подпрыгивать, ловить на лету мяч, приносить далеко заброшенную палку, разгонять слетавшихся на деревья в саду наглых и обжорливых афганских скворцов, громко лаять, если кто приближался к калитке. Дурашливо резвился с ним и маленький внук хозяина, но иногда ни с того ни с сего дергал его за хвост, трепал за уши, щипал и тискал его больно, и псу это было неприятно, но он терпел глупые выходки малолетнего озорника-тирана.

Пес почувствовал ко всем неуемную привязанность. И особенно к хозяину. Ведь он дал ему кров, кормил, ласкал, обихаживал его, и псу казалось, что он жил здесь всегда, с самого появления на белый свет, что другой жизни нет и быть не может, что на земле царят любовь, нежность, радость, и счастью этому не будет конца. Усадьба была ухоженная, просторная, и все, что было в ней, имело свой смысл и значение, все подчинялось некому раз и навсегда заведенному, твердому и надежному, казалось бы, незыблемому распорядку. И дом был веселый. От него веяло уютом, добром, благополучием.

К имени своему – Рекс – он привык сразу, с первого дня.

По душе Рексу пришелся общительный, компанейский нрав домочадцев. Усадьба никогда не пустовала. Разноликий люд стекался сюда зимой и летом. И, чувствовалось, все искренне радовались друг другу. Особенно многолюдно становилось на подворье летом, когда приезжал сын хозяина с женой. О, тогда съезжалось столько людей – дети, внуки, родственники, знакомые хозяина, проводились шумные застолья, громко играла музыка, иные пускались в пляс, горланили песни и пес видел, как всем хорошо, приятно, как ладно и согласно все живут, как внимательны друг к другу и как счастливы хозяин и хозяйка этим многолюдьем, как рады этому безмятежному гомону.

Приезд сына хозяина превращался для пса в праздник. Еще до рассвета, когда только истаивала предутренняя сутемень, пес терпеливо дожидался его у порога входной двери. Сын хозяина вставал очень рано, пес улавливал скрип зальной дверцы, и хвост его мимовольно начинал

радостно колотиться. Сын выходил во двор и неизменно приветствовал пса:

– Здравствуй, дорогой... Мо-ло-дец!.. Умница!

Потом он направлялся в сад, к деревянной постройке в глубине, и пес опрометью несся впереди, разок обегал сад, отрывисто взлаивал, грозно разгоняя всю нечисть на пути хозяйского сына по узкой асфальтированной дорожке. Вернувшись из сада, сын хозяина с удовольствием возился с псом: заставлял его бегать по кругу, подбадривал, ярил, теребил, разгоняя сонную одурь и горяча кровь; потом запыхавшийся пес понарошку кидался с разбега на него, угрожающе рычал, а сын хозяина отталкивал, отпихивал его от себя, похохатывал, возбуждал: «Давай!.. Давай! Ага! Ага! Вот так! Вот так!» Пес понемногу шалел, приходил в неистовство, набрасывался все круче, все более упруго, начинал забываться, тогда сын хозяина коротко приказывал:

– Стоп!.. Довольно! Все!..

Пес тотчас смирялся, вставал на задние лапы, виляя задом, кружился вокруг, будто пританцовывал, потом клал передние лапы на грудь сына хозяина, вытягивал морду, ожидая ласку. И сын хозяина гладил его, приговаривая:

– Ай, хороший... Хо-о-ро-о-о-ший... Умница!

Пес улыбался, щерил пасть, вываливал розовый влажный язык, жмурил глаза, ронял обильную слюну, и млел от счастья.

– Все, дорогой... хватит! Делу – время, потехе – час.

И пес деликатно отступал, наблюдал со стороны, как сын хозяина долго мылся под колонкой, брился, потом садился за большой стол под навесом, раскладывал бумагу и долго писал, пока не приглашали его завтракать.

Ах, славное было время! В положенный срок сын хозяина уезжал надолго, иногда на целый год, потом вновь приезжал, и опять во дворе становилось многолюдно и весело, опять играла музыка, опять происходили шумные застолья, все плясали, хохотали, горланили, и все также любили друг друга и пса тоже.

Так проходил год за годом. Сменялись много-много раз зима и лето, а на усадьбе и в доме в тупике закоулка, казалось, ничего не менялось, все происходило точь-в-точь по однажды твердо заведенному порядку.

Ничего не предвещало беды. Казалось, так будет всегда. И даже чуткое сердце Рекса не ощущало приближения неотвратимых печальных перемен.

VI

Во время томительного ожидания у двери таможни в аэропорту старику стало не по себе. Досмотр никак не начинался. Было душно. Время остановилось. Старик ежеминутно извлекал из кармашка безрукавки тяжелые серебряные часы с гравированной крышкой, подарок бывших сослуживцев к восьмидесятипятилетию, подолгу глядел на циферблат, но даже секундная стрелка двигалась едва заметно, как бы нехотя.

Сердце учащенно колотилось. Тошнотная слабость подкатывала к горлу. Мысли мешались. Ноги стали ватными. Ломило в пояснице.

Ну, куда, куда, куда он летит? Зачем, зачем, зачем? Кто его гонит с насиженного места? Что он там, в далекой и чужой ему Германии, потерял? Кто его там ждет? Племянницы-пенсионерки или их детки-полукровки — седьмая вода на киселе? Какая нужда заставила его на старости лет податься в чужие края, именуемые прародиной?

Ответа не было.

Дверь контрольного пункта все не открывалась.

Старик оглянулся. Вокруг томились еще пятнадцать-двадцать бедолаг с баулами и сумками, чемоданами и узлами в ожидании таможенного осмотра. По облику и постному выражению лица он признал в них соплеменников. В любое другое время и на другом месте он не преминул бы вступить с ними тотчас в разговор, выяснил бы первым долгом, кто откуда родом, заговорил бы на муттершпрахе, о себе бы поведал, но сейчас не было никакого желания разводить какие-либо тары-бары. Более того, он отчужденно, даже с неприязнью покосился на потенциальных аусзидлеров (тьфу, словцо-то какое противное!), ухайдаканных бесконечными хлопотами, связанными с отъездами на Фатерланд (какая она, Германия, фатерланд!) и наглыми поборами жадного до чужого добра, презренного, продажного чиновничьего племени. Видно, и они, завтрашние аусзидлеры, испытывали примерно то же самое, что и он, потому что лица их были бледные, напряженные, глаза пустые, подернутые пеленой отчуждения, говорили они шепотом, исключительно по-русски, смеялись натужно, наигранно.

Зачем он только ввязался в эту дурь? Махнуть бы сейчас на все рукой, встать и выбраться решительно отсюда, сесть на автобус, вернуться домой, в свой двор, отдохнуть

часок на старом топчане за домом, стряхнуть с себя все треволнения, прийти в себя и вновь приняться за привычные хлопоты, и не надо ему ни рая на чужбине, ни хваленного порядка и чистоты, ни соков и бананов, ни немецких сосисок, ни дешевых машин, ничего, ничего из тех расхожих благ, которыми прожужжали ему в последние месяцы уши. Пропади все пропадом! Ничего этого ему не надо. Он ведь на своем месте, у него свой дом, а когда иссякнет его земной срок, он должен лечь рядом с женой, с которой прожил в любви и согласии целых шесть десятилетий...

Ах, глупец, глупец... старый остолоп, совсем выживший из ума! Зачем только поддался на уговоры дочери и внуков? Зачем послушался криводушных земляков, монотонно долдонивших ему о том, что он, мол, заслужил право хотя бы на склоне лет познать истинный вкус и смысл настоящей немецкой жизни, истинного цивилизованного мира, где царят порядок, чистота, покой и благоденствие? А как искушали его, дескать, ты только приезжай, устройся, оглянись, а коль не понравится в любое время можешь возвращаться и окунуться в этот азиатский хаос, в эту неразбериху и бестолковщину, раз она так тебе по нраву. Убеждали: в конце концов ты должен пожертвовать собой ради дочери, внучки и любимого внука, позаботиться об их обеспеченном, счастливом будущем, это ведь последнее, что ты в силах для них сделать на этом свете. Ну, и добились своего советчики, искусители, мудрецы, шарлатаны, черт бы их всех побрал! Убедили, уговорили, уломали, сбили с толку. Ай, ай... ду, альтер Окс... что ты наделал?!

Дочь бледная, поникшая, уставилась на дверь таможни. Руки ее дрожали. Внучка, закинув ногу на ногу и картинно отвалившись на спинку кресла, листала иностранный иллюстрированный журнал. Видно, она уже жила в той красивой жизни, к которой вожделела днем и ночью. Дуреха великовозрастная, что она-то там будет делать?.. Ждут ее, конечно, в Германии не дождутся, полу-украинку-полунемку, неспособную выговорить половину немецких звуков и живущую, как во сне. «Их хабэ гэхабт», — передразнил в сердцах внучку старик, налегая на «х».

Внук тоже затих, угомонился, прижался к дедушке, как сиротинушка, позевывал. Что его-то, безотцовщину, ждет в Германии? Когда еще он станет полноценным немцем, ухоженным и благовоспитанным, о чем уж столько

лет сладко мечтает его мать-одиночка? Себя же старик в германском раю никак не представлял. Свое он отработал и отжил. В павлиньи перья рядиться ему не пристало. Кирха его не прельщает. Пива — ни светлого, ни темного — не пьет. Досужие разговоры не занимают. В четырех стенах не усидит. Тамошняя картавая немецкая речь его не трогает, слух не ласкает. Он привык интонировать слова совсем по-другому и не желает подлаживаться под заемные манеры. Остается только слоняться по окрестностям, любоваться незнакомыми видами. Но и это наверняка скоро наскучит...

Наконец, распахнулась черная пасть таможни. Все пришли в движение. Старик нащупал в кармашке жилета таблетку, кинул под язык.

Таможенный осмотр тянулся вечность. Старик глядел на то, как таможенники бесцеремонно потрошили так тщательно уложенный им багаж и почувствовал презрение и к тому, что происходило, и к себе самому. Он впервые почувствовал себя не человеком, а как бы преступником, изгоем, несчастным и бесправным аусзидлером-переселенцем.

Паспортный контроль он прошел, как в тумане.

Муть на душе не проходила и в самолете. По длинному проходу шикарного лайнера сновали взад-вперед вышколенные стюарды и стюардессы, поминутно чем-либо угощали и при этом так ослепительно и щедро улыбались, что, казалось, им доставляло неслыханное удовольствие непременно угодить всем пассажирам. Вокруг все только и делали, что ели, пили, смотрели фильмы, слушали музыку по наушникам, забавлялись компьютерными играми, шуршали пакетами, листали цветные буклеты и увесистые журналы, наслаждались непривычным сервисом и предвкушали безмятежную красивую жизнь на свободном сказочном Западе. И хотя до Франкфурта-на-Майне надо было лететь еще несколько часов, из центра в Азии в центр Европы, но вожделенный рай — так чудилось многим — начинался уже в «Боинге» Люфтганзы.

Старика все это не занимало и не волновало.

Время от времени глядя на табло, по которому огибал земной шар серебряный самолетик, указывавший маршрут полета, он вспоминал всю свою долгую жизнь, подсчитывал-перебирал в уме годы: тридцать два года он прожил на Волге, где некогда обосновались его предки и откуда вождь-усач бесцеремонно изгнал их в лихолетье;

потом ровно тридцать лет трудился он в краю казахов, в аулах на берегу Есиля, среди добрых, душевных и благородных людей, память о которых он сохранит до скончания своих дней; после этого четверть века жизни прошла в древнем и красивом, многолюдном и солнечном городе, столице узбеков, в окружении детей, внуков, бесчисленной родни и знакомых, и теперь вот... в восемьдесят семь лет понесло его Бог весть куда... О том, новом периоде жизни, старику думать не хотелось, ибо эту новую жизнь он просто-напросто не представлял. Память вновь и вновь возвращала его к родному отцу в глубине тупика на окраине города и к кладбищу Домбрабат, где покоились рядом его младшая дочь и жена. И когда он живо представил эти два ухоженных холмика с двумя аккуратными надмогильными памятниками из гранита и мрамора, с барельефным портретом усопших, и ту чинару, под которой он присмотрел, облюбовал и себе место, сердце его замерло и по глубоким складкам на впалых щеках покатились слезы.

— Успокойся, — глухо заметила дочь. — Возьми себя в руки.

Старик послушно кивнул, достал из кармана платок.

— Гляди, деда! Мы, оказывается, летим над Польшей.

— Да, да... скоро Франкфурт...

И старику подумалось: может, так надо? Может, так изначально предначертано, чтобы он еще и это испытал? И, может, все обойдется? Может, его невезучая дочь, красавица-внучка, вечно витающая в облаках, и внук-сорванец, поздняя его радость и утешение, именно на этой, как сказывают, благополучной и благоустроенной земле обретут свое счастье? Может, напрасно он так переживает? Сам ведь всегда и всем твердил: воспринимай жизнь такой, какая она есть. Во всем, что происходит, должен же быть какой-то смысл, который не всегда подвластен воле человека. Значит, нужно благодарить прошлое, ту землю, где ты прожил столько лет, и сказать ей спасибо, прости и прощай. Да, да... прости и прощай...

Серебряный самолетик на табло приблизился к светящейся точке — «Франкфурт».

«Ну, вот... ну, вот...» — тихо прошептал старик и прижал к себе сидевшего рядом внука.

VII

Колесо времени катилось по известной колее. Все, что происходило вокруг, было старо, как мир. Знойное лето переходило в слякотную осень, потом подкрадывалась зима, сырая, промозглая, чахлая, с туманами, изморозью, ночными заморозками, но, к счастью, длилась она здесь, на юге, недолго, уступая вскоре место весне с влажными ветрами, с томными запахами пробуждающейся земли, со сладко-хмельными воздушными струями с гор и полей.

Все эти перемены покинутый хозяевами старый Рекс воспринимал равнодушно, как в дурмане. Он только замечал, что люди куда-то уходят, махалля пустеет, даже обычного детского гвалта в узком проулке не слышно, как прежде. Что-то, видно, случилось, раз люди понемногу покидают насиженные места, а что — это было выше собачьего разумения.

VIII

Прошлой ночью Рекс поискал слезящимися глазами луну на аспидно черном небе, но не нашел ее. И тогда ему почудилось, что мрак, настигающий всех в свой роковой час, проглотил и эту вечную спутницу и утешительницу всех одиноких на земле. Немощь и горечь одиночества пес ощущал в последнее время все острее. У него не было только сил, чтобы выразить эту медленно убивающую боль. Он мог ее выразить лишь вытьем — неистовым, безнадежным, но такой возможности он был лишен, он просто не мог себе такое позволить.

Пес прижался мягким, нежным брюхом к слегка остывшей к утру земле, вытянул передние лапы, уткнулся в них тяжелой мордой и крепко зажмурился. Он утомился от дум и бесконечных изнуряющих воспоминаний. Он слышал, как возле курятника прошмыгнула мышь, как прямо перед носом прошелестела ящерица, как деловито плел паук свою затейливую паутину в кустах малины, но пес лишь досадливо повел одним ухом, ибо не было сил и желания обращать внимания на эту ничтожную возню.

Так он лежал возле малинника, безучастный ко всему, что творилось в ночном саду, в закоулках-закутках подворья и вскоре уснул. И во сне он увидел бывшего своего хозяина, благодетеля и заступника, — долговязого, костлявого старика в тяжелых кирзовых сапогах, в старых

рваных штанах, в самодельной войлочной шапчонке с нелепым, коротким, дратвой пришитым пластмассовым козырьком. Пес увидел его так неожиданно и явственно, так живо, что вздрогнул во сне от радости и счастья. Хозяин шел по саду, по обыкновению чуть-чуть сутулясь и хлюпая добела обтерханными кирзачами, шел медленно и долго, постепенно удаляясь все дальше и дальше, и псу это показалось странным. Странным было то, что хозяин даже не взглянул в его сторону, не поманил пальцем, как бывало прежде, даже каким-либо неуловимым движением не подал никакой команды, а все шел и шел, точно слепец, отрешенный от всего, сам по себе, и пес ужаснулся во сне, оскорбился этому равнодушию и завилял хвостом, чихнул, чтобы хозяин хоть на миг заметил его, но долговязый сухощавый старик все удалялся, не оглядывался и постепенно растворяясь во мраке, пока не исчез совсем. И тут пес проснулся, почувствовал, как все в нем онемело, глянул вверх и увидел Млечный путь — тусклую полоску, пересекавшую вызвездившееся небо. Ему померещилось, что его бывший хозяин, длиннорукий, носатый старик, которого он только что видел, пошел как раз этой дорожкой — без конца и края — в никуда. И пес понял, что хозяин, которому он так был предан, больше не вернется, наверняка никогда, что он ушел нынешней ночью, может, как раз в тот предутренний час, этой молочно-белой небесной дорожкой туда, откуда нет возврата. И вместе с уходом старика ушла и тщетная надежда, смысл жизни самого пса. Он давно смирился со своей ненужностью, с того момента, как хозяева однажды утром покинули усадьбу, но подспудное чаяние, как светлячок в летнем саду, продолжало тлеть в его существе. Он жил на этом свете только для того, чтобы стеречь дом, усадьбу, чтобы верой и правдой служить хозяину, исполнить с благодарностью свой собачий долг, теперь нужда в том отпала, а, значит, отпала и сама надобность его собачьего существования.

Отныне ему осталось одно — умереть. Но не суждено ему, как некоторым двуногим, уходить в инобытие небесной бело-молочной дорожкой. Туда псам путь заказан. Так определено великим создателем. Ему, псу, суждено околеть на грешной земле, на которой обитает много разной ничтожной твари, да, околеть, сгинуть, но не так, как крысам, жучкам, паучкам, а более достойно, ибо даже

собаке следует уходить из жизни приличным, подобающим ее предназначению образом.

IX

Да, теперь ему осталось одно — умереть. Но он не хотел подыхать здесь, в огороде, на усадьбе, где ему были знакомы, многажды раз обнюханы каждый уголочек, каждый кустик, каждая былинка. Он не хотел, чтобы его новый хозяин — лысый, кривоногий коротышка, от которого вечно дурно пахло, — смотрел на его окоченевший труп с гадливостью или с омерзением закопал его в углу сада, у самой ограды, под лопухами, а то — что еще хуже — выволок и швырнул на свалку, где будет лежать он, безобразный, распухший, с оскалившейся мордой и грязным хвостом-метелкой несколько дней, пока его не вывезет «мусорка». Нет, этого пес не допустит. Он изловчится и заблаговременно — тихо и незаметно — уйдет из этой усадьбы, выберется из лабиринта каменного города куда-нибудь подальше в поле, найдет укромное местечко в лощине или возле пыльных кустарников, затаится, свернется калачиком и уснет беспробудным сном. Он это знал и чувствовал. Ведь всему на этом свете приходит конец. В этом он убедился несколько лет назад, когда однажды утром не вышла во двор хозяйка — маленькая, смуглая, темноглазая старушка, которая обычно еще спозаранок, стоя посреди двора, подолгу расчесывала гребнем свои седые космы и вприщур оглядывала подворье, как бы прикидывая, что и в какой последовательности предстоит ей переделать за день.

Тот горестный день пес запомнил. Хозяйка так и не вышла из дому, и пес смутно догадывался, что случилась беда. Приходили и уходили люди, и все были сосредоточены, молчаливы. На пса никто не обращал внимания. И даже в закуток его не заперли. Объявился нежданно и сын хозяйки, строгий, озабоченный. Пес радостно кинулся было к нему, даже привстал на задние лапы, но тотчас понял, что сейчас ему не до него, смущенно отошел в сторонку, поджав хвост. Сын хозяйки приехал, видно, издалека, с женой и с еще какими-то важными незнакомцами. Вокруг него все сразу забегали, засуетились. Пес в недоумении слонялся по двору, ощущая свою ненужность, неприкаянность; он стеснялся этой своей ненужности, удалялся в свой закуток или вглубь сада и оттуда,

навострив уши, вслушиваясь в каждый звук, внюхиваясь в незнакомые запахи, наблюдал за всем происходящим. А люди все прибывали, заходили в дом, толпились во дворе, что-то говорили и вновь уходили; калитка хлопала беспрестанно; большинство людей пес видел впервые, но он благоразумно не рычал и не лаял на них.

А хозяйка так и не показалась. И в этот день и на другой тоже. И пес тяготился неведением. И как-то вечером на второй день он тихо подкрался к веранде, заглянул, встав передними ногами на высокий порог, в приоткрытую входную дверь, увидел дочь хозяйки, хлопотавшую в кругу женщин на кухне, долго смотрел на нее, поймал наконец, ее взгляд, скорбно покосился в сторону зала, немо спросил:

«Она там?»

«Там», — ответила взглядом дочь хозяйки.

«Ей худо?»

«Да»

«Она... ушла?»

«Да... навсегда...»

Пес сокрушенно вздохнул, постоял, медленно обвел взглядом длинную веранду, покосился на стол, заставленный яствами, и хотя его не кормили уже второй день, не о пище сейчас подумал, а, почуяв скорбный дух, струившийся из зала даже из-за плотно закрытых дверей, понял своим пронзительно чутким собачьим умом, что хозяйка действительно ушла, покинула этот мир навсегда. Он зажмурил глаза, представив ее живую — маленькую, сухонькую, неугомонную, не очень ласковую к нему, но добрую и справедливую, и вздохнул еще раз, потом медленно повернулся, побрел в сад, под малинник, чтобы никому не быть помехой. Тогда-то ему и открылась потрясающая истина: всему на этом свете — рано или поздно — приходит конец. Для всех живущих на земле пробьет однажды горький час прощания. И даже всесильные двуногие братья — повелители и владыки — бессильны против этого извечного порядка бытия.

X

Хозяйка ушла навсегда, и жизнь в усадьбе в тупике продолговатой узкой улицы заметно оскудела. Старик поднимался задолго до рассвета, потерянно озирался вокруг, словно соображая, где он, во сне или наяву, для чего

он отныне на этом подворье и как ему дальше жить, слонялся взад-вперед, хлюпая кирзачами, потом обессиленно опускался в старое, продавленное кресло под навесом, обхватывал обеими руками седую голову и, сгорбившись, сидел так долго и неподвижно. Иногда тряслись его худые плечи. И тогда пес подходил к нему тихо и скорбно, сворачивался у его ног, выражая свою неизменную верность и сочувствие. Случалось, старик зажимал голову пса своими костлявыми коленями и гладил его по холке и хребтине. Псу бывало неудобно стоять в такой позе, ныла шея и не хватало дыхания, но он терпел, стараясь не шевельнуться, угодить хозяину.

Почти каждый день старик уходил на несколько часов, и псу показалось, что он искал хозяйку, затерявшуюся в гигантском каменном городе, но не находил ее. Возвращался старик усталым, совсем уж притихшим, ложился отдыхать на топчане в тени за домом, потом принимался за дела: поливал сад, подметал двор, что-то мастерил, готовил корм прожорливым уткам и курам.

Казалось, ничего особенного не произошло. Дочь хозяина и внучка, наспех позавтракав, уходили на работу; вслед за ними, закинув на плечи ранец, нехотя плелся в школу внук. Возвращаясь к обеду, он ошалело носился по двору, залезал на крышу, выскакивал в проулок, играл с такими же шалопаями, как он. Крики, ор, грохот, бухание тяжелого мяча по ограде и калитке раздражали пса. Неугомонный внук всюду вносил сумятицу, творил ералаш. Старик укоризненно глядел на внука, разводил руками и говорил: «Фуй-фуй!» Внук тотчас передразнивал деда: «Сам ты фуй-фуй!» и выкидывал очередное коленце: норовил оседлать пса или больно хватал его за уши, прижимался носом к морде и озорства ради шипел: «У-у... сссобака... Не собака ты, а Хунд, понял? Хунд ты, дурачок!» И пес вырывался, нервно отряхивался, будто окатили его невзначай холодной водой, фукал и уходил восвояси. Он любил внука хозяина, по настроению играл с ним, но не всегда его понимал: то ли внук так своеобразно выражал свою нежность, то ли дразнил его, испытывал его терпение.

Вечером возвращалась с работы дочь хозяина. Раскладывала на столе пакеты с продуктами, приносила в банке еду для пса, начинала греметь посудой у плиты, потом стирала и развешивала белье. Вскоре появлялась и внучка, усаживалась за стол, включала транзистор и по-

долгу под музыку пила чай. Получалось это у ней уж очень красиво и томно, и пес любил наблюдать, наклонив голову, как она хрумтит печеньем, задумчиво смотрит вдаль и улыбается, неизвестно чему или кому. Пес обожал все красивое.

Так бывало и прежде. Но пес чутко уловил перемены. С уходом хозяйки что-то разладилось в былом размеренном укладе жизни. В усадьбе воцарились уныние и скука. Не звучал смех. Не было прежних многолюдных сборищ и застолий. Гости наведывались все реже. И запахи из кухни струились все менее вкусные и однообразные.

Иногда вечерами старик пиликал на скрипке, и жалобные, рваные звуки, извлекаемые из нее дрожащим смычком и огрубевшими, непослушными пальцами старика, действовали на нервы пса, как мяукание бродячих котов. Хотелось скулить, выть, но это — он знал — возбранялось. А пес отличался природной целомудренностью и деликатностью. Он скрывался в глубине сада, залезал в малинник, клал голову на лапы и терпеливо ждал, когда умолкнет заунывная скрипка в руках старика.

XI

Тоска убивает не только человека. От тоски Рекс отощал, опаршивел, стал слепнуть. Шерсть на нем свалялась колтуном, свисла грязными клочками. Блохи его донимали нещадно. Над ним тучами кружились нахальные слепни, шершни, зеленые мухи, и не было сил отгонять их. Он и ходил по двору тяжело, косолапо, поджав хвост и боязливо озирался. Новые хозяева его не жаловали, глядели на него недобро, искоса, нередко замахивались на него, запирали в клетушку за домом, где обитали чумазые хрюкающие существа и стояла кислая, тошнотворная вонь. Кормили его из той же замызганной лохани, что и хрюкающих тварей, и пса это особенно унижало. Никто его не ласкал, не говорил нежных слов. Жизнь стала поистине собачьей.

Все, что происходило на подворье после отъезда хозяев, приводило пса в уныние. Кривоногий коротышка и его дородная баба-грязнуля быстро все вокруг захламили. Летнюю кухню и сарай набили какими-то мешками, коробками, ящиками. От веранды шел гадкий запах. Коротышка, кряхтя, вытаскивал оттуда в помойных помятых ведрах какое-то месиво и относил за дом, в клетушки, к

обжорливым хрюкающим тварям, оглашавшим иногда всю махаллю невыносимым визгом. Возле этих клетей даже среди белого дня шастали серые мерзкие существа с длинными хвостами.

Однажды нежданно-негаданно вошел во двор сын бывшего хозяина. Пес сразу узнал его, радостно подбежал, хотел было, как прежде, вскинуться на задние лапы, чтобы упереться передними ногами в его грудь и потянуться к нему мордой, но как-то одобел. Сын хозяина был чисто, справно одет, и пес постеснялся своего убогого, запущенного вида, худобы и блохастости и не осмелился прижаться к дорогому гостю. Но сын хозяина не побрезговал, погладил пса по грязной холке, по хребту, по ушам и, как прежде, ласково, врастяжку проворковал:

— Рекс... Ре-е-екссс... Ах, ты милый... хороший... умный ты мой! Живой, значит? И меня помнишь?! Ай, умничка... у-у-умничка-а-а...

И столько неподдельной нежности, любви, радости послышалось в его голосе, что пес забил-заколотил хвостом по земле, быстро-быстро перебирал ногами, обмирая от благодарности и признательности.

Сын хозяина, видно, приехал издалека и спешил. Он вошел в сад, походил по двору, зашел ненадолго в дом, потом опустился на скамеечку, помолчал. За калиткой просигналила машина. Гость глянул на часы, встал и опять погладил пса по голове.

— Прощай, Рекс... Ты хооо-рооо-ший... умный... верный... Молодчина!.. Ну, прощай, старина!..

Пес уловил печаль в его голосе, покорно прижался боком к его ногам и закрыл глаза. Так он делал всегда, когда ему бывало больно или очень грустно.

Сын бывшего хозяина ополоснул под колонкой руки, тихо прикрыл за собой калитку, сел в дожидавшую его в проулке машину и уехал.

И пес догадался: навсегда.

XII

Пес твердо решил, что на рассвете, когда ночь, волоча свои уродливые, точно лохмотья, тени, исчезнет, он покинет этот двор, уйдет, куда глаза глядят. Добрая собака должна сгинуть с глаз людских незаметно, чтобы даже труп ее не сыскали. В этом издревле заключается одно из соба-

чьих достоинств. Он не помнил, как пришел в этот мир, то оставалось для него тайной. И уход его из жизни должен свершиться втайне. Ничего уже не связывало пса с этим подворьем. Он устал. Устал от всего. От былых радостей и нынешнего горя. От воспоминаний. От жизни. Пора уходить. Туда, откуда нет возврата. Уж коль туда ушел его хозяин, то нечего ему, старому шелудивому псу, четвероногой твари, мыкать горе на этом свете.

Он знал, каким образом выберется отсюда. Знал, что через забор ему не перемахнуть. И нет такой щели, в которую он мог бы пролезть. А если бы и пролез — не выбраться ему из лабиринта: за забором тянулся новый забор, за оградой — ограда. Путь для ухода был один, и он его запомнил еще тогда, когда старик на поводке торжественно отводил его — раз в год — в собачью лечебницу, где всем его четвероногим собратьям разных мастей и пород делали прививку. Только через калитку по длинному и узкому тупику можно добраться до асфальтной дороги, по которой взад-вперед неслись вонючие железные чудовища, а она уж приведет его к какому-нибудь укромному местечку — к последней роковой черте.

На рассвете пес затаился за колонкой, свернулся так, чтобы заспанный коротышка в нелепых трусах и обвисшей застиранной майке не заметил бы его сразу. И в тот момент, когда он, по обыкновению, откинет щеколду и приоткроет калитку, чтобы посмотреть, что творится в тупике, тут пес и проскочит в щель между кривыми волосатыми ногами коротышки и поминай, как звали.

Он так и сделал.

Пока коротышка сообразил, что же произошло, и хрипло прокричал ему что-то вслед, пес одолел тупик, вышел на дорогу, свернул налево и потрусил по обочине, ни на что не обращая внимания. Вокруг мчались машины, мелькали прохожие, тянулись глухие заборы, потом началась черная речка, невероятно захламленная по краям, железнодорожное полотно, жуткие пустыри, рвы, заваленные мусором, полуразрушенные постройки, но пес почти ничего этого не видел и не желал видеть, он вывалил из пасти распухший язык, тяжело водил боками, бежал и бежал упрямой, ровной трусцой туда, куда его гнал манящий необозримый зов неизбежности...

6—12 марта 1996

В ГОСТЯХ

Надумала Анна Степановна на пасху к дочери съездить. С тех пор, как выскочила Розка против материнской воли за цыгана своего ненаглядного – тому, считай, уже лет семь, – она раза два всего и наведывалась к ней, и то лишь на денек, на два. Писем Розка не писала, и Анну Степановну порой охватывала тревога, вечная материнская боязнь, что у дочери не все ладно. Хотелось самой взглянуть на тамошнее ее житье-бытье, увидеть внучку, длинноногую озорницу Стэллку.

К поездке Анна Степановна готовилась долго, накопила немного денег, накупила подарки – конфет, печенья, духи, косынку, бусы, уговорила старшего зятя поехать вместе, старика-соседа упросила присмотреть за домом. Подружки-прачки днями судачили об ее поездке, давали советы и даже собирали ей на дорогу по полтора рубля с каждой. От благодарности Анна Степановна прослезилась, потом сбегала за пузырьком, распила с «девчонками» на прощании, а на остальные деньги купила в рассрочку черную юбку.

Ох, и волновалась же Анна Степановна! Шутка сказать: лет пятнадцать безвыездно сидела в городе, и теперь – на тебе! – вдруг сразу в неизвестные края, в село, к каким-то непонятным людям. Слышала она, что зять уж больно богато живет: и свиньи у него, и корова, и теленок, и овечки, и дом – не дом, а хоромы, и в доме том – одни ковры по пятьсот да по тыще, одним словом, на том бугре, где обитает ее дочка, никого богаче нет. Анна Степановна и радовалась, и не верила. Уж по дочке-то никак нельзя было судить о богатстве зятя. Правда, сам зять – он однажды приезжал – был гладок и выхолен. Длинные, густые, угольно-черные волосы, черные, лоснящиеся усики, большие, чуть навыкате глаза. Во рту сверкал золотой зуб, на толстом волосатом пальце тоже поблескивало золотое кольцо, под замшевым пиджаком белела вышитая атласная сорочка, черные хромовые сапожки поскрипывали – Розочка натирала их бархоткой два раза в день.

В глубине души Анна Степановна считала, что судьба ее детей сложилась не так, как бы надо. Она была убеждена, что детям ее хорошо только у нее дома и, только живя с нею, в одном доме, под крылышком матери, они могут быть счастливыми. Старшего зятя она вообще не понимала. Носатый, тихий, вежливый, он вечно торчал в «рабо-

латории», дома же, нацепив фартук, возился на кухне, варил кофе, а водку разливал не по стаканам, а по таким крохотным рюмкам, что Анне Степановне даже пить из них было противно. Не могла она привыкнуть и к тому, что называл он ее не мамкой, как все порядочные зятья, а по имени-отчеству. «Тюфяк, хоть и грамотный», – думала, бывало, про себя Анна Степановна, искренне недоумевая, как ее Райка, такая бойкая, шумливая, палец в рот не клади, может жить с таким.

Розку же она считала самой несчастной из всех своих детей. Она не могла себе простить, что не углядела за ней, не пресекла вовремя ее глупую любовь. А этот, зять-то теперешний, и обрадовался, вскружил девке голову и укатил к себе на бугор. Остальные дети жили в городе, Анна Степановна еженедельно наведывала их и ревностно следила, чтобы их никто не обижал. Одна Розка очутилась вдруг за тридевять земель, жила среди чужих и в случае чего Анна Степановна не могла даже за нее заступиться. «Ничего, съезжу, – успокаивала она себя. – В обиду Розку не дам. Если что не так, заберу и Розку, и Стэллку».

Зятя-цыгана Анна Степановна почему-то сразу невзлюбила. «У, кобель чумазый, – думала про себя. – Ишь, какую ряшку отъел. А Розка, видно, не жена ему, а так себе, прислуга». Про сватью говорили, что она гладкая, гонористая баба...

Самой Анне Степановне хвалиться было нечем. Хоть и годков-то немного, до пенсии лет восемь еще ишачить, а лицо все изрезано морщинами, и зубы железные, и руки тяжелые, красные, и сама вся бокастая, брюхастая, ходит грузно, вразвалку. Что поделаешь: вдосталь хлебнула горюшка в жизни. Двадцати четырех лет – в первый же день войны – вдовой осталась с четырьмя на руках. Попробуй, выкорми, вырасти такую ораву одна, без мужика, на несчастной зарплате уборщицы и прачки. Не до красы было, не до походки. Вспомнишь те годочки – волком выть хочется. Не верится, как только выдюжила. Видно, и впрямь семижильные бабы.

Выехали рано утром. Было по-весеннему тепло. Автобус оказался полупустой. Веселый, не по годам игривый сменщик шофера мигом со всеми перезнакомился и все балагурил, заигрывал с Анной Степановной. Ей это нравилось. Раскрасневшаяся, возбужденная, она поочередно расхваливала всех своих детей, поругала сноху, рассказала, что едет в гости на пасху к дочери, смотрела в

окно, любовалась зазеленевшими уже пирамидальными тополями по обе стороны дороги. Альберт, старший зять, сидел один на заднем сидении, уткнувшись длинным носом в книгу.

Ехали часов семь. У подошвы перевала шофер остановил автобус, и Анна Степановна нарвала букет огненных тюльпанов. На шумной, многолюдной автостанции она выпила с краснобаем-сменщиком по кружке пива на прощание и, тут же забыв о нем, купила бутылку перцовки: не годится приходить в новый дом без бутылочки. Альберт набрал кипу газет.

Пыльный, старый автобус-коробка доставил их до села Новое. Недалеко от шоссе стояли четыре новых трехэтажных дома, за ними тянулось широкое, захламленное поле, обрывавшееся неглубокой, заросшей бурьяном лощиной. За лощиной возвышался бугор, который местные жители окрестили цыганским. На бугре жили цыгане — семей восемьдесят. Дом зятя Анна Степановна узнала издалека. Он был действительно самым видным на бугре, с большими окнами, под шифером.

Возле дома, на пустыре, играли дети, чернявые, босоногие. Отшвырнув самокат, с воплем кинулась навстречу длинноногая Стэллка.

— Ба-а-абааа Ню-ю-ю-раааа!

Подбежав, кинулась на шею бабы, чуть не свалив ее, и затараторила:

— Ой, баба Нюра, какой у тебя платок красивенька-а-аааай! Ты подари его моей старенькой маме. — Так она называла бабушку, мать отца, — А папа вчера новый холодильник купил. Большой, как шкаф. Ой, какой тяжелый чемоданчик! Это вы подарки везете, да? А мяса у нас мно-о-ого, многоооо. Пельмени будем делать, лагман, манты. Ну, открой же чемодан. Что привезла, а? А мама старенькая куличи пекет...

Она ловко сорвала платок и умчалась к дому, вопя во весь голос:

— Ма-а-мааа! Баба Нюра тебе платок привезла...

— Вот цыганюшка! — только и успела сказать Анна Степановна.

У ворот стояла в плаще и сапогах, с лопатой в руке, улыбаясь, Розка. Анна Степановна потемнела лицом. «Заберу»,— тут же решила она.

В доме царил ералаш. Человек восемь цыганок в длинных цветастых платьях усердно готовились к пасхе: меси-

ли тесто, стряпали, красили яйца, взбивали белок, скребли кастрюли и казаны, пили чай и лузгали семечки. Сватья, увидев гостей, вскинула бровями, вытерла руки о передник, обняла Анну Степановну, радостно запела:

— С приездом, с приездом, дорогие гости! Проходите, милости просим. У нас такой кавардак — ужас!

Она простонала, пожаловалась на сердце, с ходу повела Анну Степановну по комнатам.

— Так вот и живем. Все есть, слава богу, все есть. Одних ковров шесть штук. Из Ташкента и Ферганы Сашко привез.

Мебель стояла тесно: громоздкие комоды, шкафы, шифоньеры, тяжелые, с толстыми фигурными ножками столы, кресла, кровати.

Сватья, дебелая, круглолицая, плыла по комнатам, открывала сундуки, шифоньеры, показывала, называла цены, костюмы, шубы, пальто, плащи, свитера, кофты, сапоги и все хвалила сына за то, что он такой добычливый, не пьет, не лодырничает, много зарабатывает и все тащит домой. Показав и объяснив все достоинства телевизора, холодильника, приемника, пылесоса, швейной и стиральной машин, которые Сашко почему-то доставал непременно с переплатой, она повела Анну Степановну во двор, показала сад в двадцать соток, свиней, корову, телку, овец, кур, похвалила собачек, вертевшихся у ног, за их звонкий лай. Анна Степановна учтиво ходила за сватьей, притворно восхищалась, ойкала и все ждала, когда сватья, наконец-то, похвалит и Розку, покажет ее наряды, но сватья заговорила о покойном муже, «анжанэре-зоотэхнике», который, по ее словам, был шибко грамотен и катал ее на карете. Тут сватья помолчала, прослезилась, вспомнила про куличи и пригласила гостей домой пить чай. Анна Степановна, чувствуя, как нарастает в ней глухое раздражение, поискала глазами дочь, но не увидела ее. «Скажу ей, чтоб забрала свои шмотки. Живет, небось как сирота казанская. Заберу!» — сказала сама себе.

Пока гости осматривали хозяйство, Стэллка открыла чемодан, надела новое платье, подарок бабы, раздала оравe ребятишек все конфеты и печенья, нацепила бусы и, показав обеим бабкам язык, шмыгнула на улицу.

— Ох, и баловница! — умиленно пропела сватья.

Наспех выпив чаю, женщины снова взялись за стряпню, а Альберт ушел в спальню.

Во дворе под навесом стояла огромная печь, там со всего бугра поочередно пекли пасхальные куличи.

На кухне собралось баб двадцать. Размахивая руками и поблескивая глазами, они о чем-то оживленно судачили на какой-то странной тарабарщине: слово по-русски, два по-цыгански. Анна Степановна в белой кофте и черной юбке, в легкой косынке сидела, с достоинством поджав губы, на кровати и вытирала посуду.

В гостиной на громадном колченогом столе замешивала тесто высокая, сухая, горбоносая старуха-цыганка. Ее все почтительно называли тетей Фросей. Она считалась лучшей стряпухой на бугре, и, видно, самый главный кулич, предназначенный для освящения в церкви, доверили испечь ей.

Альберт сидел на диване в спальне под огромным, на полкомнаты, фикусом и листал какую-то затрепанную книгу. Потом швырнул ее на окно, оглянулся вокруг, думая, чем бы заняться, и вышел в гостиную, где тетя Фрося, вытирая сгибом рук пот с лица, все еще возилась с тестом.

– Что, скучно тебе?

– Да нет...

– Вон пластинки лежат. Поиграй. Может, понравится.

В тумбочке под радиолой лежали пластинки с цыганскими песнями. Альберт быстро просмотрел их, надеясь найти среди них услышанную когда-то в кино и поразившую его тогда песню «Шэл мэ вэрста». Но ее не оказалось. Тогда он поставил первую попавшуюся. Низкий женский голос затянул тоскливую, надрывавшую душу песню. Альберт слушал и незаметно наблюдал за тетей Фросей. Глаза ее расширились, еще больше потемнели, лицо побледнело, осунулось, и сама она вся вытянулась, застыла, чуть откинув голову и глядя куда-то вдаль.

Когда кончилась песня, тетя Фрося вздохнула, тыльной стороной руки поправила рассыпавшиеся, тронутые пеплом волосы и тихо прошептала:

– Доханэ.

– Что «Доханэ»? – спросил Альберт.

Тетя Фрося быстро взглянула на него, как бы желая убедиться, в самом ли деле понравилась гостю песня, или он просто притворяется, потом улыбнулась и заговорила, сильно прилегая на «о».

– А это... ну, как вам сказать... твои черные глаза. Она поет: какой ты красивый и хороший... Она с тоски пошла в лес. И сорвала цвэток... Она... ну, как это... заинтересо-

вана в нем была... Он был шибко красивый, и полюбила его. А он довел ее... ну, как тебе сказать... до позора.

— Хм-м... прелестно, — заметил Альберт и поставил «Доханэ» еще раз. Его поразила не столько песня, сколько сама эта старуха, которая замирала от каждого гитарного перезвона, млела от каждого придыхания и стона певицы. Глаза ее лучились, и сама она вся помолодела, ожила, переживая каждое слово песни, хотя наверняка слышала ее десятки раз. И снова как только ударила по струнам гитары волшебная цыганская рука, старуха вытянулась и замерла.

Есть непостижимая, колдовская сила в цыганских песнях. Напрасно иногда стараются их принизить, делать из них нечто вульгарное, далекое от искусства, нечто даже мещанское, способное волновать лишь людей неразвитых, непритязательных. Напрасно... На первый взгляд цыганские песни действительно бесхитростны, наивны. И слова как будто бы выспренны, затертые, и гитарный перезвон этот вроде примитивен. И все же цыганские песни волнуют, будоражат, бьют по сердцу, навевают грусть и тоску — неизменные спутники человеческой души, пьянят своим угарным, бесшабашным весельем. Возможно, именно в этой человеческой простоте, доверительности, интимности и яркости, обнаженности чувств заключаются колдовство и очарование цыганской песни...

— Хорошая песня, — задумчиво сказал Альберт.

— Да, да, хорошая песня, — радостно поддержала его тетя Фрося. Ей, видно, было приятно, что этот очкарик так внимательно слушает цыганскую музыку. — Она уже в лес пошла... с тоски, с горя. — Рассказывая, тетя Фрося продолжала месить тесто до хруста в пальцах. — Сорвала цвэток. Но даже и цвэток не мил ей. Вот как он ее приворожил...

Альберт поставил другую пластинку. Низким, почти мужским, глухим голосом запела старая цыганка что-то заунывное, горестное. Она стонала, кричала, словно корчилась от нестерпимой боли, обиды, ужасного предчувствия.

— Вот это настоящая цыганка поет, — заметила тетя Фрося хриплым от волнения голосом.

— Откуда вы знаете?

— А я знаю... — Тетя Фрося загадочно усмехнулась. — По голосу чую. Это не русская цыганка... На, на... Это сербиянка... Старая ворожка.

Умолкли, услышав музыку, бабы на кухне. Кто-то приоткрыл дверь. Молодая, распатланная цыганка в длинном, застиранном платье и безрукавке уселась на порог, прислонилась к косяку, вытянув ноги в толстых дырявых носках. Ее облепили пятеро слюнявых, голопузых детишек мал мала меньше. Остальные тоже придвинулись к двери. Анна Степановна сидела на кровати рядом со свахой и рассказывала про свою жизнь, про своих детей, про то, как она их воспитала одна, совсем одна, про негодницу-сноху. Сватья, довольная, гордая, что к ее дому столько внимания и что такая музыка есть только у нее, улыбалась всем снисходительно, чуточку устало и даже как бы равнодушно.

— Смотри, смотри — зашептала одна из женщин, — гость-то цыганские песни слушает.

— Нравятся, наверное.

— А кому — скажи — не нравятся наши цыганские песни?!

Анне Степановне было не по душе, что оказалась вдруг вне внимания, почему-то тяготы ее прошлой жизни никого не удивляли, не трогали, не понравилось ей и музыка, и то, что ее долгоносый зять с интересом слушает этот, как она считала, вой.

— Тебе что, Альберт, цыганские пластинки понравились? — спросила она с насмешкой, едва сдерживая досаду. Альберт нахмурился и поднял руку, как бы прося не мешать. Этот жест больно задел Анну Степановну. Ее раздражали и тарарам в комнате, и колготня, и бесконечное хлопанье дверьми, и бесконечная стряпня, и то, что Розка уже полдня все только бегает и бегает, как заводная, что никто о ней не вспоминает, ничего не говорит, и то, что уже скоро вечер, а хозяйка еще не поднесла и рюмочку, и то, что сватья так нехотя, лениво, словно барыня, цедит слова, так снисходительно-великодушно улыбается. Она надеялась, что хоть старший зять ее поддержит, посочувствует, а он вдруг взялся цыганские пластинки крутить.

— Русланова красивше поет... — громко сказала Анна Степановна — У моей знакомой все пластинки ее есть. Мы часто собираемся, слушать. Как запоет — плясать хочется. Особенно ежели по стаканчику примешь... «Валенки, валенки-и-и...»

Но цыганки ее не слушали, они были всецело во власти музыки, и только сватья вежливо кивнула головой. Анна Степановна обиделась, поджала губы.

Альберт взял еще одну пластинку.

– «Дуй чю'рья»?

– «Дуй чюрья'» – поправила тетя Фрося. – Это черные косы.. Из-за девушки два брата разбились!..

За окном послышалось стрекотанье мотоцикла.

– Сашко приехал! Сашко! – встрепенулась малышня и опрометью выбежала на улицу.

Сашко слез с мотоцикла, широко улыбнулся малышне и полез в карман кожаной куртки. Малышня разом притихла, вылупившись на него в ожидании подарков. Прибежала и Розка, прижалась к мужу, а он, приподняв ее, закружил, потискал, по спине и чуть ниже похлопал. Потом Роза вытащила из багажника и люльки мешок и сумку с покупками. Малыши весело облепили мотоцикл. Сашко вошел в дом.

– А-ааа... Альберт! – воскликнул он, раскинув руки. – Приехал наконец-то! Молодец!

Перед статным, бронзовым красавцем-здоровяком с наметившимся брюшком Альберт казался еще более невзрачным. Сашко поздоровался и с Анной Степановной, сказал что-то матери, крикнул:

– Розка!

Та тотчас прибежала радостная, оживленная.

– Вымой пол и сготовь лагманчик. Вечером ребята зайдут.

– Хорошо. Сейчас.

И опять эта покорность Розы кольнула Анну Степановну.

– Зачем пол мыть? – недовольно сказала она. – Ходют и ходют тут... Все равно грязь натаскают.

Цыганки переглянулись. Сашко вприщур и долго посмотрел на тещу.

– А у нас такой закон. Каждый к каждому ходит. И дверь всегда открыта.

Усмехаясь в смолянисто-черные усы, он прошел в спальню, достал из-за кадки с фикусом трехлитровую бутыль, со стуком поставил на стол.

– Давай наше самодельное попробуем. Вишневое. Оцени искусство нашей матушки.

Он наполнил граненые стаканы, сватья поставила перед ними тарелку с холодцом и миску с пончиками.

– А остальным? – тихо спросил Альберт.

– А остальные сегодня не пьют. Грех накануне пасхи пить, – громко ответил Сашко. – Они завтра наверстают.

– Ну, хотя бы теще, – шепнул, почему-то краснея, Альберт.

– Теще можно...

Сашко наполнил еще один стакан.

– Садитесь с нами. Выпьем за ваш приезд.

Анна Степановна не слыла горькой выпивохой, но от стаканчика-другого никогда и не отказывалась, особенно в гостях или на празднике. Она попеременно посмотрела на зятьев, на стакан, на сватью.

– Да, да, выпейте, выпейте, – запела сватья. – Я не могу: у меня сердце, а вы пейте.

– Ну ладно уж... За встречу.

Анна Степановна придвинулась, подняла стакан, приличия ради спросила, не крепкое ли, не свалится ли она еще до пасхи, а потом закрыла глаза, зажмурилась и мелкими глотками выцедила все. Свояки тоже выпили. Старший зять почмокал губами и похвалил вино. Анне Степановне вино не понравилось: и слабое слишком, и сладкое.

Вечером зашли друзья Сашка, смуглые, черноусые парни. Выделялся среди них один: гладколицый, лет тридцати красавец в белой сорочке, в черном отутюженном костюме, ярких полосатых носках, с золотыми зубами, с кольцами на пальцах. Называли его Графом, и, видно, он гордился этим прозвищем. Пили вишневку, ели острый лагман, говорили об автомотолотерее, о невероятном силаче, который запросто поднимал бочку пива, о драчуне, что одной левой шваркнул семипудового бригадира, о том, кто сколько за раз может выпить. Потом Граф, покосившись на молчаливого гостя, затеял было разговор о поэзии, но его никто не поддержал. Пошумели, поколготали и, осушив бутыль вишневки, уже в полночь разошлись по домам.

Проснулись поздно. Розка успела прибрать в комнатах и накрыть стол. На чай собрались человек пятнадцать. На столе в мисках лежали яйца, крашеные и некрашеные, освященные и неосвященные, в мелких тарелках дрожал так и не застывший за ночь холодец, а в середине в окружении разной стряпни и нескольких небольших куличей горделиво возвышался самый главный кулич – кулич-красавец, румяный, высокий, с пышной, широкополой шляпой, покрытый тускло-серебристой глазурью, украшенный разноцветными зернышками, ягодами из варенья, которые переливались, поблескивали, сверкали, мимовольно притягивали взоры.

— Ах, какой кулич! Какой кулич! — завосхищались все разом. — Ай да тетя Фрося! Ай да мастерица!

Тетя Фрося сидела возле печки на черном сундуке, маленькая, сухонькая, и, улыбаясь, грустно глядела на все это благолепие на столе.

К обеду заявились гости, все сразу, точно шумным табором. Впереди, сильно хромая, в белой рубахе навыпуск под пиджаком, сапогах, галифе, с большой серьгой в ухе, шел горбоносый кудлатый старик. Он деловито дочикилял до крыльца, остановился, вскинул руки:

— Хасием! Ну, и домина-а! Молодец, Сашко!

Сашко, его мать и Анна Степановна стояли на веранде и учтиво приглашали гостей в дом.

— Молодец! — рокочущим басом подтвердил громадного роста, пожилой, но стройный, поджарый цыган с воспаленными глазами. — И все сам, сам выстроил. Один!

— Да, да. Один! — подхватила толпа.

— Ну, — не удержалась Анна Степановна, — Розка-то ведь тоже помогала...

Великан выставился на нее, пожал плечом. Гости, разнаряженные, подвыпившие, ввалились в комнаты, расселись кто куда: на стульях, скамейках, подоконниках, диване, кроватях, сундуке, на пороге. Гул стоял, как на воскресном базаре.

Великан о чем-то спросил по-цыгански и, получив ответ, двумя шагами очутился возле Альберта, вытянулся во весь рост, пророкотал:

— Цыбульский. Подполковник интенданской службы в отставке.

И протянул волосатую ручищу.

В самом центре, на почетном месте, сидели рядом старики: один без умолку тараторил, таращил глаза, ерзал, размахивая руками, другой почесывал кудлатую бороду и насмешливо поглядывал на соседа. Сашко разлил по стаканам самогон. Старики, а вслед за ними и остальные, взяли стаканы, выплеснули с ложечку самогона прямо на стол, повертели в нем дном стакана — помянули усопших. Цыбульский поднялся, оглядел всех цепким, колючим взглядом, рявкнул:

— Если кто-нибудь из собравшихся здесь не доволен, пусть его за этим столом разорвет!

Он выпил залпом, понюхал толстенный, бурый от махорки палец и сумрачно уставился на пустой стакан.

Выпив, старики о чем-то бурно заспорили, в спор мгно-

венно включились и остальные, поднялся невообразимый гвалт. Сашко молчком подошел к старикам, ухмыляясь, налил в блюдце немного самогонки, поднес зажженную спичку и, убедившись, что самогон вспыхнул синеватым, почти бесцветным пламенем, с достоинством отошел прочь. Мужики восхищенно защелкали языками.

— Вот ч-черт! Чистый! Совершенно чистый-ай!

— Сашко, музыку! — рявкнул подполковник интендантской службы, встал из-за стола, готовясь плясать.

Сашко поставил пластинку, и под веселую плясовую музыку длинноногий Цыбульский вышел в круг. Все неистово захлопали в ладоши, что-то выкрикивали, подбадривая плясуна, радиола орала во всю мощь.

Блеснув золотыми зубами, кинулся на помощь танцору Граф, за ним — еще трое молодых цыган. Они начали исступленно дробить пол, хлопать ладонями по бокам, по коленам, по подошвам сапог. Плясали они неумело, не в такт, сбиваясь на современные дрыгалки, но старательно и самоуверенно. У дверей толпилась ватага босоногой малышни. В круг выскочила, отшвырнув от себя облепивших ее детей, молодая с распущенными волосами цыганка в ярких юбках и сбитых туфлях. Она мгновенно преобразилась, вспыхнула румянцем, улыбнулась Графу лукаво и, откинув голову, раскинув руки, затрясла плечами, грудями так, что гости только ахнули. Плясала она самозабвенно, озорно, азартно, даже дерзко, страстно, все чаще отбивая чечетку перед стариками, заманивая, приглашая в круг. Старик с серьгой не заставил себя долго упрашивать, вышел на середину, зашабрил подошвами, расстегнув пиджак и пошел-пошел, выгнув грудь, выставив вперед сивую кудлатую бороду. Сделав два-три круга, он пошел вприсядку, закружился, завертелся волчком вокруг раскрасневшейся неутомимой плясуньи. Все повскакали, задергались, запрыгали, захлопали, отбивая такт, в ладоши, подзадоривали плясунов, подавали жару, выкрикивая:

— Куч! Куч! Куч!

— Тиля-ти-ля, ти-ли-там!

— Ап-па, а-ля, а-ля!

— И-иэххх, черноволоса-а-ай!

Старик вспотел, побагровел лицом, запыхался, но усердно крутился в середине круга на одной ноге вперед. Вокруг него билась, развевалась, хлопала, как на ветру, юбка молодой цыганки, мелькали тугие, смуглые икры. Беше-

ный ритм захватил, заразил всех. Один за другим пускались гости в пляс. Колька-баламут жарко задышал в ухо Альберта:

– Здорово, а?! Вот так мы, цыгане, гуляем!

– Все-таки Пушкин умный человек был, – заметил Граф. – Как он сказал?! Цыгане шумною толпою по Бессарабии кочуют... Ах!

Наконец старик не выдержал, вылетел, чуть не упав, из круга, бессильно опустился на скамейку, задышал бурно, словно загнанная лошадь, хватаясь одной рукой за сердце, другой – растирая больную ногу. Сашко поднес ему стакан самогонки.

Вслед за стариком выскочила и молодая плясунья. Восторженно поблескивая глазами, она оглянула всех, как обожгла, и опустилась на порог, прислонилась лбом к косяку.

А пластинка крутилась-крутилась, и гости все так же кричали, топали ногами и хлопали в ладоши. По кругу поплыла, чуть-чуть улыбаясь, дебелая, чернобровая сватья. На ней было богатое черное атласное платье, поверх него – синий шевиотовый пиджак, на ногах желтые сафьяновые сапожки. Гости захлопали сильней, и сватья, плавно размахивая пухлыми белыми ручками, заходила мелкими-мелкими шажками и звонко выкрикивала:

– Куч! Куч! Куч!

Тут не утерпела и Анна Степановна. Она сделала выходку, вскинула голову, поправила косынку на плечах и пошла плясать, предварительно тонко взвизгнув, колыхая животом. Это развеселило честную компанию еще больше. По просьбе матери вышел на круг и Сашко, погладил усы, приложил руку к затылку и пошел дробить пол каблуками, сверкая глазищами. И заколобродило все вокруг. Все тут выплеснулось разом: и цыганская радость, и цыганское горе. Кто-то еще плясал, выделывал, выкидывал, стараясь не упасть, коленца, кто-то еще гоготал, поддерживая плясунов, кто-то уже плакал, жаловался на жизнь и судьбу. Граф вдруг распустил нюни, размазывал кулаком слезы по лицу и рассказывал Цыбульскому про свою горькую жизнь: и дом не достроен, третий год без крыши, и никто не понимает его, не помогает, и машина все время на ремонте, нет никакого заработка, а тут еще и баба в пятый раз тяжела.

Возле печки базарно заспорили бабы, перемывая косточки какой-то строптивой девчушке, не пожелавшей

выйти за цыгана. Анна Степановна раскраснелась от выпитой самогонки, лицо пошло пятнами, она рассказывала сватье про свою вдовью долю и размахивала кулаком, словно кому-то угрожая.

— Я одна... одна четверых воспитала, гадский дух! Всех в люди вывела... Правильно я говорю, а? Правильно?!

Сватья плохо слушая, кивала головой и зорко поглядывала на гостей.

— Нет, скажи, скажи, Мария Назаровна, разве моя Розка плоха?

— Что ты сватьюшка, я ничего не говорю... Сейчас я на нее не жалуюсь. Сейчас она все умеет. А первое время, когда мой Сашко привел ее в дом, господи, ну, ничегошеньки не умела...

Сватья улыбнулась, и Анна Степановна глазами захлопала.

— Как это... не умела?

— Смех один... даже коровы боялась. Сашок сам доил. Подождет, пока стемнеет и сам доит. Стыд-то был — и-и-иии...

— Конечно, мы же всю жизнь в городе живем. Не в деревне. — Анна Степановна сделала гримасу. — Она и коровы-то не видела. Зато ходила всегда чистая, нарядная, как... как фрынцесса.

— Фрынцесса... — поперхнулась сватья. — Ой, господи! Стыд ведь прикрыть нечем было.

Гости пошумели, поголготали и, поблагодарив хозяйку, всей гурьбой подались в следующий дом. Вместе со сватьей пошла и Анна Степановна.

Вернулись уже в сумерках. Сватьи шли впереди в обнимку и невпопад, не в лад тянули:

Рябина, рябина,
Несчастная я...

Розка в это время скребла пол на веранде. «Сегодня же поговорю с ней. Хватит! Они тут по гостям шалаются, а Розка полы мыть? Заберу!» — твердо решила Анна Степановна.

Сватья, Сашко, Альберт и две цыганки уселись чаевничать. Сватья с наслаждением схлебывала из блюдца густой чай. Анна Степановна курила у окна и хмурилась. Она не была охотницей до чая, а самогонки зять почему-то не наливал. Видно, решил, что хватит. С улицы при-

шла Роза и села на сундук возле печки. И тут Анну Степановну взорвало.

— Почему, гадский дух, Розка не садится чай пить? — спросила хрипло.

Сватья отставила чашку, сузила глаза.

— А кто ей запрещает? Пусть садится и пьет. Чай, не чужая в этом доме.

— Почему она, как сирота, к печке все жмется?! — повысила голос Анна Степановна. — Второй день гуляем, жрем-пьем, а она только моет да убирает. Что за законы такие? Или она в служанки нанялась, а?!

— Помолчи, мама! — попросила Роза, бледнея. — Ты что, скандалу хочешь?

У цыганок заблестели глаза. Сватья застыла, держа блюдце возле раскрытого рта. Наступила пауза.

— А кто же полы мыть будет? — недобро поинтересовался Сашко. — Мать, что ли? Старая, больная мать? Или я? Или, может, Стэллка? Она сама пришла в этот дом. Сама! Она за цыгана вышла. За цыгана, а не за какого-нибудь пентюха-лопуха!

— Ишь, ты, ишь, ты-ы, герой какой! — Анна Степановна даже передернулась. — Да за такие слова, за такие слова... тебе, тебе и в рожу...

— Ха-си-ем! — в один голос простонали цыганки, хватаясь за головы.

Сашко вскочил.

— Как вы смеете? — Он задохнулся от гнева. — Как... как вы смеете на мужчину...

— Ту штыл, Сашко! Ту штыл! Замолчи! — спокойно сказала сватья. — Вы что, дорогая, шумите-то? Мужчину, хозяина дома срамите? Нехорошо-о! Вы приехали в гости, так ешьте, пейте, веселитесь. Устали — вон постель, отдохните. А кричать...

— Я не отдыхать сюда приехала, а за дочерью несчастной.

— Мама, перестань! Не говори глупостей! — со слезами на глазах взмолилась Роза.

— Анна Степановна, — с укоризной заметил Альберт. — Успокойтесь же!

— Я, гадский дух, вызову милицию или депутата и живо наведу здесь порядок! — распалялась Анна Степановна.

— Стыдно! — возмутился Альберт.

Сватья с нескрываемым презрением смерила взглядом Анну Степановну и сказала что-то по-цыгански. Цыган-

ки сразу же ушли, Сашко с Розой отправились спать во времянку во дворе, Альберт потащился, смущенно повесив нос, в спальню. Убрав посуду, сватья тоже молча удалилась в свою комнату.

Стало непривычно тихо. За окном чвакал дождь. Откуда-то доносились пьяные выкрики, где-то закукарекал перепуганный петух. Шла вторая ночь пасхи...

Анна Степановна, не раздеваясь, сидя на краю кровати, одна в большой комнате, курила и говорила просто так, в темное пространство про свою жизнь, про то, что воспитала одна четверых, а счастья все нет и нет, и никто ее не понимает, что Розку-дуреху приворожили, одурманили, превратили в служанку. Она приехала специально за ней, все деньги поистратила на дорогу, хотела ее увезти домой, к себе, вырвать ее отсюда, а она еще воображает, от материнской помощи отказывается.

Через день Анна Степановна и Альберт собрались домой. Сашко с Розкой проводили их до станции. Они все время заигрывали друг с другом, щипались, обнимались, ласкались, словно встретились после долгой разлуки. Анна Степановна только головой качала.

— Вот дураки! Как маленькие, ей-богу.

Роза дала матери кулич и бутылку самогона. На станции встретился знакомый сменщик шофера.

— А, молодуха! — заулыбался он, увидев Анну Степановну. — Ну, как, хорошо погуляла?.. Садись в мой автобус. Скоро поедем.

И потом всю дорогу шофер шутил, заигрывал с Анной Степановной. Она рассказывала ему о том, как крепко живет ее дочь, как здорово их встретили, как было весело и хорошо, сколько надавали подарков. Альберт дремал на заднем сидении. За три дня пасхи он устал больше, чем за год работы в лаборатории института.

Доехали ночью. К калитке своей Анна Степановна шла уже совершенно спокойной, умиротворенной. Она уже думала о своем доме, о небольших, а все же бесконечных заботах, о том, что она завтра скажет «девчонкам» на работе, как те будут охать и ахать... да мало ли еще о чем.

Поездкой своей Анна Степановна осталась довольна.

1970

БАЙСУНСКАЯ, 59

I

— Ааа-ллаа... Ааакбаааар!..

Гортанный зычный голос взмывается над махаллями гигантского города в предрассветной тиши. Муэдзин не выкрикивает, а торжественно выпевает недоступные мне арабские слова, и они, доносясь из тысячеустой вековой глубины, точно налаживают, настраивают взбаламученную душу на доброе и радостное восприятие робко занимающегося нового дня. Упоительный покой, умиротворение и благость обещает и навевает напев правоверной молитвы.

Тягучий голос азанчи вдруг обрывается, будто срываясь с поднебесной выси в сутемень объятого сном города. И тишина становится столь оглушительной, что через распахнутое окно, затянутое сеткой от комаров, явственно слышу, как вздрагивает ветка на яблони, как протяжно зевает в старческой дреме уморенный ночным бдением мудрый Рекс, как трепыхается курица на насесте за домом и скребется мышь в летнем чулане, как капает вода из колонки возле калитки.

Мне не спится. И не только от азиатской духоты. Назойливые думы теребят, гложат душу. Может, сказывается груз уже солидных лет? Ибо думы эти не четкие, не совсем ясные — размытые, зыбкие, как сама жизнь в последнее время, как все, что творится вокруг — и в огромном, несуразном мире, в котором ты копошишься, как муравей, и ровным счетом ничего не знаешь, и в скромном семейном мирке, где все же кое-что, а иногда и больше, чем тебе под силу, зависит от тебя. Мечется душа в тщетных поисках вожделенной гармонии, разумной упорядоченности бытия, в противостоянии сплошной смуте, захлестнувшей всех и вся, в неустанном желании того магического стержня, способного удержать хрупкое равновесие и размеренный лад, чтобы только не ввергнуться в черный час в беспросветную пучину хаоса. Не в такие ли минуты родилось стремление к мистическому состоянию блаженства — к погружению в нирвану, столь соблазнительную особенно здесь, на Востоке? И не звучит ли мотив фатальности, предопределенной тщеты человеческой воли в предутренней молитве муэдзина, призывающего правоверный люд к покорности и смирению перед всеблагим и всемогущим Творцом?

Второй день нахожусь я здесь, в отчем доме, после годичного перерыва. Все мне близко и знакомо, каждая вещичка на своем исконном месте, и, чудится, я смог бы найти даже с завязанными глазами все, что мне нужно — и в комнатах, и во дворе, и в пристройках, и в саду; и отец, несмотря на свои преклонные лета, по-прежнему сноровист, услужлив, суетлив, и сестра Альма все так же легка и стройна, приветлива и собранна, только в глазах печаль да возле рта залегли скорбные морщинки, и Танюша-племянница все цветет и хорошеет, да женихи где-то запропастились, и Артур, поздний отцовский внук, надежда нашего хиреющего на глазах клана, в меру паинька, в меру неслух, вытянулся, подрос, и Рекс все тот же, все понимающий, деликатный и рыцарски верный...

Все, все так же, то же, только... только нет мамы, покинула нас год назад, майским утром, и до жгучей тоски в сердце, до горячих слез чувствую я теперь, как ушел с нею и животворящий Дух из этого дома, из этой усадьбы — дух благородства, единения, справедливости и организующего, созидательного начала.

Да, это так. Это невозвратно, с чем мириться трудно. Может, потому и не спится мне? Может, душа оплакивает здесь не маму, уже больше года покоящуюся возле сестры моей Розы на ташкентском кладбище Домбрабад, а тот мир, ту духовную ауру, тот нравственный опыт долгой и праведной жизни, которые она навсегда, навсегда унесла с собой?

Истаивает ночное марево в саду. Мечутся призрачные тени за окном, прячутся по углам. Неожиданно и резко заливается колокольчиком старый будильник в шкафу на кухоньке. Боже, сколько раз на своем долгом веку он заходился такой неистовой трелью, дрожа всем железным корпусом и захлебываясь от усердия. Звонил он так еще в довоенную пору, когда отец служил в летной школе в Энгельсе, в рабоче-крестьянской Красной Армии. Потом он будил моих родителей в их родном селе Мангейме, потом — в кантонном центре Гнаденфлюре, потом, уже после высылки, — в казахском ауле на берегу Есиля, и меня, помню, несколько лет будил чуть свет, задолго до занятий в школе, пока не уехал из аула, и вот так же исправно будит родительский дом уже третий десяток лет в Ташкенте, и почти всегда в одно и то же время, за четверть часа до шести, и этот стародавний распорядок соблюдается неизменно, неукоснительно, ибо мои родители, а потом и мы, их дети, всегда были раноставами.

Будильник – верный служака первых пятилеток. Правда, и он изрядно поизносился, скрипит всеми суставами, и потому приходится иногда класть его то на бок, то на другой, то поблекшим циферблатом вниз, то на спину, а то и вовсе ножками-штырями кверху, дабы не сбился с ритма ход, то замедляет, а то и передохнет малость, как бы замирает, но звонит всегда вовремя, громко, бойко, как молодой.

И насколько я помню, мои родители умудрились просыпаться неизменно на несколько минут раньше его заливистой трели. Получалось, не он их будил, а они его. Он как бы только подстраховывал. И будильник за долгие годы знал это, привык, но все равно исполнял свою обязанность, как испытанный и надежный слуга.

Звякнули ключи в замках, со скрипом растворились двери сарая и кладовки. Потом послышался тяжелый топот кирзовых сапог. Потом донесся лязг колодезной цепи и грохот ведер. Все знакомо и привычно. Отец приступает к утренним хлопотам по твердо заведенному порядку.

Вслед за отцом встает сестра Альма. Слышу ее легкие, быстрые шаги, шлепанье отопок, как ополаскивает чайники, наполняет их водой из-под колонки, как вспыхивает на мгновение и шелестяще струится газ из горелки

Я тоже выхожу во двор, окунаюсь в бодрящую утреннюю прохладу после дурманящей комнатной духоты.

– Гутен морген, – говорит отец, шлендая мимо в расхлябанных кирзачах.

– Гутен морген, – отвечаю с заминкой, ибо непривычно звучит это старомодное немецкое приветствие в ташкентском дворе.

Когда-то, на Волге, а потом и в ауле на берегу Есиля, пока мы, я и мои сестры, не разбрелись, не разлетелись кто куда по разным краям-сторонушкам, мы в семье говорили преимущественно по-немецки, на нашем старинном, родном диалекте, и это было так естественно, как нечто само собой разумеющееся. Более того, и на людях, в казахской ли, русской ли среде, при необходимости мы между собой общались всегда по-немецки, абсолютно не задумываясь, хорошо ли это или плохо, прилично или неприлично. Да, с годами немецкая речь наша становилась все более бедней, скудней, все более корявой, косноязычной, помимо воли вплетались русские или казахские слова в немецком обличии, с немецкими аффиксами и префиксами; а позже, когда в отчий дом наведывались

русскоязычные снохи и зятья, когда пошли внуки, начала решительно брать верх русская речь и вскоре и отец, потом и мать все чаще переходили на «руш» и из этого порой выходила такая абракадабра, что хоть стой, хоть падай. Иногда я поправлял маму, когда, скажем в ее устах арбуз обретал женский род. «Почему же «она»? – говорил я. – Арбуз – «он»!» Она искренне удивлялась: «Как «он»? Это большой арбуз – «он». А маленький и средний – «она»! Или выражалась так: «Ах, педни Фофка... Опять шлепнулась? Ах, ты колова пез ум!» Но ничего, все понимали, приноровились, а мама была абсолютно убеждена, что говорит вполне по-русски и даже позволяла себе иногда снисходительно посмеиваться над выговором свахи Марии Гавриловны, обильно пересыпавшей свою речь украинизмами, – уже в Ташкенте.

Я стою во дворе, глажу лохматого Рекса, который по утрам требует от меня немного внимания и ласки, и оглядываюсь по сторонам. Все то же. Да не совсем... Вон там, чуть далее колодца, обычно стояла рано утром в легком халатике мать, расчесывала волосы и, глядя на меня, спрашивала: «Как спалось? Собаки не мешали? Комары не кусали? Ничего не болит?»... Что и говорить, материнская забота приятна и умиротворяюща и в шестьдесят лет. Теперь о том никто уже не спросит, а если и спросит, то не так...

II

– Ну, так кто же поедет на Домбрабад?

Отец оглядывает собравшуюся за столом нашу ташкентскую родню. Ему, я понимаю, хочется, чтобы его дети, внуки, правнуки, зятья почаще наведывали бы мать, бабушку, прабабушку, переселившуюся год назад на ташкентское кладбище. Но многим вечно недосуг. Да и добраться туда, на самую окраину другой части города в зной, в духоту, в неимоверной сутолоке – мука-мученическая. Считай, полдня пропало, да и ухайдакаешься – не приведи Аллах. Ну и дел, конечно, всегда невпроворот.

Отец выдерживает паузу, еще раз обводит всех за столом вопрошающим взглядом и заключает:

– Ясно. Вопрос решен.

Это означает, что едем втроем: сам отец, самый резвый из всех нас, несмотря на свои восемьдесят шесть годков, и

я с Раей – новоиспеченные пенсионеры. Остальным некогда. У остальных земных забот – полон рот.

Путь на Домбрабад долог. Проще, понятно, поехать на такси, но с некоторых пор этот вид транспорта и в Москве, и в Алматы, и в Ташкенте доступен разве что прямым наследникам мифического Креза. Вся отцовская пенсия – как раз на один конец. На другой конец – смело клади зарплату Альмы. Значит, топаем на своих двоих полчаса вдоль сказочно захламленной по берегам речки Карасу до метро, потом в грохоте и давке пролетаем несколько станций, потом делаем марш-бросок по длинным подземным переходам, отец уверенно прорезает толпу, маячит где-то впереди в своей соломенной шляпе, за ним, задыхаясь, обливаясь потом, теряясь в сутолоке тюбетеек и живописных одеяний, плетемся-тащимся мы, потом снова протискиваемся в вагон и едем, едем долго, до-олго, до-о-олго, наконец, объявляется конечная остановка, пробиваемся сквозь плотный строй горластых зазывал наверх, на свет божий, в слепящее пекло, идем, идем, идем через нескончаемые торговые ряды и лавки, заваленные импортным и местным ширпотребом и диковинной восточной снедью, оглушаемые какофонией преисподнего рева яростно перекрикивающих друг друга «магов», выбираемся из вавилонской толчеи на асфальтированную дорожку, ведущую к кладбищу. У входа покупаем цветы – отдельно для Розы, младшей сестры, покинувшей нас в возрасте тридцати пяти лет, отдельно для мамы – и в благоговейной тишине еще некоторое время бредем вдоль бесконечного ряда надгробий.

...В мае, в начале нового дня, тихо и неожиданно отошла мама. О чем она думала в свои последние дни? Кого вспоминала? Думала ли о родном, уже не существующем на земле, селе Мангейм на Волге? Вспоминала свою жизнь в казахском ауле на берегу Есиля? Или тихо печалилась о своих детях и внуках? О том уже нам не узнать. Со мной она говорила в последний раз по телефону 9 мая, поздравила с Днем Победы, вспомнила, как я в тот памятный день 1945 года бегал по аулу, оповещая всех о радостной вести и ликующе вопя: «Суюнши! Суюнши!» Добрый, сердечный такой разговор, и ни о чем плохом не подумалось, а через девять дней, утром, я как раз собирался на работу, уже стоял у двери одетый, обутый, как вдруг лихо затренькал телефон... «А, ладно, – мелькнуло в голове. – Мало ли кому вздумалось звонить? Найдут... потом...» Я

уже отодвинул щеколду, а трель продолжалась, и тогда я с досадой ринулся в кабинет, схватил трубку. «Герольд, — услышал я голос Альмы. Она сделала паузу, и я похолодел, почувствовал беду. — Мама умерла...»

Теперь я думаю: а что, если бы в тот миг трубку не поднял, ушел на работу? Или Альма позвонила полминуты позже? Когда и где настигла бы меня черная весть? Как бы все сложилось тогда? Когда и как я бы выбрался в Ташкент? Сложилось бы все так разумно, толково, ладно? Ай, не знаю... Вот и не поверь после этого в некую магическую силу, подспудный, недоступный уму импульс, в потустороннюю волю или знак судьбы — называй, как хочешь...

Мы стоим у могил. Отец срывает шляпу с макушки, склоняет голову. С надгробья из гранита строго, скорбно, взыскующе смотрит Роза. В этом взгляде сестры я всегда ловлю немой укор. «Ну что же вы?!» — как бы вопрошает этот взгляд. — Как же так? Как вы могли допустить такую несправедливость?» В самом деле, все мы, живые, как бы виноваты перед Розой, самой младшей из нас и самой первой из нас покинувшей этот мир. Шесть неимоверно долгих лет она стойко сражалась с неизлечимой хворью, шесть лет изо дня в день жили мы все — родители, сестры, брат, муж, дети — в беспомощном сострадании к ней, зная, что она обречена. И какая уж тут справедливость, когда женщина во цвете лет вынуждена уйти, сраженная недугом, покинуть навсегда близких, родных, мужа и детей неокрепших? Вот и взирает на этот несправедливый мир с гранитного стояка наша Роза уже десять лет, не находя ответа на свои вопросы: «За что? Почему? Как же так?!»

И нет ей ответа. Ни на этом, ни на том свете...

Смерть Розы и маму нашу сильно подкосила, подбила. Материнское сердце тоже не могло смириться с этой несправедливостью. И мама в душе желала лечь в землю рядом со своей несчастной дочерью, надеясь, видно, что таким путем может хоть как-то утешить ее, поддержать в том мире ее скорбный дух. Сокровенное это желание сбылось. Мать и дочь покоятся рядом. Одна из них родилась в Северном Казахстане, уже после высылки, другая — на земле предков, на Волге, откуда ее насильно изгнали, а нашли обе приют на узбекской земле, да будет она священна. Так угодно было распорядиться судьбе.

Могила мамы ухожена. Над нею высятся чинары, защищая ее густой тенью. Растут цветочки. Порхают бабоч-

ки. Только нет надгробья. Его мы должны сегодня заказать. И мнения тут разошлись. Сестры и отец не находили в этом вопросе единого языка. Какое должно быть надгробье? Какой формы? Из чего? Богатое или попроще? Отец в своем мнении остается в меньшинстве, и он, волнуясь, кипятясь, многословно и сбивчиво объясняет нам, непонятливым, каким должно быть по его убеждению надгробье и как его следует установить. Он все продумал до мелочей и настаивает на своем.

Я сижу на краешке скамейки и думаю о превратностях человеческой судьбы. Я не могу размышлять о жизни моей матери в отрыве от трагической судьбы российских немцев. Мать была живым воплощением немки с Поволжья, она помнила своего дедушку, старожила степного немецкого села Мангейм, ее генетическая память сохранила дух, нравы, обычаи, язык, запахи той – далекой и невозвратной – жизни наших предков, угасшей, растворившейся во мгле нашего прошлого. Она хранила в своей душе своеобразную эпоху начала нынешнего века и могла живо свидетельствовать о нем на его исходе. Это ведь был другой мир, другая жизнь, и люди были совсем другие, лучше или хуже – не о том речь, просто другие, о которых ни малейшего, можно сказать, представления не имеют ее внуки и правнуки, обитающие ныне в другом краю, на другой земле, в другой стране, даже, может, на другой планете. Немного на свете осталось людей из исчезнувшего с лица земли некогда многолюдного, шумного немецкого села Мангейм, помнящих ту жизнь, ту судьбу развеянного ныне на земле этноса, и я думаю, что для нас, потомков, это потеря огромная. Мать моя как бы связала эту хрупкую, таинственную нить прошлого и настоящего целого народа. И на наших глазах эта нить рвется навсегда. Кто поведает нам о той жизни, о селе Мангейм, скажем, двадцатых-тридцатых годов? Двое-трое из этих людей ныне доживают свой век в Германии, один объявился совсем недавно в Каракасе, в Венесуэле, куда забросила его неистовая буря военных лет. Старый, ослепший Александр Унгефуг, бывший житель поволжского села Мангейм пишет мне из Каракаса, надеясь через меня разыскать хоть кого-нибудь из многочисленного семейства клана. Вот он, отголосок трагической доли российских немцев. Пройдет еще, быть может, десяток лет и не останется на земле ни одного человека, который помнил бы Мангейм, отчий край, где некогда бурлила жизнь, пре-

вращенный в пепелище, в прах в угоду подлой и трижды проклятой политики ничтожных ублюдков, возомнивших себя вершителями людских судеб.

Человек, который много знал о Мангейме (а сколько таких мангеймов было некогда на российской земле!), лежит здесь, на ташкентском кладбище. Другой, мой 86-летний отец, хлопочет сейчас у могилы своей верной спутницы жизни. Немного о том селе, о том времени в самый канун всемирной бойни знаю я, вступивший в седьмой десяток. Я иногда пытаюсь возвращаться мысленно в тот мир, воскрешаю время, чутко, бережно касаясь хрупких деталей, чтобы ненароком не вспугнуть память.

Куда же это делось? Куда, куда? Что стало с этносом? Куда делись его представители кровь от крови, плоть от плоти? А еще говорят: ничего на свете бесследно не исчезает...

На память приходит Екклезиаст: «В будущие дни все будет забыто. Нет памяти о прежних людях. И любовь их, и ненависть, и ревность давно исчезли, и уже нет им участия ни в чем, что делается под солнцем».

«Спасибо, что пришел, что не забываешь...»

«Что ты, мама! Я всегда о тебе помню».

«Я тоже».

«И во сне иногда вижу».

«Обо мне не беспокойся. О себе думай... Здоровье как?»

«Ничего...»

«Не тужи... не изводи себя. Что должно быть, то и будет».

«Да, мама. А что будет, то уже было».

«Правильно говоришь...»

Нашу беседу нарушает спор отца со своей снохой. Оба холерики, вспыльчивые и горячие. Друг друга не слушают. Каждый доказывает свою правоту, яростно опровергая доводы противной стороны. Спор все о том же: каким должно быть надгробье? Какой вариант и из какого камня предпочтительней? Гармонирует ли он с надгробием Розы? По душе ли он был бы покойной?

Я тихо говорю:

— Ладно. Сделаем так, как хочет отец. Он прав.

Рая соглашается тотчас. И отец успокаивается. И мы все трое удовлетворенные, умиротворенные, идем в мастерскую заказывать надгробный памятник из отполированного серого мрамора с выбитым на нем портретом мамы.

Потом мы тем же путем возвращаемся назад, и я вни-

мательней, пристальней оглядываюсь вокруг и с радостью замечаю, что Ташкент похорошел, помолодел, и люди стали добрее, сердечнее, улыбчивей, что, как и прежде, поразительно красивы, восхитительны узбечки – такие тонкие, одухотворенные лица, так грациозны и милы в движении, в улыбке, столько в них необъяснимого очарования, что поневоле возрадуешься земному бытию, сотворенному Всевышним.

III

Вечером, когда сникает жара, в саду начинают задумчиво порхать белые бабочки. Они облетывают двор, кружатся по саду, будто проверяют, все ли в порядке, все ли ладно, иногда ненадолго опускаются на куст смородины или на ветку яблони, трепещут прозрачными крылышками и так же незаметно, точно в рассеянности, исчезают.

– Вон, дядя Гера, бабочка! – У Артура загораются глаза. – Смотри, смотри!..

– Вижу.

– Может, это дух бабушки! Может, он переселился в бабочку?

Артура хлебом не корми, только рассказывай о всяких мифических явлениях и превращениях. Страсть как любит рассказы о разной нечисти – о кикиморах, барабашках, домовых, ведьмах, вурдалаках, чертях, албасты, оборотнях, леших, начитался сказок разных стран и народов, и библию для детей знает назубок, и всякой фантастики, о чем в его возрасте я и духом не ведал. Когда похоронили бабушку и собрались уйти с погоста, над свежей могилой закружилась-запорхала белая бабочка. И кто-то из нас, взрослых, невзначай проронил:

– Дух бабушки вьется...

Это так глубоко запало в неокрепшую детскую душу мальчика, что он в первые дни ко всем приставал с расспросами: а что значит душа, а куда она исчезает, как вырывается из гроба, из ямы, где обитает, какая она из себя, как она может переселиться в другое существо, а в черепаху может?.. а в змею, крысу, воробья может?.. и что потом будет, и вообще, что станет с человеком, когда он умирает, и как это можно понять, что была бабушка, вчера только по двору ходила, а сегодня ее нет и все? Любознательного любимого бабушкиного внука все это жутко, до мистического трепета волновало. Каждый толковал ему

на свой лад, по своему разумению, и в результате в голове мальчика сложился полный сумбур, ералаш.

Эти бабочки, появившиеся в тот миг, смутили и мою материалистическую душу. А потом и вовсе случилась чистой воды мистика. Похоронив маму, через несколько дней, рано-рано, еще до рассвета, когда я вошел в летний сарайчик, чтобы обуться и выехать в Шымкент, вдруг запорхала-затрепетала, закружилась, забилась вокруг меня белая одинокая бабочка, да так трогательно, усердно, словно не хотела со мной расставаться, будто силилась удержать меня, и поневоле мне подумалось тогда: боже, неужто мамина душа?! И потом, пока я толкался по двору, собирал в дорогу какие-то вещички, бабочка неотступно порхала вокруг, облетывала меня, все кружилась-кружилась в диковинном экстазе, и я по-настоящему растерялся. Так, порхая, она сопровождала меня до самой калитки и тут еще облетела меня, едва не касаясь моей головы, и вдруг упорхнула, легко, стремительно, низко стелясь к земле, в сад. Я обомлел, опешил, посмотрел ей вслед и был так заворожен ее полетом, что не сразу сел в машину. И потом всю дорогу, до самого Шымкентского аэропорта, я не мог отделаться от странного ощущения, навеянного белой бабочкой в тот предрассветный час.

Вот и сейчас, собравшись за столом во дворе, мы вспоминаем маму, а белая бабочка, прилетев из сада, время от времени облетывает нас, кружится, кружится вокруг. У Артура округляются глаза. Завороженно следит за невесомым порханием бабочки. И зримо чудится нам, будто действительно дух нашей мамы витает над нами, прислушивается к нашим разговорам. Каждый предмет во дворе напоминает о ней. Вон на той скамейке вдоль железной сетки она имела обыкновение отдыхать, сложив натруженные руки на колени и наблюдая за всем, что происходит в усадьбе. А на этой кровати под навесом она лежала со сломанной ногой. И мы с Альмой, усадив ее, бывало, на табурет, выносили ее из душевой комнаты во двор, а позже я заставлял ее подниматься, преодолевать боязнь и терпеливо учил передвигаться на костылях, делясь своим многолетним опытом. Ох, и трудно давалась ей эта наука на старости лет, но ничего, переборола страх, встала на ноги, пошла-таки без костыля, без тросточки. А сколько воды вычерпала она из этого колодца! Сколько муки пересеяла, сколько картошки перебрала в той кладовке! Мы вспоминаем ее своеобраз-

ную речь, любимые выражения, комическую смесь из немецких и русских слов.

Она хранила в памяти уйму народных немецких песен, среди них и таких, которые предки-колонисты вывезли некогда из германских княжеств еще более двух веков назад; знала частушки-шнёркели времен советизации и коллективизации в немецких деревнях на Волге; вспоминала неожиданно какие-то обрывки, фразы русских городских романсов, как память о своей недолгой жизни в летной школе в Энгельсе в середине 30-х годов; часто прибегала к простонародной диалектной речи поволжских крестьян начала века. Жаль, что в нашей, детей и внуков, памяти многое из этих слов и выражений не запомнилось, выветрилось, не зафиксировалось на бумаге, лишь в последние годы, навещая родительский дом, я иногда делал беглые записи в блокноте.

Вот, к примеру, дошел слух, что наш земляк, прыткий мангеймовец Иоганн Ворм засобирался в Германию со всей своей немалочисленной семьей, в которой немцем, собственно, числился он один. И мать говорит: «Wo will er mit seine Russeartel hin?» – «Куда же он навострился со своей русской артелью?» Однажды утром мама рассказывала отцу: «Собака всю ночь так lamentiert, так lamentiert». Или вот еще фразы, которые, к сожалению, не всякому русскому или немцу доступны:*»Du tust ja rundakapunda mache»; «mach mir keine Fisamatende»; «sie tun ja alle неплохо taskajen»; «Ei, der ist doch ein pustaja Shopa»; «Das sind lauter Schugr-muggr-Wänst»; «Schweinigel», «Scheisskapp»; «dumm wie'n Hafersack»; «holzerne Bobbemann»; «sie liest sich ach net in Sack treiwe»; «er hat sich recht vermuschkuriert»; «so was ist nicht in Planet vorgesehen»; «Dou hilft der Batjuschka mit die Matjuschka net»; «du bist ein Trudelarsch».*

Одно время узбекская киногруппа снимала по моему сценарию фильм в нашем дворе. Мама уже привыкла, что киношники в расхристанных одеждах с утра толпятся во дворе, творя немыслимый тарарам. Но однажды они задержались, и мать, удивленная непривычной тишиной, спросила, проснувшись: *«No-o, wo sind die* киномартышкинс?» Более точного определения, пожалуй, и придумать нельзя было! Многие из ее словечек невозможно переводить на русский язык. Не найдешь их и в словарях. Но это были живые, своеобразные слова со своей окраской, вкусом, обличьем.

Власть она не жаловала, говорила о ней непочтительно, пугая этим моего законопослушного отца-коммуниста. О хапугах из Regierung говорила : *«Sie müssen alle in Rache verstickt werde»*. Отцу как-то сказала: *«Fufzig Jahre stickst du in die Partei, aber bist eine Scheisshose. Gebe dir 10 kopi und dou springst du in Brunne»*.

Притащил как-то отец из распущенного райкома списанные стенные часы. Решил он их приладить к стене в закутке. Возник спор. Сноха настаивала повесить часы на веранде. Я полагал, что подходящее им место во дворе. Решили: пусть рассудит мама. Пошли к ней, лежавшей со сломанной ногой на диване. Она выслушала и объявила: *«Das raikomische Scheiss kann drausse hänge bleibe...»* Не желала она, чтобы «райкомовское дерьмо» в доме висело.

В августе 1991 года по телевидению показали, как в Балтике краном стащили с постамента памятник вождю международного пролетариата. По радио говорили о сплошной департизации (в СССР и департизация и депортация всегда обретали тотальное направление), о последних указах президентов в республиках, о самороспуске вчера еще мощной, монолитной, незыблемой партии. Мама выслушала все это и вечером говорит отцу:

– Чтобы через три дня вышел из партии! Понял? Да, да, со мной не шутитесь! И сними Ленина! Надоел этот кривоногий картавый. Вся зараза от него. Хватит! А то и тебя скоро на кране поднимут...

Когда распустили райком, где отец работал в парткомиссии, мать ехидно заметила:

– Теперь ты, наверно, возле райкома будешь сидеть и кошек сторожить...

В другой раз:

– Ну, что же ты, бедный лацарус, теперь без райкома делать будешь?!

Однажды мама рассказывала за столом:

– В тридцатых годах все вдруг в нашем селе бросились в комсомол. Пошли, как дураки. А через некоторое время сразу пятьдесят комсомольцев забрали в армию. Как же! Отказываться нельзя: ты ведь комсомолец. Нашли дураков! А я ни за что не пошла в комсомол.

Альма с подковыркой спросила:

– А что, не брали?

Мама всерьез:

– Нет, мне было уже тогда противно. И, как видишь, не ошиблась.

Всю жизнь она помнила, как раскулачивали невинных людей, и это свинство – «швайнерай» – она забыть была не в силах.

Несмотря на малое образование, мама всю жизнь не чуралась новизны, имела представление о том, что творится в стране, в мире, любила слушать радио и смотреть телевизор, чутким сердцем улавливала общий настрой, внимательно читала немецкие газеты, высказывала свое мнение, следила за всеми моими публикациями, аккуратно складывала газеты, журналы, в которых упоминалось мое имя. Знала она, что и как пишут российские немецкие литераторы В. Клейн, А. Реймген, Н. Пфеффер, Н. Ваккер, Д. Гольман, Э. Ульмер, В. Шпаар. Некоторых она помнила по Волге, кое-кто бывал у нас.

Как-то мне попалось на глаза стихотворение о ее родном селе Мангейме. Я начал читать его маме:

Hier war meine Heimat,
hier war ich daheim.
Hier liegt ein deutsches Dörfchen,
hiess hundert Jahre Mannheim...

Мама встрепенулась, прислушалась:

– Ты написал?

– Нет. Иоханнес Ремпе. Твой односельчанин.

– Ремпе? Не помню такого.

– Может, еще раньше тебя из села уехал? Он пишет, что сочинил эти стихи 18 июля 1981 года в 10 часов утра, стоя у развалин своего дома.

– Интересно. Может, отец знает? Читай дальше.

– Слушай:

Heute knie ich hier nieder
am heiligen Ort.
Und küsse Vaterhauserde
und zieh wieder fort.

– Бедный, бедный... Все мы бедные. Всем досталось. Йа, йа... und zieh wieder fort...

Adje, lieber Hügel,
wo meine Wiege einst stand.
Leb wohl, Wolgasteppe,
von der Sonn'ausgebrannt!

– Ай, как шалько, шалько... Leb wohl, Wolgasteppe. Хорошо написал...

– Просто, трогательно...

– Как есть. Все правда. Он писатель?

– Не знаю. Первый раз имя мне попадается. Ремпе...

– Странно, что я такого не знаю. Надо у отца спросить. Может, из соседнего Мариенбурга?

Пыльные кипы пожелтевших газет «Фройндшафт», «Дойче Альгемайне», «Нойес Лебен» за многие годы, номера альманаха «Хайматлихе Вайтен», сборники немецких писателей сложены в шкафу в бывшем курятнике и ныне не востребованы. Ни сестры, ни племянники, ни зятья и снохи, ни внуки по-немецки не читают. Нынешним летом вместе с отцом я несколько дней перебирал, переворачивал эти плотные залежи немецкой периодики и всюду обнаруживал следы маминых рук – закладки из пряжи между страницами, корявые карандашные пометки с моим именем.

Не терпела мама жалостливые разговоры о трудности жизни, о неладах и неурядицах, презирала тоску, уныние, бездеятельность. Как-то собрались ее уже повзрослевшие внуки во дворе за круглым семейным столом и принялись дружно сетовать на жизнь, на несправедливость, ныли, нудили, договорились до того, что жить дальше так невыносимо, что надо уезжать – в Германию, Грецию или – на худой конец – в Россию. Мама слушала молча, всю ночь, видно, думала обо всем этом, а утром разразилась таким монологом:

– Сволочи... Работают с девяти до шести и то им много, и то устают. И зарплаты, подумаешь, им все мало. В другую страну еще хотят уезжать! А как мы жили?! Вставали в четыре утра, в пять и до двенадцати ночи работали. И никакой зарплаты не было. Одни палочки-трудодни ставили. И ученых было мало. Никаких таких речей не говорили. Язык за зубами держали. И что? Люди разве хуже были? В сто раз лучше нынешних! А теперь всем мясо давай, зарплату давай, квартиру отдельную давай, а работать не хотят, сволочи, у всех только шахер-махер на уме, друг друга не любят, государство не уважают. И что дальше будет? Кто виноват? Была бы я начальником или бригадиром, я бы им показала, чертям, приделала бы им длинные ноги!

Никто из внуков и возразить не посмел.

Очень тяжело выходила мама из стрессового состоя-

ния после того, как на девятом десятке невзначай, можно сказать на ровном месте, сломала ногу. Временами она чувствовала себя ненужной, просто обузой в семье и подумывала о смерти. Не с кем было делиться своими печальными думами. У всех дела, заботы. Душа матери маялась, не находила себе места. И Бог знает, о чем она думала в такие минуты... В моем блокноте сохранилась такая запись:

Вечер. В углу двора, в закутке, мы с мамой вдвоем. Я читаю Шедрина. Мама очень неловко, с трудом примащивается на кровати.

– Все у меня болит. Вот так и будет все болеть, болеть, и я умру.

Видно, маме хочется поговорить со мной о том, что ее в последнее время неотступно тяготит.

– Да, – говорю. – Умереть не так-то просто. Придется и похворать, и помучиться.

– Это и плохо.

– А как бы ты хотела?

– Не болеть. А умереть – сразу.

Я молчу. Нет желания поддерживать жалостливый разговор.

– Чем так мучиться, лучше умереть, – опять начинает мама.

– А как?

– Не есть, не пить...

– Так проще, конечно. Но надо не о себе думать. А о других.

Мама молчит, соображает.

– А другим, кажется, я и не нужна. Только обрадуются.

– Ошибаешься. Без тебя всем сразу будет хуже. Поверь мне.

Молчание.

– Надоело так лежать... Сколько работы кругом.

– Ну, я думаю, за свою жизнь ты переделала столько, что можешь себе позволить и немного отдохнуть. А встанешь на ноги – все наверстаешь.

Кажется, малость утешил. Мама молчит, думает.

– Нет, моя песенка спета. Все.

– Это знает лишь Бог.

– И Бог не знает. Я сама знаю.

Вечер. Тишь. Духота. На темном азиатском небе зажглись несколько звезд. Вдалеке слышен с одной стороны

голос муэдзина, призывающего правоверных совершать намаз, а с другой – льется заунывная узбекская песня.

Это было июльским вечером 1992 года. А более года мамы уже нет среди нас. Кажется, ничего не изменилось. Тот же двор. Та же обстановка. Мы сидим душным летним вечером за тем же столом, вспоминаем маму. И время от времени из сада прилетает и облетывает нас, кружась, трепыхаясь, белая бабочка с прозрачными крылышками. И я завороженно слежу за ней, и чудится мне, будто незримый дух мамы витает над нами.

IV

– Ну, что, Альма? Еще не получила ауфнамебешайд?

– Какой там? Почти без движения...

С некоторых пор Альма на распутьи. Много в нынешней жизни ей не по душе. Все чудится зыбким, шатким. Нет веры, устойчивости. Жизнь вроде разлаживается все заметнее, как рассыхающаяся отцовская скрипка под кроватью. До пенсии еще ой как далеко, а усталость все назойливей дает о себе знать. Нет опоры, поддержки. Работать сложно. Быт труден. Забот много. Одна воспитывает Артура. Средств еле-еле. Перспектив не видно. И жизнь племянников и племянниц не вселяет надежды. Не живут – выживают... И пошла Альма с племянницей Таней в лютеранскую кирху на улице Жуковского. Духовные песни поют. Молитвы заучивают. К вере приобщаются. Стараются Бога впустить в сердце. Но... не находит душа успокоения. Разные сомнения одолевают.

Вот тут-то и проведал их давний знакомый и добрейшая душа Андрей Христ, давным-давно обосновавшийся на родине предков. Выслушал Альму и Таню, проникся сочувствием и состраданием, предложил переселиться в Германию, обещал всячески содействовать. Дрогнули сердца Альмы и Тани, быстро собрали документы, заполнили антраги. Все! Решено! В Германию, в Германию... А что? Все едут. Кому не лень. Вся махаллинская шантрапа, никакого отношения к немцам не имеющая, уже там. А мы что, рыжие? Не пропадем! Хуже не будет!..

Признаться, такой поворот в умонастрое моих родных неожидан для меня. Но Альму понять могу. Не о себе думает – об Артуре. Она сейчас уже не спит, представляя, как Артур, ее единственная опора, надежда, смысл жизни, свет в окошке, будет служить в узбекской армии. Нет,

нет, такого она не переживет. Бежать, бежать... в Германию или на край света – хоть куда... Ну, а Таня, уроженка Ташкента, полуукраинка, полунемка, не знающая языка, довольно отстраненная от немецкой ментальности, нехваткая, томная, флегматичная, вся в себя погруженная... она-то что потеряла в неведомой Германии? Но именно она-то и больше всего, с хохлацкой настырностью ратует за выезд. У Тани одно на уме: даешь красивую жизнь!..

Меня эта затея никак не греет. И я отношусь к ней более чем сдержанно. И Альма, и Таня это знают. И между нами на этой основе едва ли не холодок отчуждения. И я стараюсь вообще об этом не говорить, чтобы не раздражать их и не распалять себя. Любые аргументы – холостой выстрел. Что ж... у каждого своя судьба. Не могу же я навязать свою волю и быть кому-то помехой. Не могу я утверждать, что только я знаю всю правду и что она целиком на моей стороне. Нет, нет...

Вообще в этом вопросе я консерватор. Не могу себе представить, как бы я мог жить в стране, для которой я ничего не сделал и – по причине возраста – уже ничего не сделаю. Жить нахлебником? Жить на подачках? В кредит? Да я тотчас подавлюсь самой изысканной, самой деликатесной немецкой колбасой. Да немецкий хлеб мне поперек горла встанет. Да самыми натуральными, экологически чистыми соками поперхнусь. Не могу также себе вообразить, как бы я покинул страну, которой я отдал все и которая – как мне чудится – нуждается во мне и сейчас. Другое дело, если меня вытолкнут или я себя почувствую ни к чему уже не пригодным и никому уже не нужным. Тогда другой вопрос. Но это уже трагедия. Или – еще точнее – смерть.

Теперь я уже многое в состоянии понять. Но не все, далеко не все... Умом разумею: обиды, унижения, оскорбления, незаслуженно, огульно, подло, ни за что ни про что, накопилось, наслоилось столько, что с лихвой хватит на семь поколений наперед, отложилось прочно в генетической памяти, не вытравишь, не одолеешь, убитую душу не воскресишь. Перетолкли, перемололи народ, истоптали, извели так, что белый свет не мил. У многих моих соплеменников, как только появилась возможность, одно было на уме: бежать, бежать, подальше, в неведомое, к черту на кулички, куда глаза глядят... от дерьмовой политики, гнусной демагогии, бесконечной лжи, фаль-

ши, фарисейства, от власти, большевизма, социализма, тупизма, идиотизма.

...В годы войны и в послевоенное время в колхозах, помню, пахали замордованные бабы и хлипкая поросль на быках и коровах. Бог ты мой, до чего же измытаренными были колхозные быки! Тощие, мосластые, облепленные слепнями, грязные, с запавшими, в проплешинах и подтеках, боками, облезлые, с истертыми от ярма до крови шеями, со слезящимися, гноящимися, полными боли и муки глазами, они понуро и тупо плелись по пашне, волоча за собой плуг, не реагируя на понукание и подхлестывания таких же изможденных погонщиков.

Однажды я был свидетелем такой вот картины. Перед закатом солнца, вконец обессилев, бык вдруг остановился, тяжело мотнул головой, издал утробный не то стон, не то хрип и, подламываясь, рухнул в борозду, уставясь остекленевшими глазами в беспросветье. Ни изощренный русско-казахский мат бригадира, ни ор испуганных малолетних погонщиков, ни хлесткий удар хлыста не мог заставить его подняться. Наконец, сжалившись над беднягой, высвободили из ярма, дали отдышаться. Бык лежал, безучастный ко всему, лишь судорожная дрожь пробежала вдоль боков да жила на шее, толстая, как аркан, вздувшись, трепетно билась. Казалось, бык обречен. Так и останется лежать в борозде. Но вскоре он вдруг резко дернул головой, глаза налились кровью, он ударил задней ногой, молниеносно вскинулся, встал, взбрыкнул, упруго встопорщив хвост и ошалело, вскачь понесся в степь, заваливаясь на бок, отталкиваясь от земли всеми ногами сразу. Он мчался так, будто испугался погони. Собрав остатние силы, уносил ноги подальше, подальше от людей, от борозды, от плуга, от ярма, от непосильной каторги, от голода, от рабской доли, от ада, который длился день и ночь, неделями, месяцами, годами. Вскоре он исчез, растворился в предзакатной степи...

Вот и мой народ, подобно этому замученному, заморенному быку, собрав всю силу в кулак, всю волю, едва освободившись из кабалы, из ярма комендатуры и бесконечных ограничений, понесся из лагерей, из ссылки, из трудовой армии, из поселений подальше, подальше вплоть до неведомого закордонья. А потом, годы спустя, дерзнул мечтать о восстановлении былой справедливости, о возвращении на исконную землю, где истлели кости предков, где уже развалился, с землей смешанный отчий дом,

но где еще теплилась надежда о возврате к национальным истокам, которые еще жили в памяти, в сознании уцелевших после всех неслыханных мытарств отцов и дедов. И казалось почти рукой подать, ан нет, все тщетно, все напрасно, все утонуло в лживых словах и довольно скоро стало ясно, что к прошлому возврата нет, нет и не будет, что с возу однажды упало, то пропало. И тогда еще недавно репрессированный, закрепощенный народ превратился в Фольк ауф дем Вег – в народ в пути, или, точнее, в народ на распутьи. А можно сказать и так: спецпереселенцы обернулись поздними возвращенцами. Выяснилось, что какими бы глубокими ни были корни, пущенные в чужой земле, в годы смуты они не спасут – усохнут, зачахнут. Ибо везде на Земле в смуту, в мор и разлад народы помимо воли начинают делиться на «своих» и «чужих», на коренных и пришлых, и тогда «чужие» и «пришлые», как правило, окажутся крайними во всем, везде и всюду. Иначе говоря, он не ущемленный и не ущемляемый, не пораженный и не поражаемый в гражданских правах, он всего-навсего крайний. Разве не это сейчас происходит едва ли не повсюду на Земле, несмотря на все демагогические заявления политиков всех мастей, на все старания малохольной идеологии и одиноких донкихотовских пастырей? Разве «пришлые» не видят оскал церберов возле националистической помойки? Разве не слышат они время от времени трубадуров лжепатриотического угара? Не чувствуют укусов щенков враждолюбия? Разве не внушают «некоренным» оракулы пустомыслия сомнительный тезис о том, что «пока один не сгинет, другому нет житья»? Э, все видят, все слышат, все чувствуют и потому шарахаются кто куда, из края в край, с места на место, в поисках пристанища на нескончаемой земле. Но кто кого ждет, где она, обетованная земля или пресловутая историческая родина для сбившегося с толку на исторических ухабах бедного люда?..

V

Что-то разладилось в извечном водовороте жизни. Все назойливее терзают душу непрошенные сомнения. Как быть? Как жить дальше? Долго ли так проживешь? И жизнь ли это, когда нет уверенности в завтрашнем дне, когда не знаешь, даже представить себе не можешь, хотя бы при-

близительно, предположительно, по какому руслу потечет житье-бытье твоих детей и внуков?

Еще недавно на приветствие: «Как живешь?» следовал, как правило, более менее надежный ответ: «Спасибо», «Слава богу», «Шукур», «зозо-лала», «ничего», «вашими молитвами», «грех жаловаться», «в общем-то прилично». Ныне сплошь и рядом отвечают на порядок ниже: «Э, так себе», «как придется», «кое-как», «существуем», «выживаем», «шебуршим», «скрипим», «доживаем». Оптимизм почти везде пошел на убыль. Такова примета, каинова печать переходного периода.

Поневоле задаешься вопросом: откуда такая неуверенность, это гибельное ощущение временности и неполноценности бытия? Что послужило поводом для изматывающих сомнений? Какие ветры навеяли это чувство дискомфортности, неуюта, неприкаянности в наши дни особенно среди людей, стыдливо или откровенно называемых «некоренными», «пришлыми», «меньшинствами», а то и вовсе «чужаками»? Что мешает им вписаться безболезненно, без каких-либо комплексов и психологической маяты в данное общество, все равно, какое – казахское, узбекское, киргизское?

Так что же случилось? Всегда ли это было? Или это следствие каких-то новых общественных потрясений? Горестный результат социальных и национальных сдвигов?

Может, многомудрые политологи и обществоведы и знают ответ, но рядовому человеку уразуметь все происходящее вокруг явно не под силу. Вот он и шарашится, точно застигнутый врасплох таракан, изводит душу, ходит, как потерянный, живет точно во сне. Возможно, в своей душевной неустроенности отчасти он и сам повинен? Бог весть... Вразумительно ответить не каждому дано.

Российские немцы, очутившиеся по злой чужой и доброй воле во всех закоулках в одночасье распавшейся последней империи на Земле, сорвались с мест и уезжают отовсюду – особенно интенсивно из Средней Азии и Казахстана. Так приходит в движение оползень с горы после затяжных дождей. Есть регионы, из которых немцы выехали, оставив добротные постройки и ухоженные подворья, в своем большинстве. Ни память о прожитом, ни славные следы праведных трудов своих, ни дорогие могилы близких – ничего не в силах их остановить. Слишком тяжек груз обид, слишком ничтожна вера в будущее, слиш-

ком очевидны потери всего того, что составляет национальную сущность.

Еще недавно в Кыргызстане, например, немцев было более ста тысяч, ныне осталась пятая часть. Несколько лет назад, когда мы впервые создали в Алматы немецкий культурный центр, в городе проживало двадцать четыре тысячи моих соплеменников. Ныне их, думаю, наберется тысяч восемь-девять. В Таджикистане их остались единицы. В Ташкенте, пожалуй, обитает всего несколько сотен потерянных немецких теней. И поток эмиграции немцев в Германию не убывает. Когда я вижу разномастную толпу у германского посольства на улице Фурманова в Алматы, мне каждый раз становится не по себе. И хотя благоустроенная, сытая Германия уже задыхается от разноплеменного многолюдья и на российских своих сородичей все более взирает отнюдь не с братским умилением, а как на паршивую овцу из чужой отары, однако верная своей государственной политике, национальному честолюбию и Основному закону, продолжает заученно твердить: «*Das Tor bleibt offen*». И наши немцы, зачастую сохранившие лишь немецкую фамилию, и то в весьма изуродованном виде, с русскими именами и отчествами, охотно и благоговейно этому верят, этим утешаются, восхищенно хлопают в ладоши каждый раз при упоминаний об открытых воротах, и косяками лезут в эти самые *Tor*, прихватывая по пути длинный хвост своих иноплеменных родственников – представителей всех этнических групп СНГ в самых диковинных сочетаниях и вариациях, хотя и сами убеждаются воочию: не особенно они желанны, ни в какие контакты с ними не вступают, еле терпят как бедных родственников, которых и немцами-то не считают, а упорно называют русскими, живи хоть десятилетиями и шпрехай без запинки, густо пересыпая свою речь англицизмами и модными словечками типа «о' кэй», «супер», «толь», «прима» и *Tor* действительно *bleibt offen*, но стена трещит, как и госбюджет, в лагерях для поздних возвращенцев все тесней, впору наращивать нары уже в три-четыре яруса и растянуть общий сортир на добрый квартал, и Германия, хоть и немалая, а все же не резиновая.

Бывали времена, когда о российских немцах вообще не упоминали. Они были табу. В официальных данных переписи населения немцев в Советском Союзе относили к графе «и другие». Сколько тысяч тобасаранов проживает на шестой части суши, аккуратно указывалось, а сколь-

ко миллионов немцев все еще уцелело на этом же пространстве, всячески скрывалось бдительными органами бог весть от кого. Потом вдруг остановились на цифре два миллиона. Дескать, около миллиона осели в Казахстане и немногим более – в России. Здесь цифра выросла до 2,2 миллионов. Прошло несколько лет. В Германии объявили, что с 50-х годов из России переселились один миллион двести пятьдесят тысяч «шпэтхаймкереров», то бишь, поздних возвращенцев. Казалось бы, примерно на столько же немцы должны были сократиться в бывшей Российской империи. Ан нет, их становилось с каждым годом все больше и больше. Те, кто в годы ленинско-сталинской национальной политики превращались из Савла в Павла, переоформлялись в русских, украинцев, открещивались от своих сомнительных с точки зрения правящей гнусной идеологии корней, вдруг энергично бросились восстанавливать свою национальную идентичность. Дети смешанных браков также едва не повально перекинулись в стан еще недавно изгойной нации. Выяснилось, что у многих не только русских, украинцев, но и татар, мордвы, казахов, коми, чукчей, ханси и манси бабушки и прадеды оказались немцами. Кое-кто даже «фонами». Всю жизнь промыкался Фрошайзером, теперь настаивает, чтобы его называли не иначе как Фрошайзером фон Ашенбах. Быть немцем – о времена, о нравы! – стало престижным, как в петровские времена, когда пройдошливый Меншиков обратился к государю: «Мин херц, сделай меня немцем». Не надо уже никого бояться или даже стыдиться. В результате столь крутых метаморфоз совсем недавно промелькнула в печати сокрушительная цифра – семь-восемь миллионов. Якобы именно столько этнических немцев все еще обитает на бескрайних просторах бывшего Союза нерушимых. И главное: большинство из них – о Аллах, о майн Готт! – жаждет возвратиться в свой исторический фатерланд. Иначе, цум Тойфель, какой смысл был национально идентифицироваться?!

Германские благодетели-политологи, узнав об этом, едва не свихнулись. Либер Хайланд, будет ли этому когда-нибудь конец? Это же непорядочно, неблагородно! Столько лет твердили на всех перекрестках о двух миллионах единокровных братьев, дьявол бы их побрал, теперь что же это получается? Всем вдруг разом захотелось германского рая – пива, колбасы, порядка и уюта. Да, было время, когда Германия шумно радовалась возвращению

на землю предков тысячи-другой соплеменников из коммунистического плена. Даже торжественно отметили прибытие в мир свободы стотысячного этнического немца из России. Как же, это была впечатляющая политическая и идеологическая победа, особенно в эпоху холодной войны. А вот уже по поводу миллионного позднего возвращенца, зафиксированного переселенческими службами, в Германии никто уже в литавры не бил и чепчиков в воздух не бросал. Наоборот, говорили о том с нескрываемой озабоченностью, с прискорбием.

Бесконечные делегации, зачастившие из Германии в последнее время, – депутаты Бундестага и Бундесрата, деятели общественных, партийных и религиозных организаций, журналисты всех мастей, – встречаясь с представителями разных слоев этнических немцев, жадно допытываются: что мешает тутошним немцам обустроить свою жизнь здесь, на местах давнего проживания, что нужно, чтобы приостановить поток эмиграции, как переломить психологический настрой, ведь Германия готова оказывать любую помощь – социальную, гуманитарную, культурную, общую, целевую, адресную, открывать совместные предприятия, сыроварни, колбасные цеха, фирмы, все, что угодно, только оставайтесь на местах, не усложняйте свою жизнь и нашу тоже. Нет, нет. – уверяют эти делегации с жаром, – никаких преград мы не ставим, квота сохраняется, по-прежнему *das Tor bleibt offen*, и Конституцию менять не собираемся, и 116-я статья останется в силе, что ж... приезжайте согласно закону и инструкциям, братьев своих единокровных в беде не оставим, но все же, поймите, в Германии всем места не хватает, нет работы, проблема с устройством, коренные бюргеры, налогоплательщики ропщут, с какой стати, мол, мы должны на этих тунеядцев с Востока жилы тянуть, *Lebensraum* свой уступать, тесниться, отдавать рабочие места, терпеть их нравы и обычаи, которые чаще всего идут вразрез с нашим устойчивым и излюбленным *Ordnung'ом,* и чего вы там, в Германии, не видели, когда язык потеряли, обрели русский менталитет, азиатские привычки, размах иной и манеры другие, и профессиями владеете такими, которые в Европе не существуют уже сто лет, и песни ваши, и обряды, простите, воспринимаем, как папуасскую экзотику. Чтобы вас, этнических немцев перемолоть, перетолочь и сотворить из вас наше подобие, ей-ей, понадобится три-четыре поколения. Ведь ваши мужики, простите,

глушат водку, работают тяп-ляп и вечно недовольны; ваши фрау плодят детишек без оглядки и при родах кричат на бог весть каких наречиях, а детки ваши, едва появившись на свет, прибегают поминутно к столь изысканному и курчавому русскому мату, этимологию и многозначность которого не в состоянии расшифровать наши многажды остепененные в европейских университетах и академиях лингвисты-полиглоты. Ну, сами поймите, нет никакого резона срываться вам с обжитых мест, бросать все, нажитое десятилетиями, оставлять добротные, просторные дома, огороды и дачи, а главное — работу, которая вам в Германии и не снится, и привычную среду, обстановку, друзей и товарищей. И опять-таки скажите, положа руку на сердце, разве о вас не заботятся ваши местные власти? Сколько комплексных программ принято, сколько разных мероприятий проведено, какие условия созданы для удовлетворения ваших национальных нужд и потребностей?! Вас активно привлекают ко всем общественным, партийным, государственным делам, о чем вы в Германии и мечтать не сможете. Разве не так?

Так говорят, так убеждают уполномоченные из Германии, встревоженные нескончаемым потоком пришельцев — этнических собратьев из Содружества Независимых Государств, на встречах, но собратья понуро выслушивают все эти увещевания на русском и немецком языках, шмыгают носом, чешут затылки, а потом какой-нибудь Хайнрих из Коктерека или Аксу глубокомысленно изрекает: «Ай, *das ist alles* агитация». Российский немец, в течение десятилетий прошедший через густые заросли лжи, предпочитает ничему уже не верить. И не верит. Верит только в себя, в свою крестьянскую смекалку, в свое упорство и сноровку, в то, что ослиное трудолюбие вытащит из любого болота, и для этого достаточно житейской предприимчивости, а не знания-учения, ради которых столько лет приходится протирать штаны. Какой-нибудь Хайнрих или Михель из казахстанской глубинки убежденно верит только в то, что он наверняка знает, а все, что ему неведомо, — «Ай, *das ist alles* агитация». И из этой его убежденности не выбьют его из колеи ни закордонный доброхот, ни тем более доморощенный умник, который, как попугай, долдонит исключительно по подсказке вконец изолгавшихся властей. А посему нечего слушать краснобаев ни *von Hüben,* ни *von Drüben,* ни отсюда, ни оттуда, все одним миром мазаны и только норовят обдурить, обмишурить нашего

брата. И зачем нужна мне их «агитация», когда Иоханнес из Куприяновки погостил у своего братана Федьки-Фрица, помог там какому-то бауэру убирать томаты, поишачил недельки две и пригнал оттуда машину-загляденье. Здесь ему ее век не видать, хоть во время уборки по 19—20 часов с комбайна не слезает. Каково? А вот задрипанная Катька Энгель из Жанасу, которая всю жизнь в ауле шаталась, дома белила, на подхвате была, пожалуйста, укатила на «тайчланд» и за каких-нибудь полгода и квартиру заимела, и живет на одной только «социалхильфе» как у бога за пазухой. А вы говорите... Оставьте вашу агитацию! И про язык не заикайтесь. Чтобы двор подметать, окна или сортиры мыть, поухаживать за старушками в доме призрения или как они там... я и без языка обойдусь. Ну, а дети-внуки выучатся, коли нужда заставит. Не глупее других. Вот так вот! А Германии мы нужны, потому-то, сами слышали, из года в год повторяют: «*Das Tor bleibt offen*». И вот, пока калитка не захлопнулась, надо успеть сесть в последний вагон.

Так рассуждают тысячи и тысячи хайнрихов из Коктерека и михелей из Аксу. «Не нужны нам ни комплексные программы, ни школы, ни учебники, ни гуманитарная помощь, ни видергебурт, ни Фау-де-А! Подай эшелон, погрузи всех нас в вагоны и отправь в фатерланд. И баста!» Вот и едут, едут, едут...

Когда я об этом массовом настрое-психозе поведал депутатам Бундестага при встрече в германском посольстве в Казахстане, один из гостей схватился за голову и трагическим голосом произнес: «Если еще года три так будет продолжаться, для Германии это катастрофа!»

Не знаю, не знаю... не мне судить. Но чудится мне отсюда, со своей колокольни, что то вавилонское столпотворение, происходящее ныне в Германии (да и во всей Европе), вряд ли обернется добром. И неизвестно мне, просчитали ли, прогнозировали ли трезвые аналитические умы в Германии все возможные последствия от этого великого переселения народов этак через тридцать-пятьдесят лет.

«Нет, нет... мы контролируем ситуацию»,— уверяют обычно высокопоставленные гости из Германии. «Дай-то Бог!» — говорю я в ответ, замечая, однако, на челе своих немецких собратьев печать озабоченности.

Меня, разумеется, прежде всего заботит нынешнее положение Казахстана, не терпится увидеть, когда и как он

выберется из глубокого кризиса по всем параметрам. Я не осуждаю никого, кто покидает его в столь тяжкое время, человек волен распоряжаться своей жизнью, своей судьбой, хотя мне и очень жаль, что покидают Казахстан как раз в то время, когда он особенно нуждается в добрых, созидательных руках. Не могу быть также равнодушным и к судьбе Германии. А мне все назойливей мерещится, что в ней подспудно назревают более чем серьезные проблемы. Но не о том сейчас речь...

Я уже не могу сосчитать, сколько человек из моих знакомых эмигрировали в Германию за последнее десятилетие. Сотрудники немецких газет, радио, телевидения, издательства сменились почти все. Среди активистов Немецкого культурного центра в Алматы я уже редко встречаю знакомые лица. Катастрофически редеют ряды деятелей немецкого движения, с которыми сталкивался годами на многочисленных съездах, конференциях, пленумах в разных городах СНГ. Кое-где опустели целые немецкие села. За прилавками на Зеленом базаре в моем городе немецкие лица почти не встречаются. Не вижу ныне тех чистеньких, аккуратненьких старушек и кругленьких рыженьких с конопатинкой приветливых молодок-немок, которые торговали на Кок-базаре сметаной, творогом, яйцами, салом, квашеной капустой и прочей отменной снедью. Ныне больше всего отечественных немцев собирается у здания германского консульства. И это никак не радует.

— И как ты, Альма, представляешь свою жизнь в Германии?

— А никак... Сколько наших уже там? А никто не жалуется и назад не возвращается.

— Конечно... Куда им? Ни кола, ни двора... все продано на корню.

— Хуже не будет. И для себя ничего не жду. Буду жить на пособие матери-одиночки.

— Больно скудно...

— Ну, а здесь не скудно?

— Тебя здесь преследуют, не дают работать, в чем-то ущемляют?

— Нет, этого сказать не могу.

— Тогда что?

— Ой не знаю. Не могу объяснить... Но душа не на месте.

О чем спорить? Веский аргумент: семьсот тысяч евреев

из России уехали; полтора миллиона немцев... а сколько греков... сколько русских... Велико искушение: тот уехал, эти собираются. И живут – кто на *Sozialhilfe,* кто на *Pension,* кто на пособие безработного, кто что-то имеет за вдовство. Пишут: не роскошно, а на среднюю жизнь хватает.

И то верно: что за жизнь, коли душа не на месте?..

VI

Дивный город – Ташкент. По-восточному многоликий, пестрый, потрясающий. Город умопомрачительных базаров и величественных мечетей. Сплетение прошлого, настоящего и будущего. Не город – государство. Не в каждом государстве проживает столько наций и племен. Калейдоскопическое соцветие человеческой цивилизации.

Как включить в водоворот бытия этот огромный разношерстный почти трехмиллионный люд? Какой идеей его зажечь, увлечь? Какой целью объединить? Как и чем пробудить каждую душу? И мыслимо ли сделать так, чтобы каждый двор, каждая махалля, каждый микрорайон ощутили себя полноценной, здоровой клеткой гигантского города-государства – своеобразного, своеобычного, с глубокими вековыми корнями, традициями, обычаями, менталитетом, нравами, причудливо сложившимся укладом жизни, магнетизмом, обаянием? Ведь общество тогда лишь здоровое, поистине гражданское, если каждый человек чувствует себя не одинокой песчинкой в океане бытия, а человеком среди людей. Вписывается ли отцовское подворье на Байсунской, 59 с его обитателями в этот мегаполис, ощущают ли себя потомки Карла и Анны Бельгеров из поволжского села Мангейм полноценными и полноправными гражданами этого государства или живут, как живется, обитают, проживают просто, без сердца, без сознания своей нужности, причастности к великому кочевью людей, без любви, вне бушующей вокруг многокрасочной жизни?

В саду хлопочет отец, спасая созревший коксултан от прожорливых афганских скворцов. За столом во дворе пьют спасительный от жары кок-чай его дети и внуки. Тут же резвятся его правнуки – певунья и плясунья Вески, молчаливо-сосредоточенный Арсен. Причудливая смесь кровей – потомки моих родителей. Одни пишутся русскими, другие – украинцами, третьи – армянами, четвертые –

немцами, пятые — с примесью татарской, мордовской и бог весть еще какой кровей, и в каждом из них есть частица души и крови немки Анны, дочери капельмейстера Давида Гертера, бесследно исчезнувшего в годы крутых перемен еще до моего рождения. Мама за свою долгую жизнь немало доброго сотворила, всех, кто толпится сейчас на этом дворе или находится в отлучке, щедро одарила своей любовью, вниманием и лаской. И о всех она думала, заботилась, печалилась до самого последнего своего часа, пока не переселилась на постоянное местожительство в Домбрабад. Воздадут ли ей благодарной памятью ее многонациональные потомки, чьи души озарены неугасимым светом ее доброго сердца? И вообще, что там, впереди?

1995

РЫЖИЙ РЫСБЕК ИЗ АУЛА КАСТЕК

Рассказ-быль

I

Большое казахское село раздольно раскинулось у подножья горных увалов.

С одной стороны, врезаясь снежными пиками в синь неба, высилась неприступная гряда гор, с другой — простиралась, исчезая за горизонтом, однотонная по осени, выжженная степь.

Плоскокрышие убогие мазанки с крохотными оконцами во двор навевали тоску. По кривым улочкам цокали копытцами понурые ишаки, запряженные в двухколесные, высокие кокандские арбы. В глазах ишаков застыли вековечные скорбь и смирение. На пыльных проплешинах-такырах резвилась загорелая до черноты голоногая малышня в немыслимых отрепьях, гортанно галдела на всю округу. Высоко-высоко над вымершим селом задумчиво чертил круги одинокий коршун.

Вокруг ни деревца, ни кустика. Все покрыто серо-желтым пухляком. Солнце зависло в зените и палило нещадно. От обвальной тишины звенело в ушах.

— Майн Готт! — вздохнула Марта. — Либер Хайланд!

И крепче прижала к себе бледного и тощего мальчонку с перепуганными глазами.

Из конторы аулсовета вышел неказистый, кривобокий мужичонка в обшарпанных воловьих сапогах, в выцветших галифе, кургузом пиджачишке неопределенного цвета, почесал пятерней бритую голову, глазками-щелками нацелился на незнакомку и белобрысого мальца, примостившихся на двух баулах. Помолчал, смачно сплюнул.

– Тыбая памилия? – спросил сипло.

– Что, простите? – встрепенулась молодка и легко поднялась, поправила платье, нервно вскинула голову.

– Мой спрашивает: звать как?

– Диллер... Марта Диллер...

– Е-е... А балашка?

И ткнул пальцем в сторону вихрастого мальца.

– Руди... Рудольф...

– Е-е... бишара... бишара.

Мужичонка растерянно уставился на тупоносые свои сапоги, поскреб небритый подбородок, опять цвиркнул меж зубов.

– А кожаин где?

– Кто, простите?

– Муж?

– На фронте.

– На пронте?! – недоверчиво переспросил мужчина.

– Да, на фронте.

– Е-е... бишара... бишара.

Мимо конторы, согнувшись под вязанкой колючего кустарника, семенила казашка в длинном цветастом платье и черной шали на голове.

– Шайзада! – окликнул ее мужичонка.

Казашка остановилась, сбросила вязанку к ногам, послушно застыла. Мужичонка что-то сказал ей. Та безропотно кивнула.

– Псё! – отрезал мужичонка, обращаясь к Марте. – Будешь жить у Шайзады. А завтра пойдешь с ней на ферму. Псё!

Две женщины – одна с вязанкой хвороста, другая с двумя баулами и послушно трусившим мальчонкой – исчезли за переулком.

II

Едва протиснувшись в проем двери, Марта опустила

баулы, оглянулась. Сумрачная хибара. Земляной пол. Одно-единственное окошко занавешано ветошью. В углу на самотканом паласе трое мал-мала меньше малышей попеременно макали огрызки лепешек в деревянную миску с простоквашей и сосредоточенно ели, усердно шмыгая носами. При виде незнакомцев изумленно разинули рты.

– Мои. Айман, Шолпан, Арман... – сообщила Шайзада и умиленно протянула: – Ай-на-ла-а-айын...

Руди прижался к бедру матери, но не мог оторваться от лепешки в руках малышей и миски с простоквашей.

Шайзада ласково взяла его за ручку, подвела к детям, усадила рядком, сунула кусок лепешки побольше, подвинула миску.

– Куши... куши...

Руди все понял. Из глаз Марты брызнули слезы.

III

...И снится Марте один и тот же сон. Без начала и конца. Почему-то она одна-одинешенька на всем белом свете. Как так получилось – не объяснишь. Одна, одна... Везут ее куда-то день, второй, третий... Огромные колеса кокандской арбы поскрипывают, глубоко увязли в пухлой пыли. Марта не знает, куда ее везут. Не помнит, как и откуда попала в это гибельное место.

Катится-катится кокандская арба по пыльной, убитой дороге. А за ней бежит-бежит-бежит, спотыкается, падает, что-то безголосо кричит рыженькая, голенастая девочка в коротком платьице, плачет, зовет, ручонками размахивает..

У Марты замирает сердце, руки-ноги сковывает жуткая тяжесть. Она порывается подняться, бежать навстречу девочке, но не может, не может. Она – о, ужас! – не помнит, как зовут девочку, не помнит и себя, куда, откуда и зачем ее везут. Силится вспомнить, но напрасно, тщетно.

Там, в долине, взвихриваются, закручиваются, мчатся наперегонки крутые смерчи.

И нет этой дороге конца.

И нет этому наваждению конца.

И нет этой муке конца.

«Ши-ик, ши-ик», – поскрипывают, тяжело вращаясь, колеса кокандской арбы.

«Цок, цок, цок»,– щелкает-трещит копытцами длинноухий отрешенный ишачок.

IV

– Что плачешь? – растормошила ее Шайзада посреди ночи.

Марта зарылась лицом в подушку, давясь слезами.

– Не болды? Кой! Что случилось?

Шайзада обняла товарку за плечи, погладила сухой ладошкой по голове.

– Дочку вспомнила.

– У тебя еще кызымка есть?

Ущербный азийский месяц глядел в оконце. В правом углу мазанки на кошме, под шубой безмятежно спали дети – трое малышей Шайзады и Руди среди них. А женщины устроились слева на корпешке, под стеганными одеяльцами. Работа в колхозе так изматывала их, что, придя с работы домой в сумерках, кое-как, чем Бог послал накормив детей, падали в постель, как подкошенные.

– Е-е-есть...

– Где? На Волге?

– На Украине.

– У кого?

– У сестры моей. Забрала к себе сразу после школы. Бедная моя Эльвирочка... Жива ли еще?

– А что? Разве у тетки ей плохо?

– Так... там же война! И где моя сестра, ничего не знаю.

– Но... немцы немцев трогать не будут.

– Те не немцы. Не наши.

– Ка-ак?!

Шайзада обняла свою жиличку крепче.

– Тише... Детей разбудишь. Не кличи лиха в темную ночь. Война кончится – все уляжется.

Так, в обнимку, женщины уснули. Месяц скатился вбок. Призрачные тени на стене исчезли. В сумрачной мазанке пахло пылью, молоком и одиночеством.

V

Весной Марте стало совсем худо. Ночи напролет она надрывно кашляла. По утрам горлом шла кровь. От слабости постоянно кружилась голова. Силы таяли на глазах.

– Знаешь, Шайзада... нет больше горя, чем умирать на чужбине...

– Брось. За лето оклемаешься. Поверь.

– Нет... Песенка моя спета. Увидеть бы хоть разок Волгу и Эльмирочку мою...

Слез не было. И утешения – тоже.

Руди целыми днями несся с малышней по аулу и ловко болботал по-казахски. Казалось, он не чувствовал себя пришельцем из чужого рода-племени.

Вскоре склоны гор запылали маками. Солнце ходило все выше, выше, любуясь ослепительными снежными вершинами. Степь закурчавела. Аромат разнотравья сладко дурманил голову.

Вокруг хибарок резвились потешные ягнята раннего расплода. Вечерами налетал тугими порывами ветер, бодря тело и душу приунывших за зиму аулчан. Перед рассветом безумно щебетали птицы, томно ворковали голуби.

Ранним летом 1942 года Марта тихо угасла.

VI

Горстка аульных старейшин чинно сидела за колченогим столом аулсовета.

– Ну, почтенные, что будем делать с сыном немки?

Аульный глава был в неизменном галифе, кургузом пиджачке, обшарпанных громоздких сапогах. По обыкновению поскреб пятерней побритый до синевы череп.

– Ия, ия... Кто о сироте позаботится? Как-никак дитя человеческое, – изрек местный мулла и огладил белую бороду.

– Сироту обижать – грех, – поддержал его безбородый сосед.

– Надо отвезти в Узун-Агач в детдом, – предложил счетовод.

– Нехорошо это... Мальчик привык к аулу. Смышленый, – прошамкал беззубым ртом плешивый аксакал. – Детская обида зарубкой останется на сердце. И нам стыдно будет.

– Может, у Шайзады оставить? Где трое – прокормится и четвертый.

– Нельзя! – отрезал аульный глава. – От зари до зари пропадает на ферме. Куда ей?

Встрепенулся молчавший до сих пор чабан Хасен.

– Братья, может, мальчика я возьму к себе?

– Как?

– Ну, усыновлю. Вернется мой Каратай – братишка ему будет.

– И что получится? – спросил аулнай. – С немцем воюет и немец братишкой станет?

– Е-е... Какой он немец? Молдеке ведь сказал: дитя человеческое...

– Ия, ия... Дитя безгрешное. Ему-то и невдомек, что немец. Думает, казах.

– Если вы, братья, согласитесь, я с радостью стану ему отцом.

Помолчали. Бороды пощипали. Головами покачали.

– А с мальчиком поговорю сам, – заявил Хасен. – Он ведь все понимает.

VII

Подсадив Руди на одра, чабан Хасен привез его в степь к отаре. Долгая дорога по увалам-перевалам утомила мальчика. Да и тряска в жестком седле укачала его. В прохладной, продымленной чабанской юрте на кошме возле кованого сундука-кебеже он сразу уснул.

Когда проснулся, чабан со своей женой пили чай за низеньким, складным столиком.

– Кел, кел, балам! Иди, иди, сынок мой! – проворковала жена чабана, привычно поправив белый плат на голове.

– Айда, Рудижан, подсаживайся. Шай ишеик,– пригласил и Хасен-ата.

Мальчик молча уминал испеченную в золе лепешку, ел ложечкой густой катык, грыз курт, иримчик, отхлебывал от кесушки чай со сливками и с любопытством озирался вокруг. Все в юрте было ему внове.

– Нравится? – спросил чабан.

Руди кивнул.

– Айналайын, – умилялась, глядя на него, апа.

– Айналайын, – вторил ей ата. – Слушай, как тебя правильно звать?

– Рудольф... Рудольф.

– Ыру-долбы! А? Не по-казахски звучит. Может, я буду называть тебя Рысбеком? Согласен?

– Рысбек?.. Болсын. Согласен.

– Ну, и хорошо! Будешь для нас Рысбек. Рыжий Рысбек из аула Кастек.

Мальчик ощерился. Получилось забавно и складно.

– А фамилия как?

– Диллер.

– Дил-ляр... Хм-м... Согласен быть моим сыном?

Мальчик кивнул.

– Да?! – Чабан заерзал, вытер полотенцем испарину на лбу. – А если, айналайын Рысбек, твоя фамилия будет отныне Абильтаев, как у меня? Согласен?

– Абильтаев?.. Болсын. Согласен.

– Апырай! Вот умница! Маладес! Тогда, может быть, заразе и мусульманином тебя сделаем?

Мальчик не понял. Сдвинул брови, задумался. Он смутно чувствовал, что это как-то связано с муллой, а муллу мальчишки в ауле побаивались.

– Ну, если он – Рысбек Абильтаев, значит, мусульманин. А то как же иначе? – встряла в мужской разговор апа.

– Ия... солай, солай, байбише, – согласился чабан

Стал Руди жить в юрте чабана. Превратился Рудольф Диллер в Рысбека Абильтаева.

А вскоре мулла омусульманил его, как положено, по обряду сундет.

Одним поволжским немцем стало на свете меньше. Одним казахом под семиреченским небом стало больше.

VIII

Изнуряющую сухмень сменили затяжные дожди. Короткая, слякотная в этом краю зима, казалось, сразу переходила в долгое, долгое лето.

Мелькали дни. На круговорот бытия молча и равнодушно взирали снежные вершины. Солнце ходило по извечному кругу.

Где-то все еще громыхала война. Эхо ее докатилось и до тихого аула Кастек, приютившегося у подножья гор.

Чабану Абильтаеву вручили похоронку на сына Каратая, погибшего смертью храбрых за Родину.

На поминках чабана утешали:

– Е-е, Хасен, крепись, мужайся. Не тебя одного постигло горе. Не тебя одного подбил сум-пашис. На все воля Аллаха. Благодари судьбу, что у тебя есть Рысбек. Он не даст иссохнуть твоему дереву.

Рысбек подрос, окреп. Ловко скакал на лошади, пас

овец, объезжал стригунков, собирал кизяк. Был помощником Хасеке во всем.

За год до Победы ладного, стройного подлетка чабан отвез в интернат при местной школе.

– Четыре класса окончит – женю,– сообщил всем чабан. – Нешауа! Сказано предками: «В тринадцать лет – хозяин юрты». Пусть внуками утешит мою старость. А работа в ауле найдется. Надо будет – передам ему свой чабанский посох.

IX

Прискакал как-то в аул заполошенный комендант из района.

– Где спецпереселенка Марта Диллер? Почему не отмечается в комендатуре? С сентября 41-го ни разу не показалась.

– И не покажется.

– Это еще почему?

– Потому что умерла. А на том свете комендатуры нет.

– Как умерла?! –опешил комендант.

– Как все. Давно, вон... за тем бугром ее могила.

Комендант долго глядел в амбарную книгу, что-то записывал, слюнявя огрызок чернильного карандаша.

– А сын ее ... Рудольф Диллер, 1934 года рождения?

– Рудольф?.. А-а... Он давно Рысбек Абильтаев.

– Ка-ак?

– Чабан Хасен усыновил его. Теперь он – казах.

– Не дейды?! Рыжий, светлоглазый немец – казах?

– А что? У казахов рыжих нет? Светлоглазых нет? Так что, дорогой, не ищи Рудольфа Диллера. А казахи под твоей комендатурой, слава Создателю, пока не ходят.

Комендант подумал, подумал, сунул изрядно потрепанную книгу со списком неблагонадежного контингента в кожаную сумку и ускакал восвояси.

X

Жизнь в ауле течет размеренно. Да и куда спешить? Спешка – происки шайтана. Кто не спешит – на арбе зайца догонит.

Предки казахов никогда не спешили и потомкам за-

поведали зря не суетиться. Как написано в Книге Судеб, так и будет. А от судьбы своей никто еще не уходил.

Окончив четыре класса местной школы, Рысбек подался в Узун-Агач на механизаторские курсы. Здесь он проявил необыкновенную расторопность и сметливость. И наставник-мастер Антон Энгель в шутку говорил о Рысбеке: «Этот казах разбирается в технике как немец».

После механизаторских курсов Рысбек оседлал трактор, а в страдную пору становился комбайнером. В работе он был одержим и безотказен. И в ауле поговаривали: «Апырай, и как только наш колхоз обходился до сих пор без Рысбека?!»

Рысбека женили, когда его сверстники все еще протирали штаны за школьной партой. Собрались, как водится, старики, посоветовались и решили высватать младшую дочь Шайзады — Шолпан. Шайзада всплакнула, но против воли аульных аксакалов не пошла. Да и что раздумывать? Шолпан хоть и маленькая с виду, а плотненькая, ладненькая, гладколицая, с озорным блеском в глазах-смородинках, улыбчивая. Восемь классов одолела. Вся как спелое, румяное яблочко. А Рысбек — вон как вымахал, ручища, что лопата, парняга, что надо, надежный, работящий, уважительный, всеобщий любимчик. Ну, и что из того, что чужого рода-племени... пожалуй, ближе и роднее иного своего шалопая.

Через год у чабана Хасена появился внук — Ахат. Потом — Мухат. И третий — Талгат — не заставил себя долго ждать. Все крепенькие, скуластые, длинноносые, в меру рыжеватые, в меру смуглые. Потом Шолпан умудрилась произвести на свет двух близняшек-девочек — Гульшару и Гульбару. В ауле радовались: «Неспроста назвали нашего зятя Рысбеком. Видно, сам Всевышний вложил в уста Хасена это имя. Рысбек, действительно «Ырыс» — благо, счастье, удача. Все у него по уму получается. Да и Шолпан — молодчина. Действительно, утренняя звезда в семье».

Облепленный детьми, счастливый, Рысбек восседал за дастарханом, скрестив под себя на казахский лад длинные ноги, благодарил Создателя за все ниспосланные ему благодеяния, удовлетворенно басил: «Верно говорят: дом с детьми — базар, дом без детей — мазар».

Потом один за другим появились в семье горластые Сабит и Габит, которых и отличить друг от друга оказалось мудрено.

Аульные умники, глядя на ватагу Абильтаевых, глубокомысленно рассуждали: «Что ни говори, а казахская кровь берет верх. Посмотрите на отпрысков Рысбека. Что в них немецкого? Ну, может, лицом чуть светлее... носы чуть длиннее... глаза малость шире, а так разве от казаха отличишь?!»

И надо же такому случиться: годы спустя у Абильтаевых родилась еще одна девочка. Вся беленькая, пушистоголовая, кареглазая. Даже статью-осанкой отличалась от своих кровных братьев и сестер. Ну, ни дать, ни взять балапаненок, только что вылупившийся из яйца. Родители удивились своему творению. «Оу, как назовем это чудоюдо?!» Всем аулом придумывали имя белокурому созданию. Казахские имена вроде как не подходили.

«Это наша копей, – сказал Рысбек. – Поскребыш. И быть ей Эльвирой».

«Эй, это же не по-казахски! Или в тебе немецкая кровь проснулась?»

«Эльвира и баста!»

«Брось! Как будто чужая...»

«Эльвира!»

Обратились к Шайзаде, к почтенной аже.

– Дурит что-то твой зять.

Шайзада помолчала, подумала, что-то вспомнила.

– Рысбекжан знает, что говорит. Быть моей внучке Эльвирой!

XI

Капитан райУМВД повел разговор издалека. Обстоятельно, как принято у казахов, расспросил про житье-бытье, про здоровье родителей, детей, аулчан, поинтересовался работой, и Рысбек спокойно и степенно ответил ему, однако про себя соображал, к чему приезжий клонит и что ему от него надо.

Было также непонятно, почему капитан не зашел к нему домой, как гость, а пригласил в контору и затеял беседу наедине.

Ритуальные вопросы вежливости понемногу иссякали, все чаще наступала пауза, а капитан о главной своей цели все помалкивал.

Наконец, неожиданно спросил:

– Родственники в Германии есть?

– Где-е?! – вырвалось у Рысбека.

– В Германии.

– С какой стати?!

– Ну... – капитан чуть замялся,– хоть вы и Абильтаев, но по происхождению ведь...

– Спасибо, что напомнили,– нахмурился Рысбек. – Мои родственники все в этом ауле.

Капитан сощурился.

– Ну, а сестра?

– Сестра? – Рысбек широкой ладонью хлопнул себя по колену. – Да-а... была. Эльвира. Года на три старше меня.

– Помните?

– Чуть-чуть. Ее забрала к себе, на Украину, тетя Эрна, мамина сестра. Перед самым выселением.

– И больше не видели?

– Нет. Помню белые, белые пушистые волосы. И огромный голубой бант. И все. Сохранилась фотография... мама и мы с сестрой с двух сторон. Мне тогда было годика четыре.

Капитан задумался, забарабанил пальцами по столу.

– И вы ее не искали?

Рысбек пожал плечами, опустил голову.

– Где? Как?.. Война... Сорок лет прошло. Даже не знаю, жива ли?

Капитан опять выдержал паузу.

– Жива. И разыскивает вас. Давно. Через Красный крест. И проживает... проживает... – Капитан заглянул в бумагу. – В Зиндельфингене.

Рысбек не знал, что и сказать. Еще больше согнулся, потер вспотевшие ладони. Он помнил, что власть не жалует тех, у кого родственники за кордоном. Недолюбливает и тех немцев, кто норовит выехать на родину предков или получает оттуда посылки. Конечно, с него, с Рысбека Абильтаева, взятки гладки. Уезжать он и не помышляет, посылок никто ему не шлет. Не отнимут же у него трактор из-за того, что в неведомой Германии обнаружилась его родная сестра. И все же, все же...

– Ну и что дальше?

– Ваше дело,– откликнулся сразу капитан. – Предоставьте нам копию фотографии, о которой говорите. Наше дело – все выяснить и восстановить родственные связи.

Чувство радости, перемешанное с тревогой, несколько дней не отпускало Рысбека.

XII

Плотный, пестрый конверт с разными наклейками и штампиками Рысбек долго вертел в руках, всматривался в незнакомый почерк. Странно было читать свою фамилию, начертанную латиницей.

Конверт вскрыли не сразу. Рассматривали так и сяк всей семьей. Попеременно взвешивали на ладонях, точно определяя его ценность.

– Пухлый!

– Что-то там есть.

– Может, марки?

– Не-ет, фотографии, должно быть. Или открытки.

Наконец, перочинным ножичком аккуратно вскрыли конверт, извлекли пять-шесть глянцевых фотографий.

Крупная, коротко остриженная, ухоженная и по всему очень благополучная женщина хлопочет у ослепительной газовой плиты на просторной, сплошь увешанной шкафчиками кухне. Она же, фрау, белозубо улыбаясь, стоит возле шикарной, вылизанной машины рядом с бородатым пузаном. Супруги в аляповатых спортивных костюмах на зеленой лужайке держат на поводке огромного, брылястого, спесивого пса. И еще раз они на фоне затейливого особняка с покатой черепичной крышей и множеством чисто промытых окон.

– Смотри-ка!

– Буржуи!

– А машина-то – «Мерседес».

– И дом не нашему саманному дворцу чета.

– Рысбек молчал, все рассматривал дебелую, улыбчивую женщину на фотографиях, силясь найти в ней сходство с той белокурой девочкой с огромным голубым бантом, смутно запомнившейся в далеком детстве.

– Ну, узнал сестру? – спросила Шолпан.

– Как узнаешь? – вздохнул Рысбек.

– А ты прочти, что пишет.

Рысбек повертел в руках плотный лист бумаги с причудливым вензелем в углу, силясь разобрать хоть одно слово.

– Эй... письмо-то на немецком!

– А ты полагал, что сестра тебе из Германии по-казахски напишет?

– Ну, – сконфузился Рысбек. – Не по-казахски, так по-русски. Я ведь по-немецки ни бум-бум.

– А ей откуда знать, что ты казах?

– Да-а... придется сходить к Олжабаю. Он переведет.

XIII

Учитель немецкого языка аульной школы Олжабай Жармакин долго вглядывался в крупный, разгонистый почерк, досадливо поморщился.

– Е-е... видать, ваша сестра, Рысбек-ага, не сильна по части грамоты. Пишет бог весть на каком диалекте. Не все и поймешь.

– Видно, как и я, не больно усердствовала в учебе, – усмехнулся Рысбек. – Но смысл-то понятен?

– Смысл такой, – сказал Олжабай, в третий раз скользя взглядом по корявым строчкам письма. – Фрау Эльвира Керн ужасно рада, что наконец-то в глуши Казахстана удалось разыскать единокровного брата. Это было сложнее, чем она предполагала. И теперь, когда ей передали фотографию, на которой запечатлены незабвенная мама с ее детьми, она, фрау Эльвира, на седьмом небе от счастья. Уже несколько дней не может сдержать слезы. Много ей сразу вспомнилось... Та-ак... дальше она подробно описывает свою жизнь. Отступая, немцы, мол, забрали с собой всех фольксдойче. Это был путь на Голгофу... долгий и трудный. Некоторое время жили на территории Польши, потом добрались до небольшого городка вблизи Штутгарта. Здесь проживают и поныне. Поначалу было тяжело. Все пришлось пережить. Работала где и как придется. После кончины тети Эрны... альзо зи ист гешторбен... умерла, значит. А ко мне, то есть, к вашей сестре дас шикзал... судьба, значит, оказалась милостивей. Удачно вышла замуж за местного предпринимателя... зовут его Роберт. Детьми не обзавелись. Все откладывали, когда встанут на ноги, а потом оказалось поздно. Так... так... опять пошли, простите, бабьи воспоминания... ага, вот главное... мечтаем тебя увидеть... приглашаем с милой женой... к себе в гости... просит прислать данные, чтобы могла выслать вызов...

– Какой вызов?

– Ну в гости... в этот... Зиндельфинген.

– А как я туда выберусь?! – испугался Рысбек. – Я сроду дальше Талдыкоргана не выезжал... Да и денег, наверное, понадобится куча.

– Так сестра пишет: все расходы по поездке туда и обратно возьму на себя.

– О! Богачка, значит! Апырай, вот еще заботы-хлопоты на мою голову... А съездить хотелось бы. Хоть посмотреть, как люди в той Германии живут.

XIV

Весь год в Кастеке только и судачили на каждом углу о предстоящей поездке Рысбека Абильтаева в Германию.

– Ойбай, сестра нашего Реке, говорят, сказочно богата.

– Во дворце ханском живет... Три машины имеет.

– Одну, конечно, запросто брату отдаст.

– Не отдаст: немцы – жадные.

– Жадные-то жадные, а всему миру помогают.

– Как бы наш Рысбек там не остался...

– Со своей казахской артелью?

– А что, вон узбек Абдурахман заделался Шнайдером и укатил со своей Амалией.

– И Германия всех принимает?!

– Да там, сказывают, уже и немцев мало осталось. Одни турки, цыгане, эфиопы, евреи, курды.

– Повезло Рысбеку! И почему я только немцем не родился?

Слухом полнится земля. А перед каждым событием скачет резвый «узун-кулак».

XV

После дальней дороги человека следует поздравлять с благополучным возвращением, приглашать в гости и выслушивать его обстоятельный рассказ. Рысбека, вернувшегося из Германии, наперебой приглашали все знакомые и за дастарханом уговаривали его рассказывать о житье-бытье на хваленой немецкой земле. И хотя в ауле от мала до велика знали про то, как Рысбек готовил бесбармак в особняке сестры, однако просили о том случае поведать во всех подробностях вновь и вновь. И Рысбек поначалу отнекивался, отмахивался, но потом с увлечением начинал рассказывать на потеху аулчан.

– Е-е... – раздумчиво начинал он свой рассказ. – Неміс дегенің бишара халық екен. Бестолковые они, немцы, ей богу. Живут скованно, скучно, по раз и навсегда заведен-

ным порядкам. Нет такой вольности и щедродушия, как у айналайын наших казахов. Да ну их! И досыта не едят. Все какие-то порции, порции. Калории считают. Все какое-то жеванное-пережеванное, искусственное, дохлое. Ни вкуса, ни силы. Пузо набьешь, а через час опять голодный. Все кофе-мофе, йогурт-могурт, банан-манан. Тьфу! В колбасе ихней и мяса-то нет. То ли крахмал, то ли бумага, соя, краска, шорт-морт-мазарат. Все туда пихают. Одно название – колбаса.

– А что? – любопытствовали за дастарханом. – Казы-карта, жал-жая не едят?

– Какой там?! Они и слов таких не знают. Понятия не имеют.

– Ой, бишара, бишара! Несчастные! Что же они едят?

– Обожают крохотные поджаренные сосиски. На один зуб. Вроде как ничего. Но – свинина. Меня стошнило, а у Ахата и Мухата моих даже волдыри на губах выскочили.

– Поганое, значит.

– Побрезговали.

– Ну, их, этих немцев! И хлеб у них безвкусный. Даже запаха нет. Булочки – что вата. Лепешки вообще не видел. Чай – пойло. Заваривать не умеют. Пиво, правда, хорошее. Но хуже кумыса. Да и какое пиво, если в брюхе пусто! Первые дни, считай, голодные ходили.

– И тогда, Рысбек-ага, вы решили сготовить бесбармак?

– Да, да... И смех, и грех. Смотрю: Ахат с Мухатом осунулись, поскучнели, как воробышки в осеннее ненастье.

– Конечно, осунешься тут без привычной еды.

– Одним кофе да бутербродом сыт не будешь.

– Ну, я и предложил сестре: «Давай бесбармак сготовим». Глаза закатила: «Пез-пар-магг... вас ист дас?» Ну, как я ей объясню? Она по-русски ни-ни, я по-немецки ни бельмеса. Мясо, мясо, говорю ей, флайш, флайш... «Сколько?» – спрашивает. «Ну... килограммов пять конины, три – баранины». «Готт, майн Готт!» - удивляется и зашпрехала быстро-быстро со своим Робертом. Тот тоже сделал круглые глаза, как у окуня на крючке. Уточняет: «Наверное, пятьсот граммов?» «Пятьсот граммов – это разве что кошке», – говорю. Опять что-то долго лопотали зять с сестрой. Потом спрашивают: «А свинина не пойдет?» «Да вы что! – возмущаюсь. – Бесбармак из свинины?! Мы же мусульмане!»

Смотрю: приуныл мой зять-добряк. Пиво дуть – это он мастак, утроба большая. Но про бесбармак из конины и баранины и слыхом не слышал.

– Действительно, дикий народ! Как же они без бесбармака обходятся?!

– Вот незадача! И что же дальше?

– Ну, поехали искать конину. Объехали восточные базарчики, рестораны. Боже, каких только нет! Что-то раздобыли. Конина, правда, постная, замороженная, залежалая, а баранина – ничего. Немцы почему-то ее не жалуют. Запах, говорят. Будто у свинины запаха нет. А вообще-то у них все полуфабрикаты. Натурального ничего нет.

– О, Кудай! Как они живут?

– А с виду вроде как справные. Мордастые, долговязые.

– Е-е... все это бананы да химия. Добавки.

– Ну, привезли мясо, а варить в чем?

– Что, и казана обыкновенного нет?

– Какой казан?! Одни кастрюльки-скороварки, горшочки, сковородочки, противни. Сестра недоумевает: в какой посуде можно сразу сварить восемь килограммов мяса? Ужас! Кошмар! И зять что-то болбочет, но во весь рот улыбается, фарфоровыми зубами поблескивает. «Неужели можно съесть восемь килограммов мяса?! Это же убийственно для здоровья!» «Но нас же трое, – говорю. – Да вы двое. Аллес эссен, Аллес! Ням-ням...» Роберт лысой головой качает, плечами пожимает. «Ах, ду! Ах, ду!»

Взяли в кафе большую кастрюлю, заложили все мясо, варим. Мясной дух струится по всему особняку. Эльвира с Робертом принюхиваются, морщатся.

– Бедняги, они такого сроду не видали.

– И не слышали!

– Но... надо ведь и сочни делать. А муки-то у сестры и нет. Опять куда-то съездили, привезли пакет муки. Мука никудышная, не нашей чета. Месишь, месишь, а тесто все расползается. «Швах! – говорю. – Давай, два-три яйца». Мясо варится, тесто готово, а раскатывать чем? Скалки-то нет. Кухонный комбайн есть, кофеварка есть, миксер-фиксер есть, разные агрегаты, печки есть, а скалки – жок!

– Ойпырмай, до чего же бестолковые!

– Пришлось длинной бутылкой из-под испанского вина раскатывать сочни. Умаялся! «Что еще надо? – спрашивает Роберт. – Биир?» «Какой еще биир?! – говорю. – Водка нужна, водка! А не пиво!» «Ах, водка! – говорит зять. – Водка о'кей! Зер гут!»

Мигом принес графинчик. А там граммов сто пятьдесят. «Оу, ты что?! – говорю. – Швах! Нихьт зер гут. Мало!» Зять глазами хлопает: «А сколько надо?» Ну-у... хотя бы два пузыря. «Майн Готт!» – вновь заохал зять, однако куда-то съездил, приволок – представьте! – две бутылки «Столичной». Нашей, родимой. Достал в магазинчике русских немцев.

– Ну, теперь порядок!

– Теперь по-нашему, по-аульному!

– Можно начинать.

– Словом, к вечеру бесбармак сварганили. Конечно, казы нет, куйрык-баур нет, жал-жая нет, жамбас, ребрышек нет, но все же... какой-никакой, а бесбармак.

Нарезал-накрошил целую горку мяса. Смотрю: и Ахат, и Мухат ожили, рукава засучили, нетерпеливо ерзают, глазами поблескивают, слюни сглатывают. Осточертели им за эти дни кофе и пирожные.

– Апырай, а!

– Уай де!

– Лопаем. Аж скулы трещат. Время от времени по стопочке опрокидываем. За встречу. За здоровье Эльвиры. За удачу Роберта. За дружбу. За знакомство. За что-то еще...

– Ойдойт! Той получился.

– Не говори! И Роберт раззадорился. На мясо нажимает, посапывает. От усердия аж бордовый стал. Сестрица все больше сочни уминает, раскраснелась вся. От души полакомились. Все до последнего кусочка съели. Сорпой запили. И две «Столичных» прикончили.

«Неужели плохо не будет?!» – озабоченно спрашивает Роберт. «Нешауа! Вот теперь можно и поспать», – говорю. «Ка-ак спать?!» «А свернуться, как змея, клубком и поспать, пока пища не переварится», «Вундербар!» – щелкает язычком изумленный Роберт.

Поднялись мы наверх в отведенную нам комнату и проспали, как младенцы, часов десять кряду. Потом узнали, что хозяева, оказывается, всю ночь не спали, душ принимали, отдувались, беспокоились, что нам станет худо, поднимались наверх, прислушивались. Даже врача хотели вызвать.

– Бедные, бедные! Привыкли, видно, впроголодь жить.

– Утром Эльвира спрашивает: «Вы у себя там, в Казахстане, часто едите бесбармак?» «Ну, – говорю, – если не каждый день, то через день-другой непременно». А Роберт дружески подмигивает: «Биир?» «Давай!» «Доппельт?»

«Почему доппельт?» Кружек по пять-шесть на брата. Мои джигиты охочи до пива». С того дня шибко зауважал меня зять Роберт. По утрам вместо «Гутен таг!» стал говорить «Бесбармак!» А я в ответ: «Биир!» У него рот до ушей: «Водка!» Получается мужской разговор. И сестрица довольна.

— Ха-ха-ха!

— Е-хей! Знай наших!

— Ну, а принимали и провожали нас хорошо. Ничего не скажешь. Одели, обули нас, подарков надавали — несколько чемоданов и сумок. Что и говорить, в Германии чистота, порядок. На орднунге своем они прямо помешаны. Убирает в доме сестры одна костанайская немка. Вот с ней-то мы и общались по душам. Лет шесть живет в Германии, а тоскует по своей деревне. Дороги в Германии — обалдеть! Как гладильная доска. Все ухожено, зелено, вылизано. Сплюнуть некуда. Все добротно. Ляп-тяп, как у нас, ничего не делается. И все же, все же... Я бы там жить не мог. Скучно! Слишком все правильно. У нас лучше, проще, человечней. Оллахи-беллахи!

Рассказ Рысбека о поездке в Германию к родной сестре разрастался и расцвечивался диковинными подробностями, разнесся по всему аулу и окрестностям. О том говорили несколько лет за каждым дастарханом.

Эльвира не забывала брата, часто писала письма, которые старательно переводил мугалим Олжабай. Каждое ее письмо заканчивалось неизменной припиской Роберта из трех слов: «Бесбармак, Биир, Водка». Этим он выражал свои лучшие чувства к казахстанскому шурину. И звучали эти три слова, как пароль дружбы, как «Свобода, Равенство и Братство».

XVI

Шли годы. Все дети Рысбека обзавелись семьями. Одних внуков у четы Абильтаевых насчитывалось три десятка. Глубокие корни пустил рыжий Рысбек из аула Кастек на благодатной казахской земле. Стал он медлителен, степенен, как истинный аксакал, и любил произносить длинные поучения.

— Шукур, шукур... Благодарение Всевышнему,— все чаще говорил он в кругу близких. — Жаловаться грешно. Все птенцы мои свили себе уютные гнездышка. И птенцы птенцов уже весело щебечут, крылышки расправляют. От

кочевья времени никто не отстал. О чем еще мне с байбише мечтать? Не могу сетовать на судьбу. Не стану гневить Творца.

Любил Рысбек пространно рассуждать о жизни.

— Е-е... где мы только не бывали... И Германию на краю земли увидел собственными глазами. Одно я понял: надо радоваться тому, что есть. От чего все беды-напасти? От неуемного желания. От ненасытности. От вожделения. От алчности. Да, да... Смотрю я вокруг жить стали люди хуже. Все им мало. Кедей-бедняк хочет стать богачом-баем, а бай норовит стать богом-кудаем. Но разве так можно? О добре, стыде, совести-имане, о милосердии забыли. Все только хотят хапать, воровать, подличать, козни строить, обогатиться любой ценой. А к добру это не приведет.

Видят мои глаза: помельчал народ, испоганился, душой очерствел, сердцем ожесточился. В суете людей ни лада, ни склада. А ведь у каждого, кто пришел однажды в этот мир, свой удел, своя доля, свое назначение. Вот и радуйся, веди себя достойно, не разевай рот на чужое. А? Солай емес пе? Не так ли?

Так подолгу рассуждал на склоне лет Рысбек-ата, медленно роняя слова и поглаживая рыже-сивую бороденку, которую, преодолев возраст Пророка, отпустил к неудовольствию Шолпан.

— Е-е... байбише... куда денешься... стариком стал, а старика красит борода.

Одно удручало Рысбека: дети его потянулись в город, аульная жизнь почему-то их не устраивала. И внуки к его, дедушки, пространным назиданиям оставались глухи. Они слушали его только из вежливости, из любви, а думали совсем по-другому. Внук Азат, отличник-шустряк, однажды после очередных нравоучений деда взял да и брякнул:

— Эх, аташка, и зачем только ты в Германию не переехал!

— Тайт, негодник! — обрушился на строптивца-внука Рысбек. — Тебе что, плохо здесь? Чем тебе не угодила родная земля?! Тесно стало? У, негодник!

Хворости одолели Рысбека-ата. Силы таяли.

Однажды он доверительно сказал Шолпан:

— Хоть и рукой подать до моего семидесятилетия, а, боюсь, не доживу. Ночью во сне упал с вороного коня. Плохой знак.

Шолпан встревожилась, но виду не подала.

– Брось, отагасы. Не пугай ни меня, ни детей. Не буди лиха. Разве смертному дано знать, что ждет его впереди?

XVII

Отошел Рысбек тихо, безропотно на рассвете нового дня, на семидесятом году жизни. Хоронили его всем аулом по мусульманскому обряду. Могилу выкопали глубокую, с боковой нишей. Обмыли тело, обернули в белый саван. Бережно предали земле без гроба. Мулла прогнусавил арабскую молитву. Потом провели поминки, седьмицу, сороковину, все честь по чести.

Да будет земля пухом Рысбеку-аксакалу, сыну Хасена, смиренному рабу Аллаха...

Внук усопшего, Азат, снял скорбный ритуал на кинокамеру, подаренную ему германской ажешкой Эльвирой, и отправил кассету в Зиндельфинген.

Фрау Керн сердечно поблагодарила всех сельчан, достойно проводивших ее бедного брата в последний путь., выразила соболезнование его вдове, детям и внукам и осторожно просила учителя Олжабая, нельзя ли на надгробном камне высечь подлинное имя усопшего – Рудольф Диллер. Мугалим Олжабай ответил: это решат дети Рысбека-ага, для них отец ведь не был Рудольфом Диллером, а всегда и только Рысбеком Хасенулы Абильтаевым.

Так впоследствии и написали на могильной плите.

...На склоне крутого увала под бездонным азийским небом его могила.

* * *

Как-то на скамейку возле памятника Чокану подсел ко мне пожилой казах по имени Амирхан и поведал мне эту историю. Теперь я изложил ее по-своему на бумаге.

Знаю: подобных историй на казахской земле не счесть.

Июнь, 2003

МИНИАТЮРЫ

МАЛЕНЬКИЙ КОРОЛЬ

Майн Готт, как давно это было! О том времени и вспоминать-то уже некому...

Мне только недавно исполнилось шесть лет, и я почему-то живу не с родителями, а в большой семье дяди Вильгельма – папиного брата. В этом селе, Мангейме, у папы живут четверо братьев и две сестры и мамины четыре сестры и двое братьев. И еще две моих бабушки – гроссмуттер Элизабет и Олинда. А двоюродных братьев и сестер столько, что я не в силах их ни сосчитать, ни запомнить. И все меня любят, наверное, потому, что я городской мальчишка, ухоженный, чистенький, не по-деревенски одетый, то и дело сбивающийся невольно на потешную для моих сверстников русскую речь, вызываю какое-то любопытство.

Но мне это невдомек. Мне уютно в доме дяди Вильгельма (в селе произносят Виллем), и мои значительно старшие двоюродные братья – Виллем (у немцев на Волге было принято старшего сына называть именем отца), Иоганнес, Фриц – меня всячески опекают.

Вильгельм в то время уже женихался, брал меня на вечерние посиделки. Со своей зазнобой они устраивались на завалинке, лузгали поджаренные тыквенные семечки, миловались, несли какой-то вздор, а я терпеливо ждал, когда кончится их свидание, и Вильгельм – степенный, видный из себя парняга при галстуке (!) – посадив меня, полусонного, на плечи, деловито отправится уже при густых сумерках домой.

Иоганнес, или просто Ганс, тащил меня на колхозную конюшню, на кузню, на мельницу, где все было мне в новинку.

А непоседа, озорник Фриц, рыжий и конопатый, учил меня разным деревенским дразнилкам, частушкам-шнёркелям, среди которых, как я смутно догадывался, попадались и явно непотребные.

В доме моего дяди — кряжистого, усатого, курившего короткую трубку-пфайфу — вкусно пахло семечками, капустой, самосадом и разной стряпней.

Приближался Новый — 1941-й — год. В селе царило радостное оживление. Вечерами со стороны клуба доносились слаженные звуки духового оркестра. В каждом доме стряпали «кухи», выпекали крендели, витиеватых форм «креббели». Забивали гусей, уток. Сытный колбасный дух, с перцем и чесноком, витал над селом.

— На днях приедут Анье и Карлуш, — сказала однажды за завтраком тетушка Амалия, Малье-танте, обращаясь к сыновьям. — Научили бы мальца какому-нибудь новогоднему стишку.

Я смекнул, что речь идет обо мне, а Анье и Карлуш — мои родители.

В тот же день мне вдолбили коротенький стишок, который я должен был прочесть в Новый год, вначале в доме бабушки Элизабет, потом у дяди Фридриха, потом у бабушки Олинды, у тетушки Гульды, Альмы, Маргариты и, Бог знает, у кого еще.

Стишок я вызубрил легко, и меня распирало от гордости, когда многочисленная деревенская родня дружно выражала восторг.

И вот в Новый год, едва позавтракав, Ганс и Фриц повели меня к бабушке. Я был в валенках, шубке, повязан шарфом; снег поскрипывал под ногами, изо рта валил пар. По дороге мои наставники потребовали раз десять повторить стишок, чтобы я его отбарабанил потом без сучка-задоринки.

В просторном доме бабушки все уже были на ногах. В сумеречной «майштубе»-гостиной толпились люди. Кто-то уже сипло пел. Дядя Фриц выписывал непослушными ногами замысловатые кренделя, выкрикивал «Хоп-са-са! Юхей, юхай, доннерветтер!» Длинный стол в углу был накрыт яствами. Сама бабушка, сухопарая, расторопная, длинноносая, с изборожденным аскетическим лицом, в длинной до пят черной юбке и неизменном белом переднике, юрко металась между домом и летним «бакхаузом».

Тут я увидел и своих родителей. Отец был в гимнастерке, галифе, хромовых офицерских сапогах, с диковинными значками на груди, выделялся среди всех ростом и выправкой. Мама, черноглазая, легкая, по городской моде коротко остриженная, увидев меня, заулыбалась, и мне

хотелось кинуться к ней, прижаться, только сейчас я почувствовал, как соскучился по отцу-матери, но братья-наставники мои, Ганс и Фриц, держали меня с двух сторон, заявив честной компании, что Гергольд (почему-то так произносили в селе мое непривычное, как бы чужеродное имя) желает прочесть стишок. Все вокруг восторженно всколыхнулись:

– Ах, ду, либер цайт!

– Гук моль доу! Смотрите-ка!

– Где он только научился?!

– Неужели ауф дайтш?!

– Ай-яй!.. Тафай, валяй!

Я вышел в круг, вскинул голову, выпятил грудь, как учил меня Фриц, и, ничуть не запинаясь, на пределе голосовых связок выпалил-выдохнул коротенький стишок.

Все пришли в неописуемый восторг. Отец схватил меня и, расцеловал, подбросил к потолку; мама присев на корточки, крепко обняла меня; дядья и тетки радостно заколготали все разом, а бабушка Лизбет, все с тем же суровым видом, поднесла мне в крохотной стопочке парного молочка. В этом заключалось высшее признание: своим многочисленным внукам бабушка не особенно благоволила, а баловства и вовсе не терпела.

Этот счастливый миг моего далекого детства запомнился навсегда.

А вскоре и вся наша жизнь пошла кувырком.

Мы переехали из Энгельса в кантонный центр Гнаденфлюр. Бабушка умерла. Потом обрушилась война. Автономную Республику немцев Поволжья ликвидировали. Нас выселили кого куда – в Казахстан, в Сибирь. Все мои дядья и многие двоюродные братья и сестры погибли в трудармии. Уцелевшие оказались развеянными по всей стране. Многих так и не довелось больше увидеть. Ну, а от родного, милого села Мангейма и следа на земле не осталось.

Вспоминая тот Новый – 1941-й – год, я десятилетиями мучительно и тщетно силился восстановить в памяти короткий стишок, который ввергнул тогда мою родню в восторг и умиление.

В глубине сознания застряли лишь два слова – kleiner König, т.е. маленький король.

С мамой при ее жизни я не однажды заводил разговор

о том случае. Она хорошо все помнила, перебирала в памяти разные новогодние пожелания-шпрюхе, имевшие хождение среди немцев-колонистов, но в них о маленьком короле не говорилось. И отец не помнил. Совместными усилиями мы вспоминали печальную балладу о королевских детях, которых насильно разлучили, и гетевские «Es war einmal ein König» и «Der König von Thule», но нет... все не то, не то...

Слишком давно все это было. И ныне свидетелями того новогоднего утра в бабушкином доме осталось только двое – отец и я. И стишок тот канул в небытие.

...Пятьдесят шесть лет спустя, очутившись с инфарктом в больнице в реанимации, я ночами с какой-то воспаленной остротой оживил в памяти разные далекие эпизоды моей жизни, и вдруг совершенно неожиданно, молниеносно, как ожог, вспыхнула первая строка: »Ich bin a kleiner König...» Потрясенный, взволнованный, я вновь и вновь, чтобы только не забыть, не упустить, повторял и повторял эту строчку, пока не набрел и на вторую – «gebt mir net zu wenig». Дальше опять все застопорилось, и я, изможденный, уснул.

А на утро, едва раскрыв глаза – вот причудливое свойство человеческой памяти! – я без всякого усилия вспомнил и последние две строчки:

Lasst mich net zu lange stehn,
Ich muss noch a Häusche weiter gehn.

Господи, всего-то... Бесхитростный наивный стишок, родившийся в глубине веков где-то в Баварии, Швабии, Саксонии и завезенный в Руссланд, на Волгу...

Я почувствовал огромное облегчение, радость и одновременно опустошающую грусть, что поделиться тем ярким отблеском далекого зарева, крохотным осколком невозвратного прошлого в сущности уже не с кем.

Бедный, бедный «kleiner König»...

15.10.1996

«СЕРДЦЕ, СЕРДЦЕ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?»

Марату БАЯЗИТОВУ

Когда человек лежит в реанимации с диагнозом – крупноочаговый инфаркт миокарда, ему моментально становится отнюдь не весело, даже если он по натуре и неисправимый оптимист. Разное – чего греха таить – взбредает в голову. Сужу по себе...

А поскольку я все же литератор, то услужливая память мимовольно выдает разные обрывки фраз из классики. Вот и вспыхнула нежданно-негаданно гетевская строчка, родившаяся, впрочем, совсем по другому поводу:

– Herz, mein Herz, was soll das geben?..

Ну и пошли вариации. Мысль будит мысль, слово рождает слово. Вслед за Гете в моей душе просыпается Абай.

– Жүрегім, нені сезесің?.. (Что встревожилось мое сердце?)

– Жүрегім менің қырық жамау... (Из сорока лоскутков мое сердце...)

– Жүрегім, соқпа енді... (Сердце, полно тебе колотиться...)

Тут же всплывает в памяти емкая гейневская строка:

– Разбилось лишь сердце мое...

Хлопочут-колдуют надо мной, беспомощно распластанным на койке, неотступно ангелы-сестрички, зорко опекают меня строгие врачи, а в растревоженном мозгу, точно заигранная пластинка, вновь и вновь крутятся-вертятся эти фразы. Что бы делали поэты всех времен и народов, не будь этого магического, полного тайн и страданий, нежности и любви, всеобъемлющего слова – СЕРДЦЕ?!

«Для равновесия Мира нужно сердце», – сказано в учении АГНИ ЙОГА.

И мудрец Николай Рерих пишет в своих «Листах дневника»: «Всеми начертаниями народы хранят память и кричат и шепчут друг другу драгоценное слово о сердце». Еще он говорит о сердце: «хранилище Света».

Прислушиваюсь обостренно к нервному, нечеткому биению своего сердца и ловлю себя на мысли, что есть явное созвучие в его русском, немецком, английском словесном выражении:

Сердце... Herz... Heard..

Да и казахское «жүрек» как бы обозначает двухтактное биение сердца: «Жу-рек! Жу-рек!» Сердце – жизнь. А я не приемлю легкомысленного отношения к жизни, ибо жизнь – при всей ее хрупкости – священный дар. Ну, а при слове «дар» мгновенно стучится в сознание Пушкин. Легко, изящно, бесстрашно. Вспомним:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?..
И зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Как обнаженно, исповедально, искренне и непосредственно! Белой завистью позавидуешь Поэту, которому было дано высказаться именно так, ставить основополагающий вопрос бытия с такой бесстрашной, взыскующей прямотой. Призадумаешься, затаишь дыхание и испытаешь восхищение, даже если все существо противится, казалось бы кощунственным словам о человеческой жизни как напрасном и случайном даре. Вероятно, для того, чтобы воспарить к таким духовным высотам, откровениям Духа, необходимо обладать гением мудреца, что, разумеется, простым смертным не дано.

Ну, как это, в самом деле, – «дар случайный»? Ну, почему «напрасный»? Не обесценивает ли такое утверждение вообще весь смысл человеческого бытия? Не отрицание ли это вообще ЖИЗНИ, которая по спасительному и вроде как незыблемому постулату, высшая ценность, высшее благо, волеизъявление Творца, божий дар?..

Ночь. В реанимации тишь. Лишь дежурная сестра на посту в коридоре деловито шуршит бумагами. Причудливые тени играют-мечутся на глухой стене больничного здания, словно подчеркивая зыбкость жизни. Тупая боль вновь ворохнулась в сердце.

«Сердце, сердце, что случилось?» – в который раз вопрошает Гете.

А Пушкин, великий искуситель, смущает душу в ночной тишине:

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?

Вопрос, впрочем, вечный, безответный. И меня сейчас это меньше всего волнует – кто. В тридцать лет – а при-

мерно столько и было Пушкину, когда он написал эти строки, – можно позволить так ставить вопрос. А когда тебе за шестьдесят и ты сражен серьезным недугом, тебе нет дела до того, кто «ум сомненьем взволновал». Все твои взбаламученные мысли вьются-бьются вокруг спорного утверждения – «дар напрасный, дар случайный».

Нет, надо, видно, подготовить свое сознание, дорасти до такой ступени мировосприятия, чтобы с подобной мудростью, легкостью и мужеством, бесшабашным бесстрашием относиться к пределу самой жизни, к ее жуткому отрицанию – к смерти. «Memento mori» – предупреждали древние. Помни о смерти. И о ней помнили все великие философы и писатели: и те, кто фрондерски презирал ее, и кто убежденно верил в беспредельность жизни.

Пушкину двести лет, изучен он вдоль и поперек, горы бумаги изведены о его творчестве, жизнь его расписана едва ли не по дням, а он по-прежнему загадка, по-прежнему – тайна, неожидан и непредсказуем. Очарованный жизнелюбец, по нынешним временам совсем еще молодой человек, полный жизненной, психической энергии, а с какой гусарской лихостью пишет о смерти.

С Богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава Богу.
Светит месяц, ночь ясна,
Чарка выпита до дна.

Какое чудо! И как все просто! Будто на ходу, распаренный праздником жизни, упоенный ее соблазнами и прелестями, выпив напоследок добрую чарку вина, взлетел, вспорхнул в сани и понесся без оглядки на крылатых вороных в дальнюю дорогу, в последний запредельный путь, из которого нет возврата. Подумаешь, экая важность – жизнь, коль ты убежден: «дар напрасный, дар случайный» и если уверен: «путь найдешь ты, слава Богу...»

Да, конечно, путь найдешь... никуда не денешься, поплутаешь в потемках, помыкаешься, потыкаешься и найдешь. Другое дело – сможешь ли в роковой час сам себе сказать по-пушкински: «С Богом, в дальнюю дорогу!» Хватит ли пороху?

Я прислушиваюсь к своему пораненному сердцу, к как бы замершей в неведении душе, и тайная, жуткая тревога в серых сумерках палаты витает у моего изголовья. За окном льет молочный свет луна, чуть колышутся листья на

верхушках тополя и все так же, точно в бесконечном боренин, без устали трепыхаются на стене здания уродливые тени.

Да что там... Каждый из нас, пилигримов на земле, изначально обречен на дальнюю дорогу. А коли так, и убиваться особого смысла нет. Все было прахом, будет прахом. С неизбежным приходится смириться. Однако жизнь — все же — нет-нет! — не случайный дар, иначе рухнула бы мировая гармония, воцарился везде и во всем безбрежный хаос: а даром жизни и стоит, и должно дорожить, ибо она, жизнь, каждому дана со смыслом, со своим потаенным предназначением, и в звездном круге мироздания каждому на земле определено свое место, и жизнь прекрасна, если ты чувствуешь в ней себя для чего-то и кому-то нужным.

И, собираясь уходить в беспредельность, раствориться в мировом океане, человек должен иметь волю и счастье, силу и мужество сказать себе с чистой совестью: что ж, не ропщу, не плачу, не отчаиваюсь, ибо пакостей не делал, зря небо не коптил, служил, как мог, Добру и Свету, поклонялся Красоте, исповедовал Любовь и Сострадание. Что ж... с Богом! Теперь и дальняя дорога не страшна. Плоть моя погибла, но Дух мой живет и будет пребывать в том Добре, в том Свете, которым служил, и, покидая земную обитель, растворюсь в беспредельном божьем мире, осиянном светочем вечности, как и тысячи поколений до меня.

Не в том ли смысл магических пушкинских строк?..

17.10.1996

О, МОНМАРТР!..

Что-то возвышенное, чистое и безбрежное чудится мне в этом слове. На память приходят пушкинские строки: «Прекрасное должно быть величаво». Да, здесь все прекрасно, все гармонично, все величаво. И люди со всего света приходят сюда, полагаю, не просто для того, чтобы посетить храм La basiligue du Sacre-Couer, эту святыню католицизма, чтобы послушать ритуальную службу, хор и орган, чтобы отрешиться от суеты земного бытия и приобщиться к вечному и божественному. Сюда приходят и отнюдь не ради праздного любопытства, не для того только, чтобы полюбоваться на Париж, раскинувшийся вниз

до самого горизонта, растворяющегося в небесной сини. Нечто совсем другое, словами не выражаемое, притягивает, влечет сюда тех, в ком бьется чуткое, открытое прекрасному и таинственному сердце.

Воздух Монмартра пропитан очарованием, сладостным мигом пьянящей вольности и счастья. Точнее, наверное, ощущением счастья. Или извечным стремлением к нему. Каждый, кто совершает своеобразный хадж-паломничество на эти холмы вечного города, впадает в неописуемое блаженное состояние, естественно испытывая восторг сердца и радости бытия на благословенной земле. Очарованного странника или паломника охватывает физическое и душевное наслаждение жизнью, в нем поет, ликует каждая жилка, словно он вознесся на невидимых ангельских крыльях в боговдохновенную высь, и этот миг радости, миг упоения навсегда откладывается в подсознательных глубях.

Было воскресенье. Солнце уже склонилось за зенит, но оно не спешило, не торопилось к закату, медленно плыло по промытой вчерашним туманом синеве неба и, щедро истекая лучами, весело взирало на людскую карусель на Монмартре и его подножья. Рябило в глазах от пестрого многолюдья, от фантастических, порою нелепых, излишне раскованных и рискованных одеяниях, от бесконечного разнообразия открытых, умиротворенных лиц, от сияния глаз, от улыбок и какой-то душевной расположенности друг к другу. Все вокруг кружилось, перетекалось, двигалось, говорило на всех языках и наречиях, бурлило, пело, играло, клубилось. И с первого мгновения мерещилось, будто ты попал, окунулся в хаотический круговорот, что тебя захлестнул, увлек, затащил в бездну неуправляемый, как стихия, людской поток. Но ничего подобного. Это было истинно праздничное гулянье, и фантастическое, разноплеменное многолюдье не сливалось в безликую толпу, в массу, в которой чувствуешь себя ничтожной песчинкой. Нет, в этих нарядных толпах никто не обезличивался, никто себя не терял, не растворялся, каждый оставался сам по себе и ощущал себя человеком, вольным, окрыленным, осененным неким высшим смыслом, радостью, охваченным упоением созерцания и самовыражения.

Прямо на улице вдоль тротуаров тянулись сплошным рядом столики, стульчики, и люди отдыхали, глазели на праздничные толпы, беседовали, пили вино, кофе, тяну-

ли коктейли, лакомились орешками, пирожными, печеньями, а вокруг все колыхалось, качалось, шли и текли, прогуливаясь, взад-вперед наслаждающиеся жизнью люди — в одиночку, парочками, группами, толпами. На одной площадке, плотно окруженной слушателями, пели школьники в белых фартучках вместе со своими наставниками, пели самозабвенно, ладно, обняв друг друга за плечи и кружась то влево, то вправо. Немного поодаль, за переулком, у стены каменного здания расположился небольшой перуанский оркестрик. Смуглые, гривастые музыканты в расшитых национальных костюмах, в широченных с перьями шляпах-сомбреро играли что-то зажигательное, искристое, задорное: они работали честно, старательно, выкладываясь полностью, пританцовывая, издавая гортанные выкрики, конвульсивно дергаясь в огненном ритме. Экзотические переливчатые звуки, рассыпчатая трель, упругая дробь, будоража, горяча кровь, круто взмывали над зачарованными слушателями. У обочины тротуара лежала, широко распахнув черную пасть, живописная шляпа, и в нее время от времени глухо шлепались монеты — жалкая плата за усердие и талант. В другом месте, в самой гуще толпы, рыжий бородатый детина, дымя большущей сигарой, флегматично крутил шарманку, а рослая, бедрастая девица, в черном, туго обтягивающем трико, в сапогах на высоких каблуках, с одной серьгой в ухе выкрикивала что-то тягуче-страстное, агрессивно-жадное. Во всем ее облике было что-то вызывающе-порочное, а в темных глазах плескалась муть.

Медленно двигаясь в потоке толпы, я вышел на широкую площадку круглой формы — обитель художников. Большей частью молодые, темноликие, расхристанные, патлатые, они творили тут же на глазах любопытствующей толпы. Хочешь получить свой портрет на память — пожалуйста! Мадемуазель угодно иметь дружеский шарж на своего обожателя — один момент! Месье желает запечатлеть свою очаровательную спутницу — силь ву пле! Вам приглянулся этот натюрморт? Или этот пейзаж в японском стиле? Или вон та пышнотелая обнаженная красотка? Ваше внимание привлекла эта прекрасная фривольная сценка? Пожалуйста, месье! Я к вашим услугам, мадам! О, шармант! Мерси, мерси!!

И все делается, говорится, изображается, воспроизводится с неизменной улыбкой, вежливо, галантно, с шуткой, с выражением истинного удовольствия, артистично. Я

трижды обошел всю эту разномастную выставку, своеобразную мастерскую под открытым небом, жадно впитывая дух, радость непосредственного творчества, заражаясь безмятежностью и легкостью человеческого взаимоотношения.

Понимаю: художники Монмартра – не высший класс, не элита (та творит в иных условиях), и их изделия – отнюдь не совершенство, не шедевр, но это творчество, созидательный порыв, тяга к доброму и возвышенному, живое общение с демократической, не пресыщенной публикой. В конечном счете, и эти бродячие художники, и самодеятельные музыканты, и очарованные хористы, и флегматичный бородач-шарманщик со своей экспансивной подругой, и весь этот гомон и гул, все эти бесчисленные, миниатюрные и красочные, точно бонбоньерка, кафе, магазинчики, лавочки, ресторанчики, кофейни и Бог весть какого предназначения заведения на вершине дивного холма, под которым во все стороны раскинулся, распростер свои крылья безбрежный ослепительный Париж, и этот величественно-чинный храм за ажурной чугунной оградой с двумя рыцарями-всадниками на порталах – все это создает в душе человека удивительно легкий, благодушный настрой, ощущение сопричастности к человеческой радости, и тебе помимо воли хочется всем улыбаться, петь, говорить приятные слова и совершать что-нибудь хорошее, доброе. Здесь хочется верить в добро, в благородство, в гордое и спасительное наличие человечности в человеке, в безмерную ценность человеческой жизни и в славу свободы.

Ошеломленный впечатлениями, я побрел назад, к белокаменному храму. Вошел в Sacre-Couer, попал в умиротворенную сутемень. Шла торжественная служба. Временами гремел, растекаясь эхом под высоченными куполами, орган. Слаженно, вдохновенно пел хор. Впереди длинными рядами уходили вглубь скамейки для верующих. Я пристроился в задних рядах, оглянулся. Внимая незнакомой мне службе на французском языке, я зажмурился, расслабился, почувствовав сразу приятную истому и благостную отрешенность.

Изредка по рядам неслышно прохаживался, смиренно вытянув голову, сутуловатый священник. Он что-то тихо, вежливо спрашивал у прихожан, раздавал какие-то листочки. Подошел он и к задним рядам, скользнул проницательным взглядом по тесно сбившейся группе, спро-

сил: «Руссе?» и, получив утвердительный ответ, подал по листочку с кратким описанием сути и назначения храма. Этот же вопрос он задал и мне, я ответил по-немецки: «Найн, ихь бин дойчер». «Ах, зо-о?!» – произнес он тихо и тотчас подал такой же листочек с немецким текстом. Не хотелось уходить из храма, но время шло, пора было податься к автобусу.

Солнце висело низко над горизонтом, обласкав предзакатными лучами весь Париж. Мы, группа казахстанцев, еще походили некоторое время по площадке перед храмом, любовались дивной панорамой. Потом спустились по бесконечным широким ступеням. Здесь собралось много молодежи, гремела музыка, и ловкие, пружинистые парни и девчонки выделывали в экстазе Бог весть что – изгибались, подпрыгивали, пластались, судорожно дергались, взлетали, кувыркались, опускались в полете на руки, прыгали на животе, на спине, немыслимо взбрыкивали, вращались волчком, шалея сами и подзадоривая друг друга.

– Вот это брейк-данс! – восхитился кто-то.

А внизу, на площади с фонтаном, кружилась-кружилась вся в иллюминациях сказочная карусель. Резвились дети. Прохаживались, точно манекенщицы по подиуму, изящные, стройные мамаши. И здесь, у подножья Монмартра, царил праздник.

– В Париже карусели вновь входят в моду, – пояснила наш гид Валентина Казимировна Пэке.

Мы все точно обалдели от невиданного благолепия. Но наш водитель, алжирец Салляхаддин, поторапливал нас: пора на ужин в ресторан «Балкан».

О, Монмартр... О, прекрасное обиталище богемной свободы.

1988

ДЕВЯТОЕ МАЯ

Всегда в этот день находятся люди, которые поздравляют меня с подковыркой, намекая на мою немецкость, выведывая при этом, искренне ли я радуюсь или горюю. Нередко многие, в том числе и мои добрые друзья, где-то в глубине души полагают, что я огорчен или раздосадован, ибо – поскольку я немец – я как бы «побежденный», а есть и такие, что деликатно или даже великодушно помалкивают, нарочито не поздравляют с Днем Победы,

опасаясь, что я обижусь. Как говорится, мотив этот присутствует. В разной форме. Преодолеть идеологический штамп, психологический стереотип очень непросто. И приходится отшучиваться или сглаживать нелепость, но никак не возмущаться или оскорбляться, иначе это тотчас будет истолковано по-другому. Как у иного казаха поневоле возмущается все его существо, когда что-то недоброжелательно говорят или пишут о скифах, гуннах или кипчаках, так и во мне, считают они, бушует в жилах осрамленная тевтонская кровь.

...Вот звонит Жанатай и поздравляет с Днем Победы. Поздравляет искренне, честно, я это знаю. Мы земляки, учились в одной школе. Он с детства с неподдельным почтением относится к моему отцу. Но поздравляет скованно, неуклюже. В переводе на казахский язык звучит примерно так: «Мы тут все радуемся твоим успехам... Видишь, как все обернулось! Вчера еще говорили «Пашис! Пашис!», а ныне, вот ты сидишь в парламенте. Каково, а?! И что тут скажешь? Вот тебе и «пашис»! А глава нашей области ведь тоже твой соплеменник кажется? Ну, вот видишь! А на троне Акмолы кто сидит? Тоже ведь твоя родня! Да?! Я и говорю! Словом, поздравляю тебя с Победой!»

...Помню, как покойный поэт Токаш Бердияров, уже под «мухой», в какой-то юбилей Победы, завидев меня возле буфета Союза писателей, громко, чтобы услышали все орденоносные писатели-ветераны, явно рассчитывая на восторг по поводу его остроумия, загорланил:

– Эй, Гера, давай выпьем! Я – за Сталина, а ты – за Гитлера...

Всем было жутко смешно. Хохотали так, что на обвисших пиджаках ветеранов-писателей дребезгливым звоном откликались ордена и медали. А Токаш все нажимал, дурачился:

– Ну давай, что ты?! Я – за Сталина, ты – за Гитлера...

И не отвязался, пока я не сунул ему трешку, сказав:

– Пейте за обоих! Надеюсь, справитесь...

...Еще один писатель как-то спросил: «Это верно, что в День Победы наши немцы сидят дома под черным флагом?»

Другой, стоявший рядом, глубокомысленно пояснил: «Ну что ж... понять это можно. Как-никак один народ. Одна кровь. Душа болит. Наша победа – для них позор...»

От подобных вопросов и пояснений друзей становится тошно.

...8 мая 1945 года братишка моего аульного друга Аскера (звали его Макеш, он и ныне здравствует) по-мальчишески дразня меня, показал ладошкой на свое причинное место, и дал деру. Он успел убежать довольно далеко, а мне, оскорбленному, подвернулась под руку баранья кость, валявшаяся в траве. Я размахнулся, швырнул ею Макешу вслед и – надо же было такому случиться! – кость точно угодила ему в темя. Он заорал дурниной, размазал показавшуюся кровь по бритой голове и лицу и понесся к своему брату. А тот, не раздумывая, повел своего семилетнего брата-ревуна в аулсовет и медпункт. Мой отец, завмедпунктом, обработал крохотную ранку, помазал зеленкой, наложил на бритую голову лейкопластырь и отправил пострадавшего восвояси. Никто в ауле этому случаю значения не придал.

Но... на другой день был праздник Победы. Школьники собрались на лужайку перед интернатом. И вот ученик 9-го класса, бузотер, задира Жылгельды Муканов (впоследствии мой учитель казахской литературы и, к слову сказать, весьма толковый) крепко схватил меня за локоть и при всех начал разглагольствовать: «Еще вчера он по заданию Гитлера пробил нашему азамату череп. Но все равно победа оказалась за нами!»

Сейчас мне смешно, но тогда я задохнулся от обиды. Непостижимо, каким образом 8 мая 1945 года Гитлер мог дать мне, мальчишке из аула на берегу Ишима, задание пробить непременно череп Мекешу Жуматаеву... А ведь многие поверили...

...Незадолго до своей кончины оригинально поздравил меня с Днем Победы писатель Тахави Ахтанов. Он, фронтовик, позвонил мне и сказал: «Гера, я собираюсь просить у тебя прощения... Понимаешь, я напрасно одержал над тобой победу. Зачем я, дурья башка, пошел на это?! Не знал, не ведал я тогда, что совсем не того, оказывается, я побеждал. По глупому все получилось. Ты уж меня прости...»

И так потешно это у него получилось, что мы оба от души рассмеялись.

9.05.1994

НА ПЕРРОНЕ

Ночь. Духота. Тусклый малолюдный перрон. Тяжело пыхтит, пофыркивает паровоз.

На маленьком, освещенном зыбким светом пятачке перрона подгулявшая ватага парней и девиц горланит песни. Видно, провожают одного из компании, того, высокого, с усиками и выпученными глазами. Он больше всех орет, выламывается:

— Э-э-э-эй!.. А-а-а-ай!

Девчонки, не спуская с него глаз, уже не поют, а только визгливо выкрикивают какие-то слова.

— Давайте русскую! — распинается размалеванная рыжуха в короткой юбчонке. — По-од же-е-лезный звон кольчуги. Под же...

Хрипло, натужно вторят ей парни. Кажется, они задались целью непременно разбудить городок за перроном.

— Лапушка, дай я тебя поцелую. Ла-а-а-апушка-а... у-у!

Рыжая берет усатого за подбородок, притягивает к себе, жеманно чмокает его в губы. Смуглая девчушка, маленькая, с тугими черными космами, вся вдруг вытягивается, напряженно застывает. Глаза ее становятся большими-большими.

Из темноты появляется милиционер. Заспанный, озабоченный.

— Ребята, потише,— неуверенно говорит он.

Хлыщ, задавака с усиками, небрежно выступает вперед.

— Все в норме... Все в норме, дорогой,— снисходительно фамильярно цедит он и, явно рисуясь перед девицами, добавляет: — Топай, топай отсюда, товарищ!

Пожилой, весь какой-то помятый милиционер смущенно уходит. Девицы похихикивают. Ай, ухарь! Как отшил, а! Хлыщ берет рыжуху под руку, прижимает к себе, целует в щеку. Та гогочет, делая вид, что отстраняется, искоса постреливает глазами на смуглянку.

— Ты что, Саулеша, такая грустная стоишь?!

Бедняжка опять вся застывает, вытягивается в струнку, темнеет лицом и деревянно, мучительно улыбается.

Хлыщ снова орет. Не отстает и рыжуха. Не песня — надсадный крик. Вразнобой поддерживают их вконец охрипшие дружки.

Из-за угла опять плетется милиционер. Видно, ему чертовски надоели и этот перрон, и эта гогочущая компания. Ночь. Духота. Чего им неймется?

Тихо трогается поезд. Ватага всполошилась. Все орут, обнимают, тискают, целуют хлыща с усиками. И только

смуглая девчушка, хрупкая, незаметная, будто чужая в этой компании, стоит в сторонке, судорожно ломает пальцы. В глазах ее дрожат слезы.

Наконец, хлыщ картинно закинул светлый плащ на плечо, выхватил из рук дружка саквояж, прыгнул на подножку, помахал рукой:

— Чао, други!..

Семенит-потрухивает рядом рыжуха, посылает вдогонку воздушные поцелуи. А та смуглянка, подавшись вся вперед, со слезами на глазах, страдальчески смотрит на хлыща с усиками и стоит под фонарем — маленькая, худенькая, одна-одинешенька.

Поезд сердито пофыркивает, набирает скорость и врезается в черную южную ночь, увозя черноусого хлыща и оставляя на перроне маленькую девочку с большими испуганными глазами...

1964

АУЛ В СНЕГУ

Аул в снегу. Горбатятся могучие сугробы. Дома стали маленькими, приземистыми. Буранная выдалась нынче зима. Снег приглушил все звуки.

Непривычно тихо и в просторном деревянном доме. Уже не рано. Но за окном еще висит плотная утренняя мгла. Бабушка растапливает печь. За дверью моей комнаты слышится шорох, мягкие шаги, нетерпеливое сопение. Я слышу все это сквозь дрему и улыбаюсь. Видно, Иринке нужно срочно сообщить мне очень важную новость. И она не дождется, когда я проснусь.

Наконец, я решительно выныриваю из-под теплого одеяла. И в то же мгновение распахивается дверь, и у порога вырастает Иринка. Она в теплом шерстяном костюмчике, на ножках — войлочные сапожки. Черные глазки возбужденно поблескивают.

— Доброе утро! Ты знаешь что, знаешь что?

— Утро доброе! — отвечаю. — Пока ничего не знаю.

— Хм-м... — Она снисходительно смотрит на меня и начинает тараторить,— вчера я никак не могла «К» написать. Не получается и все. А ночью подумала и теперь могу. Вот!

Она бросается к столу, берет бумагу и уверенно выводит карандашом букву «К». Потом еще и еще. Стройный ряд «К».

— Ух ты! Молодец!

— Теперь только «Ч» осталось. — Иринка задумчиво смотрит вдаль. — Может быть, завтра ночью вспомню.

Недавно ей исполнилось пять. Дедушка подарил внучке букварь и карандаш. Целыми днями не расстается Иринка с букварем. Она уже знает все буквы и неплохо складывает их в слова. Подолгу разглядывает картинки и сама рисует, раскрашивает. Вопросов у нее уйма. Баба с дедой устали от ее бесконечных «почему». Вот и сейчас, когда я, застелив свою постель, собираюсь на улицу, Иринка спрашивает вдогонку:

— Папа, папа... а как читается воспитательный знак?

Бр-р-р... холодина! Я зябко поеживаюсь в своем куцем городском пальтишке. Из хлева, где стоят корова и овцы, струится пар. Ночью буран утих. Из-за косогора поднимается солнце. Кажется, оно карабкается по заснеженным березкам. Но никак не может залезть на верхушки: каждый раз соскальзывает. Продрогло, должно быть, солнышко. В снегу вспыхивают зеленые, желтые, синие искорки. Он лежит пластами, будто крутая морская волна застыла на всем бегу. Вьется дымок над крышами заваленных снегом домов. Он тоже разноцветный. В одних домах топят дровами, в других —углем. Давно не бывал я в ауле зимой. И потом все кажется мне необычным. Словно попал в снежное царство из сказки, или вернулось детство.

Возле школы ватага ребят играет в снежки. Жаркий бой разгорелся на горке. Победители гордо стоят на вершине. Пораженные со всего разбегу бултыхаются в сугробы. Слышится звонок. И горка, и школьный двор мигом пустеют.

Ирина прижалась носом к окну и ждет, когда я зайду в дом.

«Непременно привези дочь, слышишь. И не надо строить никаких иллюзий. Сама воспитывать буду. Сама!» — вспомнились мне строгие слова Ирининой мамы.

Почти полгода не видел я дочку. В день моего приезда она все цеплялась за подол бабушки и с любопытством взглядывала на меня. Но уже на второй день от робости ее и следа не осталось. Подошла ко мне с маленькой скрипкой в руке, приняла позу заправского музыканта, взмахнула смычком и сама не выдержала — заливисто рассмеялась.

— Ну, что тебе, папа, сыграть?

– А что умеешь?

– Я умею все!

– Ого! – невольно воскликнул я. – Тогда сыграй «Дунайские волны».

– Пожалуйста!

И запиликала яростно. Такой вдруг поднялся визг, будто прищемили невзначай хвост нашей Мурке. Попиликала, попиликала, опустила смычок, вскинула ресницы.

– Что еще?

– Хм-м... Ну, сыграй Интродукцио рондо каприччиозо.

– Что? Что-о?

– Интродукцио рондо каприччиозо.

– А-а-а... – Ирина похлопала глазами, наморщила лоб. – Пожалуйста!

На этот раз замяукала целая кошачья капелла.

– Ладно, ладно, Ирина! – замахал я руками. – Хватит! Иди на кухню.

Она посмотрела на меня с сожалением, вздохнула и потопала на кухню. Еще долго доносился оттуда кошачий концерт.

Днем Ирина предоставлена обычно сама себе. Дедушка вечно занят. Он фельдшер и отвечает за здоровье всех в совхозе: до обеда работает в медпункте, потом – в школе и интернате. То прививки делает детям, то уколы. Вечером навещает больных на дому. Часто вызывают его и ночью.

У бабушки тоже хлопот хватает. Она санитарка в медпункте, и по дому все успевает делать.

Ходит Ирина по комнатам, затевает с куклами разные игры. Охотнее всего она играет в школу. Посадит всех кукол, медвежат и обезьян в ряд и показывает им «Веселые картинки». Рассказывает сказки. Или объясняет, как пишутся буквы. Иногда приходит Айгуль, дочь дяди Есима. Тогда они играют в магазин. А чаще всего Ирина смотрит в окно и рисует. Это так интересно! На белом листе бумаги вдруг появляются разные предметы. Дома с окнами на крыше и дверьми на половину стены. Деревья, над которыми кружатся, как самолеты, вороны. Снежные бабы. Человечки с растопыренными руками и ногами. Куклы в ярких платьицах.

Потом приходит бабушка, и они начинают варить обед. Ирина крутится возле и говорит без умолку. Столько ей

нужно рассказать! И про то, что она рисовала, что думала, видела. И про то, что вчера читал ей дед. И про то, как они играли с Айгуль. Бабушка смеется над остротами внучки и сама рассказывает ей аульные новости. Обе веселые, довольные. Особенно довольна Ирина. Сегодня в обед можно не спать, потому что она с бабушкой пойдет в школу. Там елка для самых маленьких. Ведь скоро Новый год. А Ирина выучила много стихов и песен.

После обеда она надевает матросский костюмчик, красные валенки. Бабушка заплетает ей две косички с новыми белыми бантами.

— Ну, папа, я пошла, — говорит она озабоченно.

Возвращается часа через два. Торжественная, радостная. Щечки пылают с мороза. В глазах блеск.

— Во! — говорит она, протягивая две тетрадки и карандаш. — Приз получила.

— За что?

— Как за что?! Прочла «Что растет на елке?» и «Приди, приди, весна!» Хотела еще матросский танец сплясать, но музыки не было.

— И так хорошо! Раздевайся.

— Что ты?! Некогда. Отдохну немного и в клуб пойду. Там тоже елка. Может, больше подарков дадут...

В клуб Ирина идет с дедушкой. Он берет с собой скрипку. Дедушка руководит еще и совхозным струнным оркестром. Вскоре Ирина приходит с большим кульком конфет.

— Вот и все, что сегодня заработала.

Разувается, аккуратно ставит в угол красные сапожки и сразу же принимается рисовать.

Вечер. Быстро сгущаются сумерки. Люди спешат домой. За окном скрипит снег. Бабушка затапливает печь. Застрекотал за аулом движок. В окнах мигает свет. Ирина щелкает включателем. Кладет свои книжки на стол, придвигает стул, деловито усаживается рядом со мной.

— Ну, начнем, пожалуй.

— Начнем,— говорю я и убираю свои бумаги.

Такой мы завели порядок. Занимаемся каждый день перед ужином. Чтение букваря — одно из любимых занятий Ирины. Сначала мы повторяем буквы. Потом читаем надписи под рисунками.

— Что это?

— Это карандашник,— не задумываясь, отвечает Ирина.

– Да? Сомневаюсь, однако. Читай!

– «Пэ», – говорит Иринка,– е... пе... Пенал!

– Вот видишь. Другое дело. А то – «карандашник». Это что?

– Мухомор, конечно.

– Сколько «М» в слове «мухомор»?

– По-моему два. Один – в начале, другой – где-то в конце.

– Допустим. А это?

Нарисован тонконогий вороной конь. Ирина читает первый слог – «ко» и решительно заявляет:

– Кобыла!

– Какая еще кобыла? Смотри: всего четыре буквы

– Да тут мягкий знак. А я его не люблю.

– Почему?

– А потому, что он не слышится. А если не слышится, как его читать? Давай лучше почитаем текст.

Мы читаем тексты к большой букве. Ирина выучила их почти наизусть, но ей нравится читать их снова и снова. Потом я читаю рассказы и стихи из «Малышкиной книги» и «Мурзилки». Иришка внимательно слушает, прижавшись спинкой к теплому камину. Она живо впитывает в себя каждое слово. Радуется за мальчика Женю, который научился говорить «Р». Переживает Федорино горе. А когда мама заставляет сына темной ночью отнести ворованные огурцы в колхозный огород, едва не плачет. Так жалко мальчика! Конечно, сам виноват. Зачем же огурцы воровать?

– На сегодня хватит.

– Ну, еще, папа. Еще один-один рассказик, – просит Ирина. – Ой, как я люблю слушать. Всю бы ночь слушала.

Но тут бабушка зовет ужинать, и Ирина, вздохнув, складывает книжки.

Долог зимний вечер. Монотонным тик-так, тик-так отсчитывают время большие настенные часы. Простуженным голосом вещает совхозный радиоузел. Тихо за окном. Лишь временами ошалело налетает ветер – хмурый гонец белой ведьмы-пурги. И снова все погружается в тишину.

Я пишу. Ирина знает: мне мешать нельзя. Дедушка в смежной комнате тоже разложил на столе свои книги, журналы, бумаги и пишет, пишет крупными корявыми буквами. Шея его тонкая, жилистая, вся в глубоких морщинах. Рука тяжелая, натруженная.

– Что, деда, отчет пишешь?

– Да, Иринушка, отчет.

– Какой?

– Пока только месячный закончил.

– И осталось еще два? – осведомленно спрашивает внучка.

– Еще два, – устало вздыхает дедушка.

– Годовой и... и... карнавальный?

Дедушка смеется.

– Да, годовой и квартальный.

– А-а-а... – тянет Ирина и идет на кухню к бабушке.

Бабушка сидит у плиты и крутит свою старую прялку. Ирина устраивается на стульчике рядом. Мерно вращается веретено. Мелькают спицы. Мягко постукивает педаль. Из-под пальцев бабушки тянется тонкая пряжа, наматывается на шпиндель. Пахнет овечьей шерстью, пылью, машинным маслом.

– Расскажи что-нибудь, Ринья, – просит бабушка.

И Ирина подробно пересказывает все рассказы и сказки, которые я ей читал в последние дни. Потом приносит бабин альбом и подолгу разглядывает фотографии.

– Баба, а как эту девочку зовут? Я все забываю.

– Фрида, – отвечает бабушка, взглядывая поверх очков.

– Фридка, значит, – решает Ирина

– Не Фридка, – поправляет бабушка, – а Фрида.

– Хм-м... Фрида – Фридка. Какая разница? Буквы-то одинаковые. Вот сама слушай: фри-фри. Одна буква.

Бабушка молчит, соображает.

– Почему одна буква? Фрида – слышится «д». Фридка – слышится «к».

– Ну да! – усмехается внучка. – «Де», «ка»... Слушай: Фри-да, Фри-дка. Одна буква – Фри.

Бабушка опять думает. Нет вроде бы такой буквы – фри. Впрочем, если внучка настаивает... Кто знает, нынче ведь все такие умные...

Молчат. Каждая остается при своем мнении.

Я пишу в своей комнате. Краешком уха прислушиваюсь к разговору на кухне. И вновь посещает меня тревога. Вот закончу работу и опять уеду из дому, из аула. И кто знает, когда еще приеду. И уеду не один. Я должен забрать Ирину. Таков строгий наказ ее мамы. Я еще не говорил об этом ни Рине, ни бабушке. Никак не решусь. Даже не представляю, как я это им скажу. Опустеет дом без

этого милого человечка. Одиноко, скучно будет бабушке и дедушке.

– Спокойной ночи! – говорит всем Ирина и уходит в спальню. Бабушка укрывает ее одеялом, говорит-приборматывает что-то ласковое, нежное. Внучка быстро засыпает.

Бабушка ставит прялку на место, за шкафом, проверяет печки: прогорел ли уголь. Потом отрывает листок календаря, вздыхает. Еще один день прожит. И опять не было писем. Разлетелись дочки кто куда. И редко шлют приветы. Горе с этими детьми: носит их по свету.

А дедушка все пишет, чертит, заполняет какие-то бланки. Голова его клонится все ниже, ниже. Глаза смыкаются. Рука выводит лишь первые буквы слов, а дальше тянутся затейливые хвосты, непонятные каракули. Тогда он резко встает. Хватает дремлющую в углу Мурку, выносит ее в сарай, плотно закрывает двери и тоже идет спать.

Все замирает. Только часы без устали тикают да шуршит электрический счетчик.

Перед сном иду на улицу. Небо словно остекленело. Тускло мерцают редкие звезды. Круто изогнулись рога месяца. Кажется, к морозу. Снег взжикивает под ногами.

Дважды моргает лампочка в окне. Значит, через минуту-другую умолкнет и совхозный движок, и все погрузится во мрак.

Уже в темноте я стелю постель. Сон не идет. Который день я думаю о том, что завтра непременно напишу Иришкиной маме. Может, удастся мне убедить ее, что слишком хрупкая вещь – счастье. Особенно, если оно касается не одного тебя. Ну, что ей стоит оставить дочь хотя бы до лета, или до весны в ауле, в большом уютном дедовском доме. А там может, еще все уладится, образуется...

Декабрь, 1964

СВЕТ КНИГИ

В мою жизнь книга вошла робко. Я только-только научился складывать буквы в немецкие и русские слова, как разразилась война, и наша семья переехала в маленький казахский аул на берегу Ишима. Книг, соответствующих моему возрасту и потребностям, не оказалось. Медицинские справочники отца не возбуждали во мне интереса к чтению. Между тем надвигалась пора учиться,

а мой запас казахских слов был явно недостаточен, чтобы пойти в местную школу (русская же находилась в двадцати пяти километрах), и тогда, спасая мои ликбезовские познания, отец заставлял меня ежевечерне при подслеповатой лампе-семилинейке читать вслух «Краткий курс ВКП(б)». Выгода от этого, как я понял позже, была двойная: я учился бегло читать, отец же повышал свой идейно-политический уровень.

Потом я выменял на бабки учебник немецкого языка для пятого класса; в кузнице старика Жайлаубая нашел книгу «Удар и защита» — о видах оружия с древнейших времен; приятель Аскер подарил потрепанный том Джамбула, напечатанный латинским шрифтом; отец где-то раздобыл дивную книжку «Синопа — маленький индеец», которую я вскоре зачитал до дыр.

Так я подружился с книгой. И свет ее манил, будоражил.

Конец сороковых годов был для меня периодом запойного чтения. Читал все, что было доступно в послевоенном ауле. Главным образом, на казахском языке. Учительница русского языка и литературы, Мария Петровна Егорова, светлой души и незаурядного образования человек, привила мне, наивному аульному подростку, навыки систематического, осмысленного серьезного чтения. Оно стало потребностью, а книга незаметно, исподволь формировала неокрепшую душу, внося в мои хаотические представления и ощущения смысл и лад.

Думаю, писатель обязан задавать себе вопрос: «Для чего он пишет? Что он хочет?» Этот же вопрос вправе задавать ему читатель. Если писатель пишет просто так, ради самого письма или для удовлетворения мелкого тщеславия, то это и нелепо, и горько. Читателя не обманешь: он тоже начинает читать просто так, для времяпровождения, от скуки. Ведь хорошие писатели, как говорил А. П. Чехов, «куда-то идут и вас зовут туда же, и вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель, как у тени отца Гамлета, которая недаром приходила и тревожила воображение».

Увы, в потоке книг, выпускаемых нашими издательствами, многие никуда не зовут, не ведут, не волнуют, не тревожат воображение. Листаешь иную новинку и недоумеваешь, ни мысли, ни любви, ни боли. Для чего написано? Разве лишь для того, чтобы множить леность ума, небрежение, равнодушие.

Досадно...

Каждый писатель и пишет-то в конечном счете по мере разумения и способности ради одной-единственной цели: умножить добро, человечность, искренность, близость, душевность и тепло людских сердец. Ради той же цели, надо полагать, и книги читаются. Чтобы приобщиться к добру и умножить добро. Настроить душу на светлый лад. Проникнуться сочувствием к человеческим тревогам и болям.

Все взаимосвязано.

Чтение — труд. Об этом мало говорят. А ведь неблагодарное дело — писать и читать для забавы. В угоду сомнительной простоте, пресловутой доступности и занимательности мы часто, сами того не ведая, насаждаем легкое, поверхностное, машинальное чтение. И читатель, похоже, привыкает к этому. Проглатывает все с непостижимой легкостью. И мы упоенно рассуждаем об огромных тиражах и поем дифирамбы в адрес всеядного читателя. А что хорошего?

Подлинная литература должна ориентироваться на индивидуальность, на личность. Иначе всуе говорить о развитии. Ч. Айтматов заметил, что круг его читателей сужается. Однако это не дает повода для тревоги. Действительно, ранние его повести количественно пользовались большим успехом, чем, скажем, «Пегий пес, бегущий краем моря» или «И дольше века длится день», Но значит ли это, что Ч. Айтматов стал писать хуже? Отнюдь! Он стал писать по-другому: сложнее, глубже, глобальнее, если можно так выразиться. И читатель, которого называют широким, просто-напросто не успевает расти за ним, дорасти до него.

Не стоит обольщаться массовым потреблением литературы. Вопрос ведь в том — какой литературы. Серость тоже бывает разномастной, а массовый читатель — слишком разный. Социологи еще не изучили, какой он, что читает, как читает, для чего читает. А надо бы...

Банальность.

Не все благополучно в писательском деле. Заметна усталость от длинных речей и скучных книг.

Не все благополучно в издательском деле. Нет заслона перед потоком, давно именуемым мутным.

Может, в идеале эти проблемы неразрешимы? Не знаю. Но стремиться к их разрешению, очевидно, надо.

Трудно написать хорошую книгу. Непросто ее издать. Но ее еще нужно сделать достоянием читателя. О ней нуж-

но говорить. Умело и честно. Помня при этом лапидарную формулу И. Бехера: «Меньше – значит больше».

Свет книги. Свет добра и мудрости. Он негасим. Он вечно облагораживает душу. Не дает черстветь сердцу.

Этот свет надо любить. Им нужно дорожить.

1981

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Живя в гостинице «Россия», и не пройтись по Красной площади – грешно. Я много раз бывал на ней, но никогда – один, всегда в компаниях – больших или малых. Да еще в вечной спешке.

А тут подвернулась такая возможность: и времени достаточно (это в Москве-то!), и вечер предзакатный, вся площадь залита умиротворенным солнцем, и ветерок бодрящий, весенний веет, и купола Василия Блаженного играют всеми красками, и перезвон кремлевских курантов так чисто и далеко разносится в промытой недавним дождем благоговейной, торжественной тишине.

Народу много, но толкотни нет. Пронеслась озабоченная стайка учащихся. Щелкает фотоаппаратами группа иностранных туристов в немыслимых куртках и в обтерханных джинсах. Несколько солдатиков-новобранцев фотографируются на память. Глазеют по сторонам дородные бабы периферийного обличья, помятые в очередях, обвешанные сумками, баулами, авоськами. Слышится причудливо-разноязычная речь.

Возле мавзолея кружит более солидный, степенный люд. Внимательно вглядываются в серые и черные мраморные бюсты, выстроившиеся чинным рядком за вечным обиталищем вождя. Переговариваются. Обмениваются суждениями. Комментируют.

– Господи! А этот-то... крайний... кто? Вроде знакомый, а не признаю.

– Так Суслов же!

– Какой Суслов?

– Как «какой»? Забыл, что ли?.. Идеолог...

– Да?! Ишь ты... Рядом со Сталиным устроился.

– За какие, спрашивается, заслуги!? Могли бы выделить местечко отдельно, рядом с Брежневым.

– А этому и вовсе не здесь место.

Легкий, поджарый мужчина в шерстяной шапочке брез-

гливо отвернулся. Другой – толстый, в старомодном плаще и шляпе – недобро покосился на него.

– Не вам решать, кому какое место отводить!

Поджарый стушевался, прошел мимо. Кто-то ядовито хмыкнул:

– Могли бы схоронить и на Малой земле. В самый раз!

– Жирно будет! – резким, скрипучим голосом тотчас отозвался ветеран, опиравшийся на толстую суковатую палку.

Краснорожая, большущая, как медведица, баба в окружении невзрачно одетых, помятых мужиков ни с того ни с сего распалилась:

– А мы Сталина в обиду не дадим! Пусть хоть что с нами сделают. Пусть хоть что о нем говорят и пишут. Все они хороши!

– Тише, тише ты! Народ слушает...

– Ну и что! Пусть слушает. Народ за Сталина! Был и есть! Он всех нас в люди вывел!

– А памятник, смотри, невидный ему поставили. Серый, маленький... И голова какая-то крохотная. Меньше, чем у Калинина и Ворошилова.

– Зато у Брежнева вон какая голова! Котел!..

– А Дзержинский вроде как смущенный, поникший стоит...

– Сникнешь тут в такой компании...

– А, может, совесть грызет?

– Кого? Железного Феликса?!

– Да-а... хорошая компашка Ленина стережет.

– Все, между прочим, ленинцы. Все шли ленинским курсом.

– И дошли... Довели страну...

– Да, до ручки. Дальше некуда.

Рослый парняга, весь распахнутый, лохматый, в длинном небрежно обмотанном вокруг шеи шарфе, заполошенно, невпопад спросил.

– А этого... как его... Берию-то не видать, что ли?

На него вскинулись, уставились со всех сторон.

– Какой Берия? Берию захотел! Его ведь расстреляли.

– Ну и что? – недоуменно откликнулся парняга в непомерно длинном шарфе. – Ведь где-то захоронили его.

– Ну так не обязательно у Кремля!

– А где? Он ведь Сталину верный соратник был!

– Чудак! Болтает что попало...

— Берии еще здесь только не хватает!

Ходит, кружится толпа по Красной площади. Чистый, переливчатый звон резко сыпанул с кремлевской башни. Солнце скатилось за громадное здание «России». Толпа на площади понемногу редеет.

В уголочке у Мавзолея, тяжело опираясь на палку, одиноко стоит ветеран. Он смотрит поверх зубчатой кремлевской стены и шевелит старческими лиловыми губами. Баба-медведица в сопровождении трех неказистых молчаливых мужичков продолжала громко возмущаться:

— Это издевательство — Сталина рядом с каким-то Сусловым! Мы этого не потерпим! Мы Сталина любили и будем любить!

— Ну и на здоровье. Кто тебе мешает? — бросил кто-то насмешливо на ходу.

— Будем!! — рыкнула ему вдогонку баба.

Благообразная старушка, ведя за руки двух внуков-подростков, торжественно приговаривала:

— Все видели? Смотрите внимательно. И запомните: вот она наша святыня! Вот она, наша Красная площадь! Гордая и неповторимая, живая история наша!..

Я медленно побрел в гостиницу.

1989

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

«Ну, что я могу? — заканючил он привычно. — Я ведь человек маленький».

Так он говорил каждый раз при встрече и — я заметил — с каким-то даже удовольствием. Не говорит, а будто мурлычет, выпевает жалобно-любовно. «Я маленький... ма-а-аленький человек. Разве от меня что зависит?!»

Гляжу, на него сбоку. Хм-м... никакой он вроде не маленький. Наоборот, росл, упитан, гладок, руки-ноги на месте, одет, обут — все, как полагается.

«Что вы, что вы?! — говорит он. Не говорит — шелестит, шуршит, точно палый лист под ногами. — Что я могу? Нет, нет... увольте. Мое дело — хе, хе, извините, — сопеть себе в две дырочки да позорче оглядываться по сторонам. Особенно на перекрестках. Тут, знаете, всякое случается...»

Видно, ему немножко неловко от моего молчания. Маленький человек любит, чтобы его пожалели, чтобы ему посочувствовали, хотя бы прониклись его маленьким

положением. И поэтому он говорит-шелестит, шелестит-шуршит:

— Ну-у... вы скажете тоже «бороться». Я жить хочу... понимаете... жить, просто, тихо. Пусть другие борются. А я, прошу прощения, не борец. Я всего лишь маленький человек. От меня ничего требовать нельзя. Сказано: знай, сверчок, свой шесток.

Маленький человек, я тебя знаю!

Ах, как хорошо, как удобно, как выгодно во все времена, во всех случаях жизни быть маленьким человеком! Отсиживайся в сторонке, не выступай, не высовывайся, не говори ни «да», ни «нет», бормочи что-нибудь невнятное себе под нос.

Пусть другие, разные зубры, киты, львы, или как их там, сталкиваются, сшибаются, в кровь бьются, наслаждаются, надрываются, пусть, на то они и большие, сильные, видные, а я маленький, мое дело — сторона, не мешайте мне копошиться в моем закуточке, да озираться по сторонам, да уши держать торчком и нос по ветру, да трусить — трусь-трусь — по пыльной дорожке бытия, не сбиваясь на обочину.

Нам, маленьким, нельзя сбиваться, невозможно ошибаться, это все — привилегия больших. Наше дело — не зевать, доли своей не упускать, крепко помнить свои права, твердо усвоить мудрость, заповеданную предками: Кобчик в руке лучше сокола в небе; чем курица завтра, лучше яйцо сегодня; чем издалека возить арбой, лучше с близи натаскать торбой. Главное — устроиться поудобней, поуютней да потеплее. Ешь и пей — повкусней да спи побольше, и не смущай душу свою чьей-то маетой, чьим-то смятением, какое тебе дело до чьих-то тревог, не стремись ни к чему, ведь ты человек маленький, всего лишь песчинка в мироздании. Тебе о здоровье своем следует позаботиться, о семейном благополучии, о детках, о супруге, о потомках — ой-ой-ой, сколько у тебя забот, сколько хлопот в этой жизни ложится на твои слабые плечи.

Так к чему тебе еще разные проблемы, их ведь большие и сильные выдумали, им-то ведь больше всех надо, ну и пусть, пусть тешат свое непомерное тщеславие, свое самолюбие, честолюбие, свое большое «Я», пусть мучаются и терзаются, решая какие-то там глобальные задачи, пусть хоть переглобалятся, а ты — несчастный, малюсенький, твоя хата с краю.

«Я маленький! Я маленький!» — твердит себе маленький человек упоенно.

«Маленький» – для маленького человека как большая награда.

«Маленький» – его жизненное кредо.

«Маленький» – его позиция.

«Маленький» – его совесть, его честь, его любовь, его ненависть.

Маленький человек очень любит свое большое здоровье. И сильно печется о своих нервах и клетках. Он постоянно помнит об этом. О своем сердце и давлении. И ему хочется, чтобы все вокруг только и делали, что щадили его нервы и клетки и помнили о всех его прыщиках. Ведь маленький человек любит большой покой.

Общественные дела и проблемы? Боже упаси! Зачем все это маленькому человеку? Пусть уж этим занимаются большие, им ведь до всего есть дело, а маленький человек, что он может, что от него зависит, нет уж увольте, он тут ни при чем...

Маленький человек обычно большой скептик. Почти всем на свете он недоволен. Все вокруг делается не так, все происходит неправильно, и он это, конечно же, видит, как же, как же, он такой глазастый, такой приметливый, только он делает вид, что не видит и не слышит и никогда громко, во весь голос говорить о том, что видит и слышит, решительно, принципиально не желает, зачем, он ведь маленький, кто его услышит, кто ему внемлет?..

Ах, хорошо маленькому человеку! Придумали тоже: жизнь – борьба. Черта с два! Жизнь – благодать! Сплошные удобства! Надо только уметь устроиться на этом свете. Маленький человек это умеет. Ни за что он не отвечает, у маленького человека ведь и обязанности маленькие-маленькие, и ни за что душа не болит, разве что чуть-чуть иногда, самую малость.

Не трогайте его, дайте ему бедному маленькому человеку, спокойно жить, тихо, в тепле и сытости, в своей квартире, со всеми удобствами, как же, он ведь человек, хоть и маленький, гражданин, член общества, права его оговорены и зафиксированы, но, ради бога, больше от него ничего не желайте и не требуйте и даже не просите. Он же маленький. Пусть уж большие все делают, за все отвечают, пусть себе волнуются, нервы жгут, головы ломают, им все это как-то сподручней. На то они и большие. А он, ах... Такой маленький, маленький этот маленький человек. Собой умиляется, сам себя жалеет...

Только не жаль его, нет, не жаль!

Так и хочется взять его за шиворот, встряхнуть хорошенько, повернуть лицом к большой жизни, швырнуть в самый ее водоворот, крикнуть: «Хватит! Не юли! Не изворачивайся! Не забивайся в угол! Не скули! Скажи громко и честно, кого и что любишь, кого и что ненавидишь. Не цепляйся за чужой подол! Не прячься за чужую спину! Не дрожи из-за своей мышиной корысти. Смейся громко! Пой во весь голос! Гляди прямо. Не выкручивайся! Сбрось с себя удобную шкуру маленького человека. Сколько же можно быть маленьким?!»

Оглянись вокруг! Посмотри вдаль!

Страна наша во-он какая огромная. Время крутое. Цели высокие. Планы великие. Ну, не стыдно, не совестно ли быть маленьким?! А жизнь такая короткая. Разве пристало в ней жить раком-отшельником?

Встрепенись, маленький человек!

Дерзай!

Будь большим!

1986

ВИЗИТ «ФОФКИ-ШАЛЁБАЯ»
С натуры

Он неожиданно вырос на пороге во всем своем заморском блеске. Яркая косынка на шее, просторная синяя рубашонка со львом на груди, белые широченные брюки, белые носочки; на плече — блескучая, точно лакированная, видеокамера. И назвал он меня «герром», а не по имени-отчеству, как бывало прежде.

Приглянулся: ба! Да это же Володя Дюнпфиф из Талгара! Только облысел заметно, помят малость, несмотря на иностранную упаковку. Да и на лице нечто неистребимо русско-немецкое, некая печать крестьянского происхождения, которую никакая иностранщина не в силах смыть с обличья исконного руссланддойча.

— Боже! Володя, что ли? — вырвалось у меня.

Он осклабился:

— Ви битте?

— Ах, ду, либер хайланд!.. Он уже и по-русски плохо понимает...

Я знавал его многие годы. Помню его бабушку Амалию, которая, бывало, изумлялась проделкам егозливого внука и восклицала по всякому поводу: «Ай-яй-яй, мой Фофка-шалёбай».

Так и прозвали Володю Дюнпфифа по всей округе стар и млад: «Фофка-шалёбай», не всегда догадываясь, что последнее слово означает просто-напросто «шалопай» в транскрипции доброй старой немки-волжанки.

Из шалопая вырос, впрочем, вполне приличный парняга-бенгель. Где-то даже учился, что-то закончил, швейные машинки ремонтировал, телевизоры чинил, в разных приборах ковырялся, женился разок-другой, да все как-то нескладно.

Случалось, ко мне заглядывал, подолгу говорил о бестолковости жизни, о неодолимом смутном зове этнической крови, мрачно заключал свои излияния: «Их кан нет...»

А однажды заявил на своем фантастическом каудервельш:

– Мир туут шон аллес надоест... Польше кан их нет...

И – исчез. Как в воду канул.

И вот – нарисовался.

– Фуй!.. Как вы здесь живете? Душно, нечем дышать на улице, шум, дрек... Ней, ней... Их кан нет!

– Так ты, Володя, в Германии, что ли?

– Ну да! Не видно разве?

– Давно?

– Три года.

– Надо же! И благополучно устроился?

– Все о'кей! Квартира есть, работа есть. Ноу проблем!..

– С «нашими» встречаешься?

– Ах, гот... Ней, ней... Это же колхозники все. Я сразу там понял: от них подальше держаться надо. Пьют, дерутся, сквернословят, друг друга «мишками», «машками», «кольками» обзывают – стыд! Руссише менталитет! Я к ним ни-ни! Иначе никогда тебе немцем не быть!

– С кем же общаешься?

– А ни с кем. Работаю, отдыхаю. Квартиру обставил. Все о'кей!

– Женился?

– Зачем? Есть подруга.

Помолчали. Слава Богу, кстати позвонили, отвлекли.

– А как вы тут? Все ха-ха-ха... за автономию боретесь?

– Да так себе...

– Немцы в Алма-Ате еще остались?

– Не Алма-Ата, а Алматы.

– Алматы?! Ха-ха-ха!.. «Алматы»!

– Еще осталось немного.

– Фуй, фуй! Как все плохо здесь. Я даже не представ-

лял себе такое. Машин меньше, чем у нас, а шума больше. И краски блеклые, грубые. И люди все серые, тусклые, злые. А цены – майн готт! Никак привыкнуть не могу. Фуй, фуй... в подъезде – дрек. У нас там такого нет. Я здесь четвертый день, а уже не могу. Их кан нет! Ней, ней...

– А приехал-то зачем?

– Ви битте?

– Зачем приехал?

– Ай, хотел было в Бельгию или Голландию, да старики замучили: «Приезжай да приезжай». Ну, и приехал.

– Так, выходит, родители здесь?

– Ну, йа, дох... Куда им – по восемьдесят лет. Я им дал тысячу марок. Пускай в Талгаре век доживают.

– Ясно. Пойдем, Володя, чаем угощу, сальцем, колбасой.

– Ней, ней... Я ведь чаї уже три года не пью. Только соки. Сало в рот не беру – вредно. А колбасу здешнюю разве можно есть? Я там ем круглый год бананы, ананасы, клубнику. А курочку пять минут в духовке обжаришь – пальчики оближешь. Здесь мать кормит меня черт знает чем... Уже поперек горла стоит ее картошка с салом...

– Да-а... А я, Володя, признаться, бананы от ананасов не отличаю. Другое дело – казы, карта, шужук, баур, куйрук.

– Ха-ха-ха!.. Зо вас кан их нет. Ней, ней...

– Ну, хорошо, Володя... а как, по-твоему, быть тутошним немцам?

– Ай, не знаю. Там, скажу вам, они не нужны. Зачем им трактористы, шоферы, доярки? Германия не для всех! Йя, йя, не для всех! Нашим колхозникам или, как там говорят, колхозбауэр, и сто лет не хватит, чтобы стать немцами. Сидят бабы в платках, в нашей одежде, будто их только из Сибири вывезли. Языка не знают, бродят толпами, только друг с другом общаются. Дас зинд йа аллес аусгештербене дойче! Другой мир!

– Так как же быть?

– А никак! Сиди, где сидишь. Стань сначала человеком.

Что-то скучно стало. Разговор не пошел. Володя засобирался в путь, походить по городу, поснимать кое-какие картинки, чтобы потом там, с подругой, всласть посмеяться.

– Фуй, фуй... как грязно в вашем лифте. У нас там

цветы стоят, запахи струятся. А тут, аллес дрек, аллес — шайс... Ней, ней... Их кан нет...

Он напялил на лысую макушку кепочку с длинным козырьком, закинул за плечо блескучую видеокамеру и пошел восвояси, всем видом высказывая неприязнь к скудному, серому окружению.

Прощай, «Фофка-шалёбай» из Талгара. Леб воль в прекрасном Дойчланде.

1993

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

В черный четверг 28 августа 1941 года был обнародован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья». Российские немцы были огульно обвинены в пособничестве германскому фашизму и подвергнуты тотальной насильственной депортации.

23 года и один день спустя тот же Президиум Верховного Совета СССР отменил этот Указ: дескать, «жизнь показала, что эти огульные обвинения были неосновательными и являлись проявлением произвола в условиях культа личности Сталина».

Указ от 28 августа 1941 года фактически приговорил целый народ к медленной мучительной смерти.

Указ от 29.08.64 признал то, что и так было ясно с самого начала, и лишь «великодушно» предоставил шанс для продления агонии этноса.

В указах в России никогда недостатка не было. Но большинство забывалось на второй же день. Неизгладимый след в истории оставляли лишь разрушительные — подобные атомной бомбе — указы. Они запоминаются и в седьмом поколении, как джунгарское нашествие в истории казахов.

Ныне российские немцы отмечают в 52-й раз ту скорбную дату. «Отмечают» — конечно, не то слово. Точнее было бы сказать — «умирают». Умирают в 52-й раз.

Я родом из поволжских немцев. Мне шел седьмой год, когда нас насильственно выселили из родных мест и развеяли по просторам Сибири и Казахстана. Трагедия репрессированного народа прошла на моих глазах. Мне не надо объяснять, что такое геноцид.

Насильственно оманкуртизированный народ, понятно, плохо помнит свою родословную. Многие из россий-

ских немцев не то что далеких предков, родителей толком не знают. У них отняли не только родину («малую» – в 1941 году, большую – ровно полвека спустя), но и язык, нравы и обычаи, национальный менталитет, даже национальность и фамилию. Знаю немало немцев, записанных русскими, казахами, украинцами, чувашами, турками и т. д. Фридрих сплошь и рядом становился Федей, Дитрих – Дмитрием, Эммануэль – Васей, Вильгельм – тоже Васей, Гейнц – Геннадием. Даже на фронте с фашистами сражались под вымышленными фамилиями: Э. Э. Зейдель – С. Иваненко, П. Шмидт – Али Ахмедов, Г. Рихтер – Смирнов, Герой Советского Союза Вольдемар Карлович Венцель – Владимир Кириллович Венцов и т. д. Случай эти описаны в литературе. А эмигрирующие ныне в Германию российские немцы с превеликими мытарствами восстанавливают свою национальную идентичность. И в связи с этим люди испытывают потребность – насколько это возможно – разобраться в своей родословной.

Лет двадцать пять назад я вычертил родословное дерево по отцовской и материнской линиям, но особенно углубляться встарь не стал, ибо уже о моем прадеде Генрихе Бельгере имею весьма скудные сведения. Зато сохранился билет стражника-рядового Фридриха Генриховича Бельгера, выданный ему почти сто лет назад, из которого явствует, что он, мой дедушка, родился 6 июля 1861 года. Уцелел и его «Послужной лист», подписанный новоузеньским уездным воинским начальником.

Начал я свою родословную с моих дедушек – Фридриха Бельгера и Давида Гертера. У каждого из них было по семеро детей. От них пошли потомки уже в шестом-седьмом поколениях. Они живут едва ли не во всех республиках экссссР и в Германии. Разнообразны и фамилии этих потомков – Михель, Кексель, Вальтер, Риффель, Герцен, Сорокины, Размазины, Кирильчиковы, Скобликовы, Ефременковы, Тимченковы, Васильевы, Карапетяны и т. д. И национальностей намешано-перемешано в самых диковинных сочетаниях. Так что пресловутая пятая графа для потомков линии Бельгера – Гертер весьма и весьма условна. Внучки моего отца по документам – немка, украинка, русская, армянка (если считать по отцу). В венах моей дочери течет немецкая, татарская, украинская, мордовская кровь. А муж ее русский, и внук мой пишется русским. Я знаю одну немку, три дочери которой разной национальности. Недавно они взяли фамилию матери, переоформились немками и отправились в

«фатерлянд». Отсюда вывод: важно, не кем ты записан, а кем ты себя чувствуешь.

Много скорбных листиков на моем родословном дереве. В годы войны, в так называемой трудармии, которая для российских немцев была тем же ГУЛАГом, погибло на лесоповале, за колючей проволокой, в шахтах, на стройках, в каменных карьерах более двадцати моих родственников. Я знаю, где, когда и как они погибли. И это только близкие мои родственники – двоюродные братья, сестры, дядья.

Вот несколько примеров из этого мартиролога:

– зимой 1942 года на лесоповале за Уралом погиб Вольдемар Бельгер, 20 лет;

– ровно через год там же погиб дядя Фридрих Бельгер, 45 лет;

– подорвав здоровье в трудармии, умерла в молодом возрасте двоюродная сестра Вера Бельгер;

– в 1943 году погиб в трудармии брат отца Вильгельм Бельгер;

– в 1944 году в трудармии в возрасте 26 лет погиб его сын, мой двоюродный брат Вильгельм;

– в 1942 году в трудармии в возрасте 25 лет погиб брат мамы – дядя Отто;

– в трудармии погиб муж моей тети Альмы – Даниэль Зельцер;

– погиб муж моей тети Маргариты – Иоханн Унгефуг;

– в возрасте 25 лет погиб в трудармии мой двоюродный брат, сын дяди Генриха – Фриц Бельгер;

– в 1942 году под Ленинградом погиб другой сын дяди Генриха – Александр;

– подорвал здоровье в трудармии и умер мой двоюродный брат Иоханнес Бельгер (прах его покоится в Молдове);

– подорвал здоровье в трудармии и умер двоюродный брат Фридрих Бельгер (похоронен во Владимирской области);

– подорвал здоровье в трудармии и умер Генрих Генрихович Бельгер (герой моей повести «Там, в долине»), похоронен под Ташкентом;

– подорвал здоровье в трудармии, лишился обеих ног и умер Вилли Бельгер (похоронен в Шымкентской области);

– безнадежно больным вернулся из трудармии и умер в Барнауле дядя Генрих Гертер;

– умер по дороге домой из трудармии списанный как «доходяга» дядя Христиан Бельгер, 32 лет...

Судьбы около двухсот человек зафиксированы в моей родословной. В совокупности они отражают судьбу моего народа, чьи национальные проблемы не решаются и поныне.

Мы по-прежнему разобщены, развеяны повсюду. Я – гражданин Казахстана. Мои родители, сестры – граждане Узбекистана. Дочь и внук – граждане России. Одна племянница – гражданка Молдовы, несколько племянников – граждане Германии. И это тоже типично для российских немцев. Такова цена насильственной депортации, которая неминуема ведет к манкуртизации.

В последние годы в немецких газетах часто публикуются расстрельные списки. Несколько тысяч немцев России расстреляны под Одессой. Десятки тысяч – в Алтайском крае. Тысячи и тысячи – под Москвой, под Петербургом.

Но это все лишь верхний слой жертв тоталитарной системы. Я иногда думаю: собрать бы списки убиенных, умученных от непосильной работы, от голода, от нечеловеческого обращения, от изощренных измывательств, умерших десятков, сотен тысяч российских немцев. Завести анкету – с указанием имени, фамилии, откуда родом, при каких обстоятельствах умер, убит, умерщвлен. Сделать это так, как в Иерусалиме, – воздвигнуть Мемориал катастрофы и героизма европейского еврейства времен второй мировой войны. Мемориал этот расположен на горе Памяти, в западной части Святого города. И я где-то читал, что за 37 лет собрано около двух миллионов листов. А сколько таких жертв в каждой немецкой семье! Я бы мог перечислить всех лишь по линии Бельгер – Гертер. И это могут сделать живущие ныне дети, внуки, потомки немцев-трудармейцев.

Нельзя забывать и о детях, отлученных от матерей, которых тоже гнали в трудармию, в ГУЛАГ. Сколько из этих детей-сирот сгинуло в скитаниях, скольких спасли казахи, кыргызы, узбеки, скольких переименовали на русский, казахский лад, сколько их было в лагерях, детдомах, сколько их потом десятилетиями разыскивали по всей стране, сколько судеб изуродовано! И об этом следует помнить. И о том необходимо знать.

В Аргентине издали книгу из двух томов по 400 страниц каждый, в которой перечислены все аргентинцы, аре-

стованные, подвергнутые пыткам, убитые, пропавшие без вести за годы диктатуры. Свыше 30 тысяч имен.

«Кто бы, – подумал я,– издал книгу о замученных в трудармии российских немцах? Ведь там, наверняка, было бы не 30, а 300 тысяч имен».

Это нужно вовсе не для того, чтобы еще раз разоблачить кровавый сталинский режим, не для проклятий палачам, а для того, чтобы сберечь память, чтобы люди знали правду. А то ведь на сатанинскую Ложь искусно работала и работает огромная машина лицемеров и изуверов, и в своем иезуитском деле они изрядно преуспели и преуспевают.

Я вырос в казахском ауле. Окончил казахскую школу. У казахов принято знать своих предков минимум до седьмого колена. К сожалению, и не по нашей вине, мы похвалиться этим не можем. Но и манкуртами мы не должны стать. Назло всем тиранам и черным указам, подобно Указу от 28 августа 1941 года.

1993

«Я ВЫШЕЛ НА ПАЛУБУ, А ПАЛУБЫ – ЙОК...»

В конце августа 1993 года в Алматы прилетел из Санкт-Петербурга выдающийся русский поэт Михаил Дудин. Пожаловал он в наш город по приглашению Абдижамила Нурпеисова с целью переводить стихи Абая. Жили Михаил Александрович и Ирина Николаевна Дудины в санатории «Алматы» – дивный уголок на окраине столицы. Были предусмотрены все условия для успешной творческой работы.

Еще при встрече в аэропорту Михаил Александрович высказал желание иметь «Путь Абая» Ауэзова и Коран. Он искал пути-подходы к творчеству Абая, хотя уже успел по моим подстрочникам перевести девять его стихотворений.

Он был поразительно общительным, открытым человеком. За короткое время успел обзавестись многими друзьями в Алматы.

И я его наведывал не однажды, привозил ему новые подстрочники Абая, его философские миниатюры в разных переводах.

Сентябрь в том году был удивительно солнечным и синеглазым. В призрачном воздухе зыбились благостно-

задумчивые горы. Казалось, до них рукой подать, но были они далеки и недоступны. Вокруг санатория буйствовал осенний букет листьев. В колкой тишине мы бродили часами по маршруту номер три. Михаил Александрович, помахивал тростью, читал стихи, рассказывал о русских философах, американских прозаиках, говорил умно, вдохновенно, ярко, а я больше слушал, внимал ему, любовался им, невольно вспоминая строку Олжаса: «Поэт красивым должен быть, как Бог». Он был полон обаяния, поэт Михаил Дудин: мудр, интеллигентен, артистичен, мил.

Таким он запомнился мне и на Празднике переводческого искусства в Армении в начале ноября 1982 года, где я сподобился видеть его впервые рядом, близко в течение недели. Помню, как взволнованно и трепетно читал он пронзительно печальные стихи на заоблачном перевале, на том самом священном месте, где по дороге в Эрзерум великий Пушкин встретил гроб с телом своего погибшего друга и тезки – Александра Сергеевича Грибоедова. Не думал я тогда, что одиннадцать лет спустя на тропе к Абаю судьба уготовит мне такую встречу вновь.

Блистательный поэт, опытный признанный переводчик Михаил Александрович, однако, осторожно, робко, очень вдумчиво и серьезно приступил к переводу Абая. Вновь и вновь вчитывался в прежние, давние русские переводы и в мои подстрочники, перечитал «Книгу слов», «Путь Абая» («Умная, достойная книга!»), Коран, исторические повести Абиша Кекилбаева (о «Хатынгольской балладе»: «Это произведение, в котором умная мысль нашла свою форму изложения».), съездил на родину Абая, посетил его музеи, поклонился могиле вблизи Чингисских гор, руководствуясь мудрым заветом Гёте: «Кто хочет познать Поэта, да отправится в страну Поэта».

Во время наших прогулок Михаил Александрович особенно тепло говорил о Сергее Орлове и Кайсыне Кулиеве. Горячо рекомендовал мне прочесть поэму Кулиева «Половецкая луна». Но сначала, по мнению Дудина, необходимо прочесть «Слово о полку Игореве» непременно в переводе Игоря Шкляровского. Если «Слово» – взгляд из России в Орду, то поэма Кулиева – взгляд из Орды в Россию.

Имел он обыкновение на прогулке читать стихи – свои и чужие, по поводу и без. Особенно часто читал он эпиграммы и разные потешные, едкие, соленые штучки из «Грешных рифм».

Расторглась жизнь, распались времена,
Предатели сменили имена.
И предали, и продали народ,
И получили злато наперед.

– Что верно, то верно,– подавал я иногда голос.
Дудин читал:

О близком благоденствии страны
Болтают лихо верные сыны.
И от стараний этих болтунов
Мы можем оказаться без штанов.

...Все громче раздается болтовня
Над горьким горем завтрашнего дня.

Или:

Давно одна напасть
Для всех определилась:
Идет война за власть,
А не за справедливость.

Говорили о невеселом положении в России и Казахстане, о превратностях, вселяющих тревогу, и Дудин тотчас резюмировал:

Святая правда есть.
Но что с нее возьмешь?
Власть – любит лесть,
А лесть рождает ложь.

И нас с тобой
Опутало вранье.
И над земной судьбой
Кружится воронье.

К этой теме – «воронье, кружащееся над земной судьбой»,– он возвращался вновь и вновь.

Обиду ест обида,
И ложь рождает ложь.
И маленькая гнида
В потенциале – вошь.

Беседы наши текли обычно вольно, вразброс. Перескакивали на разные темы. Непритязательно, импульсивно. Говорили об американской литературе. Дудину больше всех нравились Эдгар По и Томас Вульф. Говорили о философе Федоре Степуне. И любой разговор обильно

перемежался стихами — серьезными, шуточными, солдатскими, скабрезными. Вспоминал Михаил Александрович своих друзей-наставников — Н. Тихонова, П. Антоколь-ского. Я поинтересовался, сколько примерно вышло его книг. Подумав, он сказал, что вместе с переводными, пожалуй, около ста пятидесяти. А первая вышла еще в 1939 году в Иваново. «Книжка была слабая, — заметил Михаил Александрович, — но там были две крепкие строчки. Я их выболтал, сам не знаю как». И он их процитировал:

А Родина больна такой болезнью,
Которую не вылечить врачам.

Помню, за многочасовые прогулки вокруг санатория он читал великолепные строки о «лакеях-люциферах», что-то из рукописи «Дорогой крови по дороге к Богу», несколько стихотворений Ивана Бунина (одно из них он посоветовал мне выучить наизусть), бессметное количество озорных частушек («Мы гуляли, окна били, вышибали косяки. Неужели нас посадят за такие пустяки?» и что-то из солдатского фольклора («И хрен стоял у старшины, как без бензина студебеккер»... Это пелось на мотив песни «Ревела буря, гром гремел». И, повторив эту строку, М. А. восторженно спрашивал: «Скажите, Герольд, разве такой народ можно победить?!»). После одной из таких прогулок он подарил мне выструганную им трость. Позже я узнал, что он раздаривал их великое множество.

Особенно часто он повторял-выпевал тоненьким тягучим голосом на мотив известной песни одну шутливую строчку: «Я вышел на палубу, а палубы — йок...» Объяснил мне, что эта строчка — своеобразный пароль его друзей — Кайсына Кулиева, Мустая Карима, Давида Кугультинова. Что-то комическое и одновременно пронзительно-трагическое чудилось им в этой строке. Действительно, эти люди, прожившие схожую жизнь, вынесшие общую судьбу, вышли однажды на палубу, а палубы-то и нет... Нечто подобное, видимо, испытывают многие мыслящие, чуткие сердцем и душой люди на исходе жизни...

При застолье, когда разливали по рюмкам коньяк, М. А. как бы невзначай проборматывал двустишье из своих «Грешных рифм»:

Родившегося говнюком
Нельзя исправить коньяком —

чем вызывал каждый раз у важных персон легкое замешательство, так как они почему-то воспринимали эту сентенцию в свой адрес.

Собираясь на прогулку, он неизменно выпевал:

Мы пойдем с тобой гулять,
Ельничком, березнячком.
Научу я поднимать
Юбочку с передничком.

Над переводами Абая он продолжал работать и в Петербурге, присылал милые письма. «Если Вы сделаете еще пять-шесть подстрочников и вышлете мне, я буду очень признателен...».

«Посылаю Вам на сей раз десять Абаев, поговорите с ним, с Абаем, десять раз по-русски. Охоту с беркутом я перевел по-своему, своевольничал, по-другому у меня просто-напросто не получилось. Жду от Вас еще четырепять подстрочников и среди них непременно «Тулпара не обгонит конь простой». Не знаю, что у меня произойдет с этим бараном, но пробовать его хочется».

«Хожу по Ленинграду в семипалатинском полушубке. Тепло».

Каждое письмо заканчивал своим любимым словечком: «Будьте!» На конверте нередко рисовал свой профиль. У меня сохранился еще его дружеский шарж на Расула Гамзатова.

Был он легок, изящен, бодр. Был склонен к шутке. Говорил женщинам комплименты, иногда рискованные. Одаривал их дорогими конфетами.

Закончив перевод тридцати трех стихотворений Абая, намеревался написать еще предисловие к его русскому изданию. Говорил: «Мне даже снится это предисловие». Писал: «Авось, к Новому году все и закончу».

Не суждено было.

Недолго болел Михаил Александрович. А в первый день Нового – 1994 года – скончался. 5 января на рассвете мы с Абдижамилем Нурпеисовым через Москву прибыли в Петербург. Было пасмурно, морозно, отчаянно гололедно. Панихида проходила в Доме дружбы. Народу собралось много. Прекрасные, открытые, одухотворенные лица. Я узнал Д. Гранина, Ю. Рытхеу, М. Аникушина, М. Борисову. Ирина Николаевна, заметив нас, подошла, обняла, воскликнула: «Ой, ребята! Теперь мне ничего не страшно!».

Звучали высокие прощальные речи, играл струнный квартет. Выступил от имени казахстанцев Абе (Абдижамил). Потом в Книжной лавке состоялся поминальный обед. Собравшиеся тепло вспоминали Михаила Александровича, его жизнь, поступки, манеры, шутки-остроты, человеческие и гражданские достоинства. Вспомнились и мне наши встречи, беседы, прогулки вокруг санатория «Алматы». И я с горечью повторил про себя шуточную строчку: «Я вышел на палубу, а палубы – йок...»

27.12.1996

КАПУСТИН ЯР

Ах, сколько слов было изведено, сколько бумаги исписано было нами, наивными «деятелями немецкого движения», в конце 80-х и начале 90-х годов! Казалось, еще одно усилие, еще один съезд, еще одна яркая акция, еще одна встреча на самом Олимпе власти и давняя вожделенная цель достигнута: будет-таки восстановлена преступно поверженная Автономия российских немцев на Волге, облагороженной, окультуренной, щедро политой потом и кровью предками нашими. И восстановленная Автономия станет окончательной реабилитацией оболганного и униженного народа!

Ветер надежды кружил наши головы.

Уже мерещились возрожденные школы, институты, печать, родной язык, культура, своеобразная ментальность многомиллионного народа, развеянного державной волей по всем закоулкам несуразно огромной Империи.

Не тут-то было!

Отшумели наши съезды в Белокаменной.

Заболтали «немецкий вопрос» ушлые господа в трепливых кремлевских кабинетах.

Канули в Лету либеральные поползновения Горбачева.

Рухнула железобетонная – казалось – Империя.

Осталась последняя надежда – Россия. Да, да, думалось, Россия, наша мать, она, только она, историческая обитель, приголубит, ободрит, утешит. Ведь сколько поколений «русских» немцев положили свои жизни ради вящей славы и могущества земли Российской!

Но России, оказалось, не до своих немцев. В одночасье забыла все-все немецкое – многовековое, добротное, старательное, законопослушное, трудолюбивое, весь мно-

гогранный Deutschtum, пустивший на российских просторах глубокие корни, переплетавшийся неразрывными человеческими судьбами.

– ...Никакой автономии... не-е... буу-де-е-ет! – отрубил однажды на весь мир крутой российский Президент, состроив на лице ужасную гримасу презрения и брезгливости. – Пусть осваивают Капустин Яр! А Германия пускай им помогает...

Так рухнула поруганная надежда. Немцы в России оказались пасынками.

Все. Тупик.

Неуемные дон-кихоты судорожно уцепились было за последнюю соломинку с поэтическим названием «Капустин Яр». Выехали на это место делегацией, дабы убедиться: можно ли на ней, на этой земле, возродить немецкую автономию. Один из членов делегации, твердокаменный автономист, сказывают, даже лопатой поковырял малость: интересно, можно ли на территории гипотетической немецкой автономии хотя бы картофель сажать?

Между тем насторожились братья-казахи. Это что же получается?! На этом месте предки-кочевники искони пасли овец! Теперь ни за что ни про что отдавать немцам?! Мы им столько добра делали, приютили, подкормили, а они на наши земли зарятся?! Несправедливо! Тем более никакой это не Капустин Яр, а казахский Капияр...

Бедные казахи!

Бедные немцы!

Откуда им было знать, что здесь было произведено одиннадцать ядерных взрывов в атмосфере. Первый заряд мощностью 10 килотонн был взорван в атмосфере 19 января 1957 года на высоте 10,4 км, последующие взрывы зарядов мощностью до 40 килотонн производились в высоких слоях атмосферы – от 50 до 300 км. А еще раньше, в феврале 1956 года, с полигона стартовала ракета с ядерной боеголовкой, которая была взорвана севернее города Аральска.

По сведениям средств массовой информации России, над полигоном также было запущено и взорвано 24 тысячи зенитно-управляемых ракет. Здесь испытывалось 177 видов вооружений и боевой техники.

По размерам причиненного людям и живой природе ущерба Азгир и Капустин Яр в совокупности значительно превосходят известный Семипалатинский полигон.

Об этом я недавно вычитал в интервью моего друга –

писателя и сенатора – Энгельса Габбасова («Казахстанская правда», 11.12.96.).

А потом прочитал в той же газете днем позже: «В этом году потери казахстанских хлеборобов из-за действий полигона Капустин Яр и космодрома Байконур, вызвавших засушливые явления в западных и северо-западных регионах республики, составили 3,5–4 млн тонн зерна».

Еще несколько лет назад обо всем этом не знали, не ведали ни немцы, ни казахи, ни русские. А если и знали, то весьма смутно, приблизительно...

Но ведь руководство России знало! Мохнорылая военщина знала! Президент знал!

Еще как знал! Знал, что земля эта мертва. Сотни раз убита. Отравлена на тысячу лет вперед. Для жизни абсолютно непригодна.

Потому и произнес с гримасой, с ухмылкой: «Пусть осваивают. А Германия им поможет...»

Вот что хотел «подсунуть» – и то с оговорками! – российский Президент своим согражданам за верность и радение. На тебе, Боже, что нам негоже!..

Ай, ай, ай, как не стыдно! «Фуй, фуй!» – подумали немцы. Поистине нет предела политическому цинизму. Бездонна черная неблагодарность...

И теперь политические пустомели разводят руками: «Почему российские немцы уезжают? Сколько рабочих рук теряем, ах-ах... Видно, плохие патриоты...»

Ах, ты, Господи!.. Либер Хайланд!..

16.12.1996

В ПОИСКАХ ПРЕДКОВ

Кто и откуда мои предки? В какой туманной дали истории зыбятся мои корни?..

Редко какой сознательный человек не задумывается об этом. Кому охота быть «иваном, не помнящим родства»?

Белой завистью завидую моему другу Шот-Аману Уалихану (Шоте Валиханову): он посреди ночи без запинки перечислит своих славных предков аж до двадцать третьего колена! Его отец – Ыдырыс, дед – Абильмакыжан, прадед – Чингис, прапрадед – Уали, прапрапрадед – Абылай-хан... и все далее-далее в глубь фантастических времен до самого «потрясателя Вселенной» Чингисхана. Ка-

ково?! Но знаменитому нашему современнику Шоте Уалиханову проще. Он ведь чингизид, «белая кость». О его генеалогии во всех подробностях позаботилась вся мировая история.

Ну, а если твои предки не были ханами, беками, биями, батырами, столбовыми дворянами? Не всякий смерд помнит даже своего дедушку. Какой спрос с представителя репрессированных народов, истолченных в гигантской ступе тоталитаризма? У советских людей не было принято копаться в родословной. Нищебродское, бишаринское происхождение считалось достоинством. Самым надежным «элементом» для «нового» общества являлся воспитанник детского дома, круглый сирота.

Еще будучи спецпереселенцем, «отмечаясь» регулярно в спецкомендатуре, я не однажды всерьез задумался: откуда мой род появился на Волге? Неужели при Екатерине Великой? Или позже? Существуют ли источники, в которых отыскался бы хоть какой-то след?

Четкого ответа у меня нет до сих пор, а версии, конечно имеются. Расскажу про один полузабытый случай.

В 1988 году мы, группа казахстанцев – философы, историки, литераторы, обществоведы, – летели в Париж. Оставалось полчаса лету, пассажиры затихли, каждый задумался о своем. И у меня сердце забилось в предощущении смутной радости. Что-то возвышенное, сладостно-мечтательное таится в дивных словах – Париж, Франция.

– Ну, вот тебе и Париж! – слышу сквозь думу раздосадованный голос.

– Что такое?

– Объявили же: в Париже туман. Посадка в Брюсселе.

– Надолго?

– Кто знает...

Я рассмеялся. Дело в том, что в иностранном паспорте моя фамилия обрела несколько иную огласовку – Бельгюер, и мне объяснили, что без этого спасительного «ю» я могу превратиться и вовсе в некоего Бельжера. Я вспомнил неясность этимологии моей фамилии. Специалист по ономастике доктор Борис Брайнин (он же Зепп Эстеррайхер) как-то предложил версию, по которой мои предки, должно быть, выходцы из старинного западногерманского городка Белг. По другой версии, моя фамилия изначально имела форму Бельгиер, то есть, выходец из Бельгии, бельгиец. Бог весть! Более двухсот лет назад в Россию хлынули тол-

пы европейцев – немцы, голландцы, швейцарцы, датчане, итальянцы, французы, которые обосновались на Волге колониями, все стали именоваться немцами. Так что спорить трудно.

Обо всем этом – так уж пришлось к слову – я и поведал своим спутникам и высказал просто так, шутки ради, предположение, что если это действительно соответствует истине, то мы наверняка завернем в Бельгию, ибо – по казахскому поверью – «жер тартады», то есть, родная земля непременно «тянет», притягивает человека.

– Верно, – согласились мои спутники. – Коли ты бельгиец по происхождению, Бельгии нам не миновать.

Пошутили, посмеялись и на том конец. И вдруг – на тебе! – нежданно-негаданно мы делаем вынужденную посадку в Брюсселе в трехстах (всего-то!) километрах от Парижа.

– Вот вам и «жер тартады»! Айналайын, наш казах в таких случаях не ошибался!

– Сюрприз!

– Знак судьбы!

– Зов предков! – радостно загалдели товарищи.

Потом я узнал, что были кельтские племена – БЕЛГИ. В энциклопедиях вычитал, что обитали они в Северной Галлии и на побережье Британии. Белги Галлии были покорены римлянами в середине I века. Была еще римская провинция Белгика (в Северной Галлии), которую в 5 веке новой эры завоевали франки.

Так, может, мои предки – белги? Именно о том, возможно, так прозаично свидетельствует этимология моей фамилии?

Одно мне известно: Бельгеры среди российских немцев встречаются крайне редко.

16.11.1997

«ДОЛЖНО БЫТЬ, БЕЛЬГЕРОВ В ТАШКЕНТЕ НЕМАЛО...»

После завтрака мы с отцом заспешили в центр Ташкента.

– Кани, кани, келинг,– по-узбекски поторапливал меня отец.

– Хазир, хазир, ота, Карл-бобо, – в лад ему ответил я.

Есть в Ташкенте такое шумное, бойкое местечко, именуемое «Сквером». Там, рядом с парком, находится парт-

ком Хамзинского района, в котором отец возглавляет комиссию ветеранов.

Дел, насколько я помню в этой комиссии не так уж и много, но отец относится к своим обязанностям с большой ответственностью. Иногда мне кажется, что вся работа ветеранской комиссии всецело зависит от моего отца. Ну а я уже несколько дней слоняюсь по ташкентским музеям.

Ташкент – уникальный город. Древность и современность в нем причудливо переплелись и притягивают взор. Только ходи и любуйся.

У «Сквера» мы вышли из раздрызганного, скрипучего автобуса-коробки, простились и разошлись по разным дорогам.

В обед, спасаясь от немилосердной жары и духоты, походил по прохладному, уютному парку. И тут неожиданно столкнулся с отцом. Обтирая рот носовым платком, он выходил из углового, крохотного кафе.

Увидев меня, обрадовался.

– В этом кафе подают дивные манты. Да и чай хорош, – сообщил мне отец.

– Хм-м... А дела свои закончил?

– Lieber Gott, разве дела закончишь? Спешу!

– Ладно. Я тогда загляну еще в исторический музей поблизости.

Расстались.

Вечером, на исходе рабочего дня, я подался к стоянке пятого автобуса. Народу – что льдин в половодье. Автобуса все нет и нет. А солнце по-прежнему яростно печет. Но ташкентцы, кажется, его и не замечают. Галдят, как на базаре. И на всех наречьях. Русские, узбеки, татары, корейцы, уйгуры, дунгане, армяне, бухарские евреи, китайцы. Боже, кого только нет! В глазах рябит, в ушах звенит.

– Herold! Ich bin da! Герольд, я здесь, – слышу знакомый голос.

Смотрю: легкий, поджарый, порывистый мой отец, Карл-бобо, ловко пробивается ко мне сквозь разноголосую толпу. Мы радостно улыбаемся друг другу, будто давно не виделись. Знаю: теперь отец одним из первых проникнет в автобус, затащит и меня и даже место займет.

На все той же раздрызганной, пыльной развалюхе-коробочке в тесноте и давке, потные, помятые, измочаленные, еле-еле добрались до Шумиловского городка. Отсюда до нашей махалли рукой подать.

– Hör mal! Слушай! – говорит по дороге отец. – Должно быть, Бельгеров в Ташкенте немало...

– Как это?

– Видишь ли, в один день я сам встретил аж трех Бельгеров. Одного утром на остановке, другого в обед в парке, а третьего – вечером в нашей махалле. Поразительно!

– Да, да, – поддержал я отца. – И я за один лишь день столкнулся с тремя стариками-немцами. Самое удивительное – все трое Бельгеры.

– Майн Готт! Выходит, за один день мы встретили шестерых Бельгеров?! Сколько же их в этом городе?! Вундербар!

И мы оба от души расхохотались.

В КРУГОВЕРТИ

Пухлый, пестрый, испещренный диковинными марками и наклейками иностранный конверт я долго вертел в руках. Незнакомый почерк. Незнакомый адрес. Незнакомая фамилия. Венесуэла. Каракас. Унгефуг. Кто это может быть?

У меня есть знакомые в кое-каких европейских странах, с которыми изредка переписываюсь. Но у кого из Латинской Америки до меня может быть дело?

Алессандро Унгефуг? Имя звучит по-испански. Фамилия немецкая. Вроде даже знакомая.

Письмо написано на литературном немецком языке. Но в текст там-сям вплетены близкие мне словечки и выражения поволжских немцев. Выяснилось, что в руки автора письма из неведомого Каракаса, столицы да-а-лёё-ко-ой Венесуэлы, каким-то образом попала издающаяся в нашей Алматы на немецком языке газета «Дойче Альгемайне Цайтунг». Рассеянно просматривая ее, взгляд его споткнулся вдруг на стоящей под статьей фамилии Бельгер. Интересно: что за Бельгер? Откуда?

Вспомнилось: еще в довоенное время в Автономной Республике немцев Поволжья, в Гнаденфлюрском кантоне, в селении Мангейм проживали какие-то Бельгеры. Может, этот, в газете, их потомок? Оказывается, писатель, да еще депутат. Любопытно... Взволнованный пенсионер из Каракаса Алессандро Унгефуг немедленно пишет в Алматы в немецкую газету письмо-запрос. Так-то и так, уважаемый герр Бельгер, если вы являетесь выходцем из поволжского села Мангейм, то очень прошу, дайте о себе знать.

Я тотчас ответил. Да, сам-то я родился в городе Энгельсе Саратовской области, но мои родители – уроженцы села Мангейм. До войны я там бывал не однажды. Я сын знакомых вам Карла Бельгера и Анны Гертер.

Боже, как обрадовался моему письму Унгефуг из Каракаса! Выяснилось, что он знает многих из моих родственников. Его призвали на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию еще в 1940 году. Служил он на Украине, где и застала его война с фашистской Германией. Вскоре очутился в плену. Фашисты не стали разбираться, кто он – русский или фольксдойче. Отправили в концлагерь. Потом он батрачил у одного немца-богача, который называл его не иначе как «руссише швайн». Каких только унижений и оскорблений не вынес! Никаких вестей от родных и близких, понятно, не имел. Более того, о том, что Автономную Республику немцев Поволжья распустили, а немцев депортировали в Сибирь и Казахстан, что родной дом разрушен дотла, Унгефуг узнал впервые несколько лет спустя уже после войны. Неведомо было, остался ли кто в живых из многочисленной семьи Унгефугов.

Так и мыкался на чужбине хуже собаки, пока не освободили его из плена американцы. Советских военнопленных тут же отправили на родину, а там они как изменники оказались в сталинском концлагере.

– Ты кто? – спросил его американский следователь.

– Унгефуг.

– Немец, что ли?

– Да, – ответил Унгефуг, не уточняя, что он немец поволжский.

– А где родился?

– В Мангейме.

Чистая правда: в Мангейме. Но в каком? В одном только Советском Союзе Мангеймов было четыре: на Волге, под Одессой, на Кавказе и на Украине. Но откуда о том было знать американскому следователю? Он знал лишь о городе Мангейме в Германии.

– А-а... Выходит, ты местный немец?

Унгефуг непроизвольно мотнул головой. Это был судьбоносный миг.

– О'кей! – сказал американец. – Иди! Ты свободен!

Таким образом, волжанин Унгефуг избежал советского концлагеря и остался в разрушенной Германии. Да и где теперь его родная сторонушка? Казахстан и Сибирь он знал лишь понаслышке, даже представить их себе не

мог. А вот что депортированным соплеменникам в Советском Союзе живется не совсем сладко, представлял себе ясно. О родных он по-прежнему не имел никаких вестей.

Чем только не занимался бедный Унгефуг ради выживания?! Работал садовником, сторожем, строителем, пекарем, стрелочником, грузчиком, продавцом, официантом. Каких только мытарств не испытал! Все горести бездомного бродяги, лишенного всего на свете, сполна изведал. Наяву перебивался с хлеба на воду, надрывал тело и душу, а во сне, случалось, видел родной Мангейм, Волгу, братьев и сестер, пребывая в неизбывной тоске и унынии.

С отчаяния подался в соседнюю Голландию — не прижился. Мотался по Канаде — и там не встретил счастья-удачи. Жизнь тех лет — отравленные горем и беспросветной нуждой страницы. Без слез и вспомнить невозможно. Что долго рассказывать? По прихоти судьбы очутился однажды в Венесуэле. И там мытарился изрядно. Наконец, на какой-то фабрике подыскал себе работу. Женился на местной. И изъяснялись поначалу с трудом: она тараторила по-испански, он бормотал по-немецки. Пошли дети. Со временем свыкся со скудной, но шумной жизнью Каракаса.

Но тихое, милое сердцу немецкое село Мангейм на Волге не выходило из памяти. Ему было невдомек, что оно уже давно превратилось в русское село Советское. Не ведал он и о том, что его исконные жители развеяны по всем закоулкам необъятной Российской империи и смешались с русскими, узбеками, казахами, башкирами, чалдонами. Ни о каких национальных катаклизмах на территории Советского Союза гражданин Венесуэлы Унгефуг и представления не имел. И вдруг — надо же! — полвека спустя всплыла перед его глазами столь знакомая фамилия Бельгер.

Унгефуг лишился днем покоя, ночью — сна. В письме ко мне он просил меня разыскать родных: вдруг хоть кто уцелел в лихолетье и обитает ныне в Казахстане. Я полистал старый отцовский альбом и — о, диво! — нашел поблекшую фотографию матери Унгефуга. Получив ее, венесуэльский пенсионер, разменявший восьмой десяток, разрыдался как ребенок. Потом по моей просьбе мой отец написал бывшему односельчанину обстоятельное письмо обо всем, что он знал о многочисленной родне Унгефуг. Пользуясь своими тогдашними депутатскими полномочиями, я довольно быстро обнаружил в нашем Павлодаре

родную сестру Унгефуга. Выяснилось, что все остальные его братья и сестры погибли в годы войны кто в ссылках, кто в Сибири, кто в Казахстане, кто в Каракалпакии, кто в трудармии. У уцелевших брата и сестры была одна мечта – встретиться, свидеться. Но как? Старая, измученная болезнями Мария из Павлодара не в состоянии была добраться до брата Саши в Каракасе на краю земли. На скудной своей пенсии еле-еле сводила концы с концами с мужем-инвалидом. И престарелый, слепнущий брат не осмелился отправиться в вояж в неведомый Казахстан.

Что делать? Как быть?

Я встретился с тогдашним германским послом в Казахстане господином Бракло, поведал ему все, и он высказал мнение, что встречу брата с сестрой можно, пожалуй, организовать на территории Германии. Так будет удобно обоим. Унгефуги воспряли духом. Началась активная переписка и между ними, и с разными общественными организациями. На это ушло немало времени. Между тем Мария Унгефуг похоронила мужа и перебралась с детьми и внуками в этнический «фатерланд». А господин Бракло – надо же было так случиться! – был переведен послом Германии в Венесуэлу. Теперь появилась возможность организовать деловую встречу Унгефуга с послом, который был в курсе всех дел.

Алессандро Унгефуг продолжал писать мне письма, называл меня «дорогим братом», «земляком», «уважаемым господином», «благодетелем». Раз или два я получал от него небольшие, аккуратно упакованные посылки-пакеты с карандашами, ручками, стиральными резинками, линейками, кассетами, блокнотиками, расческами, баночками кофе и плитками шоколада. О Казахстане он по-прежнему ничего не знал, полагал, что он находится где-то возле Афганистана и Пакистана, а по Алматы бредут верблюды и ишаки. Он искренне считал, что в Казахстане голод и мор, бесконечные стычки и разборки, женщины ходят в паранджа, а мужчины отпускают дремучие бороды до пупа. Что тут скажешь? Такое вот представление.

И вдруг наша переписка оборвалась.

А год спустя получил весточку от его сына Робертино. Письмо было написано на плохом немецком. Сын сообщал, что состояние отца ухудшилось, что хворает, совсем ослеп и беспомощен. Ни о каком дальнем пути и речи нет. К тому же жуткая инфляция «съела» все его накопления. Пенсии едва хватает на житье-бытье. Все грустит-

печалится, вспоминает родное село Мангейм на Волге. И вас, господин Бельгер, часто вспоминает. Убивается: остались ли на белом свете мангеймовцы, кроме нас двоих?

Бедный, бедный земляк мой Унгефуг!

Действительно, редко кто в этом мире вспоминает ныне исчезнувшее с лица земли поволжское село Мангейм. Да, совсем-совсем немногие. Да и из них трое-четверо проживают теперь в Германии, один-двое в Канаде, мой отец в Ташкенте, да я в Алматы. И, пожалуй, все.

Все ушло, растаяло в дымке прошлого, кануло бесследно в Лету – и далекие безмятежные дни, и тяжкие будни, и призрачные надежды, и многолюдное немецкое село на Волге Мангейм, и даже память о нем.

Видно не зря говорят казахи: голова человека – мяч Аллаха. Судьба играет человеком. И в сущности, каждая человеческая жизнь на земле – трагедия. Назови ее как хочешь – роком, судьбой, фатумом, лживым, обманчивым миром, жребием-талоном – все равно.

Мало ли на свете одиноких, неприкаянных горемык, лишившихся по злой воле родины и в горестях и муках коротающих свой куцый век?

2000

ИМПУЛЬСЫ

Что, есть и такой жанр? А почему бы нет? Многие пишут подобные миниатюры, и один называет их «мгновениями», второй – «камешками на ладони», третий – «крохотками», четвертый – «уединенное», пятый – «травой-муравой», шестой – «всякой-всячиной», седьмой – «ни дня без строчки». Да мало ли как? Все это осколки бытия, вспышка, мимолетное, зарисовки, мысли, блики, запечатленные мимоходом, между прочим. У меня это – импульсы. А импульс – согласно Словарю русского языка – внутреннее побуждение, толчок, вызывающий совершение какого-либо действия.

Вот и все. Добавлю только слова Хемингуэя: «Вымысел не существует. Все, что мы пишем, почерпнуто из пережитого нами, или мы наблюдаем, как это пережили другие».

Автор

ГРУСТНО...

В последнее время я как-то по-новому открыл для себя Heine. Каждая его строка, каждое слово, даже усмешка между

строками находят отклик в душе, заставляют сжиматься сердце. Раньше он на меня так не действовал. Какой это больной, измученный, израненный поэт! Ночами, когда я остаюсь с самим собой, когда мне одиноко и тоскливо, я невольно тянусь к нему, чувствую неодолимое желание читать его непременно вслух и непременно по-немецки. Именно в оригинале он задевает сокровенные душевные струны. В такие минуты я ощущаю жуткую тоску по всему немецкому, все привычное, обыденное, повседневное отодвигается от меня, с души точно сваливаются некие заскорузлые пласты, и я готов без конца шептать в ночной тиши:

Denk ich an Deutschland in der Nacht,
Dann bin ich um den Schlaf gebracht,
Ich kann nicht mehr die Augen schliessen,
Und meine heissen Tränen fliessen.

Сердце замирает, горло захлестывает при строках:

Nun sage mir, was hat dich fort
Aus deiner Heimat getrieben?

Нет ответа. И я даже не знаю, кому я говорю, кому вымаливаю эти болью отравленные слова:

Oh, geben Sie, Sire, dem deutschen Volk
Zurück seine Menschenrechte!

Ну, конечно, читая и повторяя без конца эти слова про себя, я не о неведомой Deutschland думаю, а о — Rublanddeutsche, о том униженном, растоптанном, развеянном, убитом народе, к которому имею честь принадлежать. Меня с детства, как щенка, с головой окунули во все казахское и русское, я годами, десятилетиями слышу только казахскую и русскую речь, я весь пропитан казахским и русским, но грущу, тоскую, плачу по-немецки. И выть — я знаю — буду только по-немецки. Но это еще впереди

Тоска, печаль моя немецкая...

Das küste mich auf deutsch und sprach auf deutsch
(Man glaubt es kaum,
Wie gut es klang) das Wort: ich liebe dich!
Es war ein Traum.

О, да.. то был лишь сон. И останется сном. И никто никогда... никогда... никогда не сказал мне этих сокро-

венных слов по-немецки. И я их никому не говорил. Я их произносил на других языках. Так и живу с душой в иноязычном облачении.

Но кому до этого есть дело? Никому это не понятно. Да и не расскажешь о том никому...

Это знает лишь Хайнрих Хайне. Это знаю я. Это знает глухая осенняя ночь.

1966

«ПРОПЛЯСАЛ, ПРОПЛАКАЛ ДОЖЬ ВЕСЕННИЙ...»

Дочь, Иринушка, в шестилетнем возрасте вдруг увлеклась Есениным. Первое знакомство через «Мурзилку». Там три стихотворения. Ирина прочла их раз двадцать. А потом сказала:

– Хорошо пишет Есенин. Как-то печально...

Я ей кое-что рассказал, а потом прочел стихотворение «Голубая кофта. Синие глаза». Оно ее поразило. Выучила наизусть. И все эти дни твердит:

Милая спросила: «Крутит ли метель?
Затопить ли печку, постелить постель...»

А еще через несколько дней попросила дать ей томик Есенина.

Она прочла «Шагане» и все удивлялась: как складно – «Шагане» и «при луне».

А строка: «Проплясал, проплакал дождь весенний» вызвала бурю восторга. Ирина упоенно начала мне объяснять, как пляшет дождик по асфальту и почему он плачет. А потом она нашла «Голубую кофту» и уличила меня в неточности. Оказывается, не «затопить ли печку...», а «затопить бы...»

Хожу, удивляюсь: в шесть лет такая увлеченность Есениным... Что же я читал в шесть лет?

А ничего... Меня в этом возрасте депортировали из Энгельса в глухой аул на берегу Ишима.

1966

И БЫЛА ВОЙНА...

Детьми мы были. И была война
Великая
с несправедливостью великой.

Теперь историки, политики
Уж столько лет ее
усердно объясняют,
Разжевывают, что к чему.
Правительства издают указы,
Запоздало отменяя прежние.
Все правильно. Ведь все течет, меняется.
Но нам от этого ничуть не легче.
Война – в крови.
И крови – обида,
Не вытравить ее, не заглушить
Ни водкой, ни любовью,
ни жирным куском, ни одержимостью,
ни тоскою пустоглазой...
Проходят годы.
В нас отмирают клетки,
Врачи, бывает, кровь переливают,
А война все в нас,
В крови – обида,
Не разгладится зарубка
на зачерствевшем сердце
До самой той
Роковой черты.

1974

«ВПЕРЕД, САНЧО! ТАМ ПЛАЧУТ»

Сколько ума, мудрости, благородства, чистоты в Дон Кихоте! Как возвышенно, вдохновенно он говорит! И как он одинок! Трагическая фигура. Какая глубина в простом его зове: «Вперед, Санчо! Там плачут». Очень немногие могут так сказать.

«Главное – не забиваться трусливо в угол...» – говорит он льву. Вообще эта сцена со львом и у «гроба» светской дамы потрясает.

Подумалось: каждый хороший, талантливый человек немного Дон Кихот. А среда, мир, толпа глухи к думам, мукам, дерзаниям и терзаниям Дон Кихотов. Они несчастные люди. Они вечно не устроены в этом мире. Однако лучшие качества толпы сохраняются благодаря Дон Кихотам. Они облагораживают, очищают, душевно обогащают толпу. Нет, Дон Кихот не смешон. При чем тут рыцарские романы, критика, осуждение рыцарства, то, другое?

Дон Кихот — гениальная фигура. Благородная личность. Он выше благонамеренных людишек, благоразумных обывателей, чище, честней, добрее их. Это мелкие, бездушные людишки над ним смеются, ибо не доросли они до него и не могут сказать, как он: «Вперед, Санчо! Там плачут».

У Дон Кихота есть вера, неколебимая вера в справедливость. И в этом его сила. Он не безумен, не болен. Это он живет среди безумных и больных.

1974

«ТАНГЕЙЗЕР»

Конечно, субъективно, но что-то нечеловеческое, сатанинское слышится мне в увертюре к «Тангейзеру». Жуть! Оторопь берет! Смятение. Хаос. Нечто невыразимо фанатичное. Мне почему-то мерещится широкое, древнее поле, усеянное трупами. Страшное было побоище. Грандиозная сеча. Тотальная гибель. И тут вдруг возникает весь израненный, но дьявольски гордый Дух. Шатаясь, он бредет по трупам — отчужденный и величественный, — идет вперед, вперед, к Солнцу. Оно фантасмагорично выкатывается из-за горизонта. Оно вечно. Оно сильнее смерти. Над землей торжествует Свет. Мрак отступает. Но есть что-то зловещее в этом торжестве. Страшно, неспокойно на земле. По ней идет-бредет Победитель. Он одинок. И куда идет? Зачем? Позади усеянное трупами, обильно политое кровью поле. А он, Дух-Победитель, гордый одиночка, продолжает упорное шествие к Солнцу. Он непобедим! Жутко...

1967

НОЧЬ

Горы застыли в мрачном величии.
Арык болтливый бормочет в тиши.
Струится лениво ветер. Луна,
желтоглазо косясь на сонный мир,
всплывает над ущельем.
Я — один на балконе —
перетряхиваю тощую торбу души.
«Ну что, голубчик, многого добился?
Родился... учился... женился...

Уйму книг одолел. Ну и что?
Воз бумаги извел. Ну и что?
Кого-то перетолмачил,
Что-то там нашкрябал...
И это все?
В этом все твое назначение?..»
Прости меня, мама, за все твои муки-тревоги.
Горько мне, горько. Поверь...
У луны расплылись губища.
Ветер нашептывает цинично:
«П-пошел бы ты спать, милейший,
Мир вполне хорош и без тебя».
Э-хе-хе...
Он прав, конечно, шалапут...

1975

ОНА УСМЕХНУЛАСЬ

— Дипломы получим, начнем работать — заживем, — сказал молодой муж.

Жена его пылко поцеловала.

— Дочку в сад устроим, квартиру получим — заживем, — сказал муж.

Она ему радостно улыбнулась

— Квартиру обставим, дачу купим, дочку в институт устроим — заживем, — сказал супруг.

Она одобрительно кивнула.

— Еще год-два, выйдем на пенсию — заживем, — сказал спутник жизни, потирая лысину.

Она усмехнулась.

1975

УМЕРЕННОСТЬ

Он жил умеренно,
Ел-пил умеренно,
Любил умеренно,
Умеренно умер...
Умеренность благодетельна,
Умеренность здравомысленна,
В меру — ветрена,
В меру — искренна,
Неродихи-скуки сестра
Неплодотворна она.

1975

БАТЮШКА

Старое ташкентское кладбище. Жарко. Душно. Под огромным шатром идет отпевание. Заворожил всех колоритный молодой батюшка – чернявый, холеный, опрятный. Модная стрижка, ухоженная испанская бородка, строгий, пронзительный взгляд, величественные жесты, сочный, с гнусавинкой, баритон. Картинно размахивая кадилом, строго указывает перстом, одним взглядом укрощает колыхающуюся вокруг толпу. Мимоходом бесцеремонно прицыкнул на загоношившуюся рядом, шумливую, бестолковую бабенку: «Кому говорю?! Стене, что ли, говорю?!»

Из-под рясы – которая, кстати, ему очень шла – при ходьбе белели парусиновые штанины, виднелись ноги, обутые в сандалии. Самозабвенно, высоким чистым голосом подпевала ему остроносая, невзрачная, но живоглазая тетка в простенькой кофтчонке, в платке, подвязанном по-старушечьи. Она не только пела сама, точно вступая в такт, но и руководила клиром, успевала вовремя одергивать фальшививших товарок-певуний, следила за толпой, незаметно делала знаки нерадивым.

А батюшка – уверенный, легкий, красивый, вдохновенный – вел службу профессионально, я бы сказал – да простит меня Всеблагий – артистически. Гнусавый баритон его временами взмывал над многоголосым хором, рокоча, снижался, смирялся, угасал; в паузах он смотрел куда-то исподлобья, обходил гробы (их было четыре), не путаясь, называл имена усопших, новопреставленных Ирину, Николая, Петра и одного цыгана, обдувал кадилом, распространяя вокруг густой, сладковатый дух, смиренно застывал перед божьей матерью и снова пел, слегка окая, цепко следя за разношерстной толпой, хором и покойниками.

Когда клир выводил щемящий душу напев, батюшка назидательно говорил толпившимся у гробов: «По христианской вере в гроб кладут только живые цветы. Ведь душа живая, вечно живая». И заставил убрать бумажные цветы. У цыган спросил: «Отчего умер покойник?» Те сбивчиво враз заколготали было, как на ярмарке, но батюшка вмиг унял их: «Не пьян был?!» И тотчас обратился к другим, сделал замечание, что руки у покойника должны быть сложены так, а не со скрещенными пальцами.

Отпевал он минут тридцать пять, ничуть не сбиваясь. Потом объяснил, как подобает родственникам в послед-

ний раз прощаться с покойником, дал на прощание две минуты, отошел с хором в сторонку, где снова торжественно-величаво затянул «Со святыми упокой».

Я смотрел на него не отрываясь, восхищался всем, что и как он делал, не упускал ни одного его жеста. Стройный, изящный, глубоко осознавший свое достоинство и некую магическую власть над смертными, он ходил меж гробов неслышным, упругим шагом и вдруг поймал мой взгляд, смерил меня мгновенно, скользнул по белой моей, наполовину расстегнутой сорочке, по увесистому, сучковатому костыльку. Глаза черные, жгучие, с мерцавшими искорками в глубине. Глянул холодно, свысока, как бы придавливая, укрощая, безразлично. Потом пригладил висок, отвернулся, пошел дальше, шурша плотной серебристой рясой с высоким, стоячим воротником. Подумалось: какой он в миру, в быту, дома? Губы красные, сочные, чувственные, лицо сухое, бледно-матовое, тщательно выбритое, волосы блестят, бородка невольно притягивает взор.

— Какой молодой! — воскликнула стоявшая рядом молодка, судорожно комкавшая платок.

— И красивый! — откликнулась другая.

— Грех, голубушка, грех! — тут же урезонила их толстогрудая баба.

Батюшка был в ударе. Он очаровал всех. Про покойников вроде и забыли. Изредка нарушали благостную тишину и порядок цыгане, но батюшка огненным взглядом осаживал их, точно опытный лошадник строптивого неука. Потом, когда родственники, заходя справа, в последний раз простились с усопшими, батюшка еще обошел гробы, подкладывал под покрывалом «церковный паспорт», покропил водой, чем-то помазал, приказал закрыть покойникам лица. Потом принялись заколачивать гробы и под стук молотков снова запел-загнусавил батюшка; высоко взмывал тонюсенький, проникновенно-светлый голосок живоглазой певуньи, ей ловко вторил дребезгливый тенорок толстяка, в такт, слаженно пел клир, и время от времени красиво вплетался в щемящий напев сочный баритон молодого, одухотворенного красавца- батюшки.

Закончилось печально-торжественное отпевание. Толпа притихла. Житейская суета на мгновения утихомирилась. Над старым ташкентским кладбищем простиралось выбеленное июльским зноем небо.

1970

ТЫ УЛЫБНУЛАСЬ

Уж третий день сочились речи,
Как ржавая вода в ватерклозете.
От скуки аж носы позеленели.
И тут мы встретились глазами.
Ты улыбнулась
устало и, быть может, чуть смущенно,
И я улыбнулся.
Казалось, рядом что-то промелькнуло,
Отчего мне стало радостно,
тепло
и немного грустно.

1975

И ЭТО – ЖИЗНЬ?

Ночь наплывает, смывая суету дневную,
Обволакивая облаком сомнений.
Сто тысяч «Что?», «Зачем?» занозами впиваются
в мозг.
«Что?... Зачем?...
Что?... Зачем?» –
часы вторят тупо.
Они, наверное, знают:
не все на свете разрешимо,
не на все вопросы есть ответ...
Крадучись, уползает ночь, волоча свои отрепья,
Любви отрепья...
Дум отрепья...
Надежд отрепья...
И наступает новый день, смывая все сомнения,
захлестывая гулом суеты...
И это – жизнь?

1975

МИТЕНЬКА

Мите только пять, а в тубинституте он уже полгода. У него туберкулез костей, и ему сделали сложную операцию: резекцию тазобедренного сустава. Он весь закован в гипс. Только ручки свободны, да русая головка торчит из гипсовой повязки.

Няни, сестры, жалея мальчишку, носят его, закованного, осторожно на руках. Он тихий, глаза большие, печальные, точно застывшие от боли и недоумения.

Понять окружающий его мир он не может.

Раз в неделю приезжает к нему из области мама. Мальчик смотрит на нее отчужденно, строго и вдруг говорит:

– Я тебя не люблю, мама!

– Почему Митенька?! – Мама бледнеет, по щекам ее катятся градинки слез. Голос ее срывается.

– Потому что ты тоже меня не любишь... – холодно отвечает Митя.

– Митенька ... милый... Сыночек мой... ну, откуда ты взял?! – силится улыбнуться мама.

– Любила бы – у меня бы ножка не болела...

Мама, зажимает судорожно рот, как подбитая, опускается на краешек кровати. Плачут и сестра, и няня. Только Митя строго и отрешенно глядит мимо, в потолок.

1974

НА ОСТАНОВКЕ

На остановке, недалеко от кафе, мальчишка лет пяти с завистью смотрит на сверстника, которому бабушка купила мороженое. Цена, конечно, фантастическая: не каждый родитель раскошелится ныне на такое лакомство.

Мальчик смотрит, смотрит, облизывает губы и спрашивает маму:

– У нас на мороженое совсем денег нет?

– Ты же знаешь, – сдержанно отвечает совсем молоденькая мама. – Нет, конечно.

Мальчик вздыхает, молчит, смотрит на того, кто ест.

– Мама, а на половинку мороженого тоже у нас денег не осталось?

– Нет, не осталось, – мрачнея, отвечает мать.

Мальчик опять молчит. Глаза его становятся влажными и грустными. Потом смотрит на мать. Видит, что и она опечалена. Тогда он говорит, утешая маму:

– Ну, и ладно. Нельзя ведь есть мороженое в общественном месте и на транспорте.

1992

УМ И ХИТРОСТЬ

Будучи по самой природе своей очень добродушными, а нередко и простодушными, казахи имеют порой склонность воображать себя хитрыми, им даже льстит казаться хитрыми. «Ох, и хитрец же я!» — выдается как достоинство. И чудится им, что они в состоянии перехитрить если и не всех, то многих. Между тем их хитрость абсолютно очевидная, прозрачная, беспомощная, а то и бессмысленная, как у ребенка-шалуна. И вся их хитрость способна перехитрить лишь самих себя. Кстати, и немецкая хитрость не далеко ушла. Она даже еще более примитивна.

Вот эта постоянная игра в хитрость — вовсе не безобидная забава. Она тормозит ум. А у ума и хитрости — разные родители. Отец хитрости — коварство. Мать ума — мудрость.

1988

САНКИ

Покойный мой друг, профессор Виктор Герман, рассказывал: были у него в детстве, еще там, на Волге, железные, с сиденьем, санки. Когда немцев выселяли, определили вес поклажи на одного человека — 80 кг. (Я это, кстати, не помню. Видно, в разных местах это было поразному.) Родители, понятно, санок брать не хотели. Однако, пожалели мальчонку, привязали санки к телеге в надежде, что по дороге на станцию они отвяжутся. На счастье маленького Вити, не отвязались. И привез он их благополучно в Кустанайскую область. А в голодный 1944 год он их отдал детям баскармы, председателя колхоза, за мешок овса, и тем самым спас семью от голодной смерти.

1980

ДА И НЕТ

А вот другой его рассказ. В голодном 1921 году его отец, Александр Герман, пятнадцатилетним подростком отправился на поиски работы в Донбасс. По-русски не знал ни слова. А в кармане было у него один рубль 20 копеек. Он так оброс, что ему посоветовали зайти сначала в парикмахерскую. Зашел. Сел в кресло. Услужливый парикмахер что-то спросил, и подросток из немецкой де-

ревни Поволжья произнес единственное слово, которое он знал по-русски: «Да». Постригли. Парикмахер спросил что-то еще, и ответ снова был: «Да». Помыл голову. Еще вопрос, и опять «Да!» Сделали массаж, компресс. Снова парикмахер задал вопрос, и последовало неуклонное: «Да!». Помазали кремом. Следующий вопрос – и ответ: «Да!» Побрызгали одеколоном. Словом, пришлось в парикмахерской оставить все деньги. Зато в следующий раз юноша оказался умней. На первые два вопроса он отвечал: « Да», а на все последующие твердо и решительно: «Нет!» Обогатил язык.

1980

РУССКАЯ ИДЕЯ

О ней много говорят, но что это – толком никто не знает. А, по-моему, это то же самое, что русский снег, русская зима, русский узор, русский простор, русское небо, русское поле, русское мессианство, русский рубль.

1993

НАРОД И НАСЕЛЕНИЕ

Что значит родина?

Место, где у тебя есть прошлое, настоящее и будущее. Жить только настоящим, только в настоящем – значит жить не на родине, жить вне родины.

Собственно, у кого есть родина, тот и народ. Остальные – население.

1993

6000 ИЛИ 5999?

В мире существует шесть тысяч этносов – прочитал я сегодня в «Известиях».

Подумалось: скоро их останется 5999. Российские немцы как этнос на грани исчезновения.

11.12.1991

ПОЕЗД УШЕЛ

Часто снится один и тот же сон. Я должен спешно куда-то ехать. И за мной вот-вот должны прийти. Време-

ни в обрез. Скорей, скорей! Я лихорадочно собираю самое необходимое. Как попало швыряю вещи в чемодан, пихаю в сумку, завязываю в узел. Вокруг тарарам. Все валится из рук. И я не одет. Не успеть, не успеть!

Ошалело выскакиваю из дому. И спохватываюсь: нет билета. А главное: не могу вспомнить, куда ехать. Куда, куда?! Издалека слышен гудок, стучат колеса. Я бегу, бегу, бегу, задыхаюсь, спотыкаюсь и стою, как вкопанный, на месте. И вновь бегу, бегу, обмираю от страха, от неведомого ужаса, от гибельного предчувствия, что пропал, пропал, нет мне спасения, а вокруг — ни одной живой души. В отчаянии, в безумии я исступленно кричу, я исхожу в предсмертном крике, а голоса нет...

Просыпаюсь измученный, опустошенный.

А поезд ушел.

1993

ИЗ ГНЕЗДА

Мы выпали из истории, как желторотый птенец из гнезда. Кто сгинул, кто уцелел, выжил, а гнезда родного нет. К чужому гнезду не прилепишься. А пристроишься — так разве что с краешка. Неуютно, ненадежно. Чуть что — вновь вылетел. И опять карабкайся, продирайся сквозь чащобы мытарств и лишений.

Что ж... у бездомного какая доля?

Вот и исхлестали нас нещадно ливни истории, истрепали метели беспутной политики, истолкли ветры судьбы превратной.

Так и остались на меже — не «здесь» и не «там».

Здесь — нельзя, там — невозможно.

Здесь мы — «свой» немец, «наш», «русский», «российский», хотя, бывало, и «гадины тыла», «внутренний враг», «инородец», «немец-перец, колбаса», «вражеская нация», «шпион», «диверсант», «спецпереселенец», «фриц», «фашист»; а там — то «хаймкерер», то «шпэтхаймкерер», то «аусзидлер», то «шпэтаусзидлер», то и вовсе «фремде», то «русский», то «иван».

Странно: в России «русский немец» чаще всего — «фриц», в Германии — «иван».

Все перепуталось. Не разберешься. А все из-за того, что выпали из истории, как желтоклювый птенец из гнезда.

1993

ОТЦОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

Вечерами, после трудового дня и бесконечных житейских хлопот, отец наш по обыкновению устраивался в уголке крохотного зальчика своего дома в Ташкенте и, сидя за круглым столиком, часами что-то сосредоточенно строчил своим корявым, размашистым почерком в потрепанные, пожелтевшие от времени амбарные книги или клеенчатые общие тетради. Мы, его дети и внуки, располагались поудобнее на громадном, горбатом и расшатанном диване перед старым, подслеповатым телевизором, задыхались от азийской летней духоты, переговаривались, комментировали происходящее, а отец, рассеянно косясь на нас, иногда поглядывая на дергающийся, плывущий телеэкран, все писал и писал, хмуря белесые брови.

«Толстой», – хихикала одна из внучек.

«Пимен», – басил старший внук.

О чем же писал наш отец? Видно, о том, как ему хорошо среди детей и внуков, съезжавшихся отовсюду к нему в летнюю пору, о том, как прошел день, что сделано, что произошло в Байсунском тупике, в махалле, в усадьбе, на базаре «Рисовом», сколько стоит птичий корм на Алайском базаре, кто позвонил, от кого из родственников пришло письмо. Да мало ли о чем может писать деятельный, неугомонный, неравнодушный человек, каким был наш отец до глубокой старости (скончался он на 94 году жизни)?

Исписал отец таких тетрадей немало. Одну из них, плотно исписанную скверной шариковой ручкой крупным, спотыкливым почерком с обоих сторон, вместе с отцовским документами, бережно сохраненными с конца 20-х годов прошлого теперь века, прислала мне сестра Альма.

Полистал отцовскую тетрадь – разволновался, будто с живым отцом поговорил. В тетради я нашел поименно всех наших родственников разных поколений, близких и отдаленных, смешанных кровей, обитающих во всех уголках бывшего Советского Союза и Германии, живых и мертвых. Указаны их даты рождения и смерти, более того, все расписаны по месяцам рождения со сведениями, кто, откуда и кому кем приходится. В тетради встречаются и дневниковые записи, списки партийцев махалли, адреса подписчиков на немецкие газеты, стишки на русском и немецком, факты из истории русских революций и партии

большевиков, о немцах России, какие-то воспоминания. Все, о чем писал отец, мне известно или знакомо. И большинство родственников я знаю. А вот отцовские внуки, правнуки и праправнуки обо всем этом не знают, не ведают. И это меня печалит. Смерть еще не конец, – утверждают древние. Верно. Конец – это забвение.

Перескажу несколько фрагментов из этой тетради.

Дедушка Фридрих

Дедушку своего по отцовской линии – Фридриха Генриховича Бельгера – мне видеть не довелось. Он умер в голодном 1921 году, когда моему отцу было всего 12 лет. А родился дедушка 6 июля 1861 года в селе Мангейм Ново-Узеньского уезда Самарской губернии. Он был шестым ребенком бедняка Генриха (Хайнриха) Бельгера. У того было восемь детей, а в хозяйстве – две лошади и одна корова. Чтобы как-то удержаться на плаву, приходилось батрачить. В 1884 году дедушка Фридрих был призван в царскую армию. Он был еще холост. У меня сохранился его «Послужной лист» того времени. И еще военный билет, датированный 1890-м годом. В армии гроссфатер прослужил 6 лет, а в 1892 году женился на Марии-Элизабет Зельцер. Ее-то я помню и даже запечатлен с ней на фотографии.

Жили бедно. Пришлось дедушке и бабушке наняться к богачу-односельчанину Руди. Бабушка получала 5 копеек в день, дедушка – 10 копеек. Через год они были в состоянии купить козу, и, передав ее в общее хозяйство семьи, сами снова нанялись к помещику Раушенбаху за те же 5–10 копеек в день. Три года спустя молодые приобрели лошадь (о, какое это было событие!), дойную козу променяли на теленка, потом пять коз – на одра, и вскоре на их подворьи оказались две лошади и одна корова. Пошли дети: Хайнрих (1893), Вильгельм (1895), Фридрих (1897), Эмилия (1905), Гермина (1907), Карл (1909), Христьян (1913). Где тонко, там и рвется. В 1899 году одна лошадь пала, и дедушке Фридриху пришлось снова батрачить у Раушенбаха за 95 рублей в год. Это позволило купить ему вторую лошадь и снова заняться своим хозяйством.

Но выбраться из нищеты так и не удалось. В 1921 году на Волге был голодомор. Вымирали целыми деревнями. Ели сусликов, кошек, собак, воробьев и ворон. В отчая-

нии дедушка зарезал лошадь. Немцы конину не едят. Но что было делать? Семья выжила, а дедушка наотрез отказался есть мясо лошади. И умер с голоду. Было ему 60.

Таковы голые факты сурового бытия моих совсем недалеких по времени предков.

«Умер по дороге домой»

Все отцовы братья, племянники и зятья прошли через трудармию. Многие там и погибли. Мои знакомые – русские, казахи, узбеки – нередко говорят: «И наш отец был в трудармии». Понимаю: и им было несладко. Но это были все же разные трудармии. Немцев держали за колючей проволокой, под конвоем, травили собаками, морили голодом, постоянно угнетали, оскорбляли, унижали, гнали на самую тяжелую работу. Это был в сущности концлагерь с открытой установкой на истребление советских немцев (так тогда говорили) в возрасте от 17 до 49 лет. Знаю людей, которым довелось быть и в фашистском, и в большевистском концлагерях. Они свидетельствуют: советский был более жестокий и свирепый, садистско-изощренный.

Известно: около трети всех российских немцев было перемолото, истреблено при депортации, в трудармии и в ссылке.

Из всех братьев отца уцелел самый младший – Христьян. Но что значит уцелел? Он просто-напросто был списан как безнадежный «доходяга» и отправлен домой к месту ссылки. Он уже ничего не мог: даже убирать в казарме, даже чистить картошку в лагерной кухне. Предельная форма истощения – дистрофии.

Их было трое, списанных немцев-трудармейцев. Истощенные, изнуренные, оборванные, голодные, еле-еле живые. Уже за Новосибирском на каком-то полустанке они, терзаемые голодом, выбрались из вагона в надежде раздобыть в ближайшем поселке хотя бы мерзлую картошку, держались друг за дружку, чтобы только не упасть, трое молодых мужчин долго стояли на пронизывающем, холодном ветру, озираясь вокруг. Вдали виднелась деревня. Решили направиться туда. Мир ведь не без добрых людей. Авось что-нибудь перепадет. Пошли. Но через несколько шагов дядя Христьян рухнул. Только и сказал: «Ich kann nicht mehr». Сил больше не было. Как быть? Посовещались дистрофики и решили: Христьян будет ле-

жать в канаве возле железнодорожной насыпи, а двое, раздобыв что-нибудь поесть, вернутся за ним.

Христьян ничего не ответил.

На исходе дня двое вернулись с несколькими картофелинами и куском жмыха в кармане.

Христьян был мертв. Рядом гуртились вороны.

Обложили его камнями, засыпали листьями, хворостом, жухлой травой.

Шел 1944 год. Христьяну было 31.

Я знавал его еще до войны. Он был очень похож на моего отца: высокий, поджарый, длинноносый, белобрысый. Сохранилась фотография, на которой мы трое запечатлены на траве в летнюю пору за околицей Мангейма.

Христьян в моем романе «Дом скитальца» и Карл Ворм в романе «Туюк су» в немалой степени списаны с него.

«Умер по дороге домой», – лаконично записал отец в своей тетради, указав дату рождения и год смерти младшего брата.

А я по рассказам родителей и двоюродных сестер поведал, как он умер.

Роза

Самой младшей из моих сестер Розе было 29 лет, когда врачи вынесли диагноз: лейкемия. Другой сестре, Альме, работавшей хирургической сестрой в военном госпитале, врач доверительно сказал: «При хорошем лечении и уходе протянет лет шесть».

Мы, родители, сестры, брат, муж, сноха, были в шоке. Как? Почему? С какой стати? Самая молодая, самая, казалось благополучная и здоровая из всех нас. Откуда такое лихо?!

Борьба со смертью продолжалась изо дня в день действительно долгих шесть лет. Было предпринято все: и дорогие лекарства, и усиленное питание, и регулярное переливание крови, и внимание и забота. Утром, просыпаясь, спрашивали друг друга: «Как Роза?» Ложились спать, думали о том же. Роза, угасая, держалась мужественно и благородно. Заботилась о муже и детях. Была внимательна, чутка ко всем. Не сетовала на судьбу. Не паниковала, не закатывала истерик. Только улыбалась тихо и виновато. Да в глазах поселилась печаль

Письма, которые я получал от отца, становились все тревожней. Мать по телефону сообщала: «Es ist alles traurig».

Вскоре отец написал: «Роза передает привет, но сама писать уже не может».

И вот написал роковой день – 18 декабря 1985 года. Звонок от Альмы: «Роза проводила детей в школу и тихо умерла».

Я обмер. И уже через несколько часов мы с Раей прибыли в Ташкент.

За несколько дней до кончины Роза спрашивала обо мне: «Когда прилетит Гера?» А я собирался лететь числа 22–23-го декабря ко дню рождения мамы. Не суждено было свидеться напоследок.

Отец в своей тетради подробно описывает тот скорбный день и похороны.

Оказывается, 18-го декабря утром он спешил в райком на дежурство. По пути намеревался зайти к умирающей дочери, благо ее дом находился рядом в нескольких шагах, но встретив возле калитки спокойную и, как всегда, аккуратно одетую внучку Таню, дочь Розы, поздоровался с ней и вспомнил, что опаздывает на автобус, и решил, что ничего страшного день не сулит, зайдет завтра, после смены. Он приехал в райком, принял дежурство, и тут ему позвонили, сообщив, что скончалась дочь. Отца тотчас привезли назад, и он, поплакав, включился в похоронные хлопоты.

Похоронили Розу ясным солнечным днем 20 декабря 1985 года. Оплакивала Розу вся округа. Ранняя смерть потрясла всех.

А на другой день, в субботу 21-го, пошел дождь со снегом.

Упокоили Розу на ташкентском кладбище Домбрабад. Через девять лет рядом легла мама, а еще через восемь лет – отец. Так они и покоятся рядом на узбекской земле. И рядком под кущей деревьев выстроились три памятника-стояка с выбитыми на граните и мраморе портретами и надписями. Мир их праху!

А остальным членам этой дружной, сплоченной семьи Бельгеров, должно быть, суждено обрести вечный покой в разных землях – в Казахстане, России, Германии. Сказано: «Jeder stirbt für sich allein» – каждый умирает в одиночку.

Между жизнью и смертью

Так озаглавил свою запись отец от 19 июля 1990 года. Видно, он был чем-то озабочен или расстроен. Почув-

ствовал себя одиноким и ненужным. И в поисках утешения 81-летний старик отправился один на кладбище Домбрабад проведать могилу дочери. А путь неблизкий: надо долго ходить пешком вдоль захламленной Карасу, потом ехать на метро с переходом, потом на автобусе и опять пешком под ташкентским пеклом.

На кладбище тишина. В густых зарослях тополей, карагачей и жимолости белеют надмогильные памятники. Гудят разморенные шмели. Порхают сонные бабочки. Щебечут птички. Отец натаскал из бака воды, обмыл гранитовый стояк с портретом Розы, смел с плиты пожухлые листья, убрал засохшие цветы, посидел на лавочке у железного столика, предался своим неутешным мыслям и заплакал.

Долго он сидел, долго. Утешал себя: не плачь, деда... Песня твоя спета... скоро и ты переселишься сюда... Молодым жить, тебе лежать здесь... таков извечный закон бытия...

Да, он устал. Не от жизни. Не от слабости или хворостей. От ощущения своей ненужности. Странно: жизнь обходится без него. Он всегда всем и всюду был нужен. А теперь вроде как лишний. Даже внук Артур выходит из его опеки. Нет ничего страшнее одиночества.

Никогда так плохо отец себя не чувствовал. Солнце стояло высоко и нещадно палило. Небо выгорело. А здесь было прохладно. Дул ветерок. Густая тень легла на могилы вокруг. Издали приглушенно доносился гул города. Отец все вспоминал свою долгую жизнь. И ему казалось, что горя в ней было слишком много, а радостей — совсем мало. Не было утешения. И домой не хотелось. У всех домочадцев свои заботы-хлопоты, а до него никому нет дела. Никому... Он одинок и ненужен. Отработал свое. Только о смерти и осталось думать. Сидел, сидел, сидел отец один-одинешенек на кладбище, думал свои безотрадные думы.

Вдруг взгляд его упал на портрет дочери, выбитый на коричневом граните. Роза смотрела строго и скорбно. Отец явственно услышал ее голос:

«Папа, иди домой!»

И он вдруг вспомнил, что сегодня ведь день рождения внучки Тани, дочери Розы. Внучке исполнилось 19 лет. Барышня! И, конечно, ее день рождения отметят пышно. Уж бабушка, тетушки, соседи постараются.

Вспомнилось отцу, как в этот день Роза, с утра тор-

жественная, нарядная, покупала дочке цветы и как все радовались, суетились, готовили подарки. О детях своих Роза заботилась всегда особенно. Они были всегда ухожены, чисто одеты, опрятны.

Значит, и сегодня на подворье Байсунской будет оживленно, радостно. А он здесь, на кладбище, в одиночестве предается горьким думам и оплакивает свою жизнь.

«Папа, иди домой!»

Отец поехал домой, купив по пути подарок для Тани. Во дворе во всю мощь звучала музыка. Под виноградником был накрыт праздничный стол. Вдоль ограды чинно сидели гости. Все нарядные, веселые. Взад-вперед шмыгала по двору возбужденная молодежь. С карниза крыши за всем этим наблюдала любопытная Мурка. Из-за калитки внимательно следил за каждым умный Рекс. Отчаянно ворковали голуби. Жизнь!

Отец сходу включился в веселую суету. Первым произнес речь, прочитал по случаю стишок собственного изготовления, преподнес подарок, вспомнил Розу и подробности того дня, когда внучка увидела свет, поблагодарил домочадцев и соседей за живое участие в семейном торжестве и ни слова не сказал о том, что был на кладбище и о том, что он там передумал.

Он радовался жизни. И никто не догадался о том, что с утра творилось в его душе.

А когда лег, снова нахлынула печаль. И слезы невольно навернулись на глаза. Свое смутное душевное состояние отец потом определил в тетради — между жизнью и смертью.

Вальс «Мой старый друг»

Отец иногда сочинял музыку — вальсы, польки, песенки, марши — для скрипки и мандолины. Придумывал аккомпанемент для балалайки, гитары. К музыке своей писал слова — на русском, на немецком — неуклюжие, наивные, не очень-то и грамотные. Заставлял внуков заучивать их. Они посмеивались над нелепыми стишками и быстро их забывали. Чувствовали подспудно, что русский текст звучит с сильным немецким акцентом. Назывались отцовские музыкальные изделия серьезно: совхозная полька «Теренсай», «Вовкин вальс», «Вальс Тани», «Песенка Артура». Авторство отец охранял бдительно: «Слова и музыка Карла Бельгера». Что-то из отцовского реперту-

ара в школьные и студенческие годы я записывал цифровыми нотами. Многое забыл. А мелодию вальса «Ку-ка-ре-ку» я запомнил. Очень простенькая, но ритмичная. Слова были нелепые (что-то вроде «Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку! Поет петушок на дворе по утру»). По просьбе отца я их отредактировал, но мою редакцию отец не принял. На мелодию удивительно ложились некрасовские стихи:

Однажды в студеную зимнюю пору
Я из лесу вышел, был сильный мороз...

Раз-два-три... Раз-два-три... В темпе вальса. Отец, бывало, самозабвенно играл свой вальс на скрипке, отбивал такт левой ногой, резко, точно шпагу, выбрасывал смычок в сторону внуков, приглашал петь, а я в шутку продолжал:

– Смотрю: поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.

Отец недоуменно хлопал белесыми ресницами, непонимающе глядел на меня, дескать, что за слова, откуда, у меня ведь не так, причем тут лошадка, когда вальс о петушке. И, поправляя меня, высоким голосом пел: «Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!», а я тут же подхватывал:

– «Здорово, парнишка!» «Ступай себе мимо!»
«Уж больно ты грозен, как я погляжу».

Внуки смеялись. Никто стихов Некрасова не знал, и было чудно слышать известный в семье отцовский вальс на незнакомые слова. Видно, племянникам показалось, что я их придумал на ходу. И надо же – так ладно, так складно.

«Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-ре-ку!», – настаивал отец. Ему казалось, что я непочтительно смеюсь над его сочинением. А я в такт музыки озорно продолжал:

– «Откуда дровишки?» «Из лесу, вестимо.
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу.

В конце концов всем становилось весело и от отцовской мелодии, и от моего пения на незнакомые слова, которые запоминались легче, чем отцовский вымученный текст.

И вот в тетради отца я нашел слова к вальсу «Мой старый друг». Этот вальс отец сочинил на склоне лет и отнесся к нему очень серьезно. Когда по моему сценарию в Ташкенте режиссер Галина Огурная сняла документальный фильм «Байсунский тупик», отец исполнил перед камерой фрагмент из этого своего сочинения. Музыку я так и не запомнил, а слова были – что называется – ни в какие ворота. Не стихи и не проза – неуклюжий набор слов. Но замысел, идея были прекрасны. Отец пытался в форме обращения к своему старому другу – Ивану (Иоганну) Давидовичу Ворму. Вот содержание вальса в прозаическом пересказе.

...«Кто он, Иван Давидович?» – спросил меня мой внук. Послушайте: о нем я вам спою.

...Вспомни, мой друг, как в детстве мы играли. Игрушки из рук друг друга вырывали. О, как давно это было! И было это прекрасно!

...А в 20-ые годы мы с тобой вступили в комсомол. Ты удачником был во всем. Лучше тебя никто не играл в футбол в Мангейме. И это тоже было хорошее время!

...А в 29-м мы вместе с другими организовали колхоз. Мы учили молодежь труду и справедливости. Наш девиз был: «Комсомольцы, вперед!» И тот импульс остался навсегда.

...в 31-м нас с тобой приняли кандидатами в партию и отправили учиться в большие города. Это были наши лучшие годы. Я семь лет служил в РККА!

...В конце 30-х всех немцев отчислили из армии зараз. Зачем? Ответ был простой: «Обойдемся без вас». Многих посадили без следствия и суда. И, как выяснилось, навсегда.

...41-й год – начало войны. Советские немцы больше других пострадали, изгнанные из родных мест на неведомый срок. А оказалось, навсегда.

...Полвека мы с тобой, мой старый друг, прожили на чужбине. Прошли через изгнание, страдание, трудармию. Но на родине, на Волге, нет нам места. И тоже навсегда.

Такой вот вальс.

Скорее, баллада в ритме вальса. Или реквием.

Наивно?

Спорить не стану.

Но вальс отразил гнетущие думы и неизбывную боль отца, о которых он не любил распространяться, дабы не ранить психику детей и внуков.

Отец любил животных

В отцовской тетради я обнаружил песенку про черного кота. Был у нас такой умный, смышленый, озорной забияка-кот Васька. И песенка о нем напомнила мне про отношение отца к животным.

«Отец любил животных, пение птиц, музыку и спорт».

Так пишет моя сестра Альма Бельгер, ныне проживающая в Германии, о нашем отце. И это правда. Хочу это подтвердить конкретными примерами.

К животным отец проявлял особую заботу и ласку. И животные это чувствовали, тянулись к нему. В ауле говорили: «Апырай, Белгір малдың да тілін біледі», т.е. «Надо же, Бельгер и язык животных знает». Я всегда удивлялся этому свойству отца.

Ну, какой, к примеру, спрос от овцы, от барана? Говорят: тупой, как баран. Смотрит, как баран на новые ворота. Глупая овца. У отца овцы были умные, сообразительные. Каждая овца имела свою кличку, свой норов. Пригоняют вечером с выпаса отару. Боже, что творится в ауле! Дети, женщины выбегают навстречу, отделяют от отары своих овец. Крик, шум, гвалт, лай собак. Вселенский тарарам. Пыль столбом. Овцы мечутся, шарахаются, неистово блеют. Где свои, где чужие – не разберешь. Отец подходит к отаре и зовет:

– Лю-Ца-Фу! Лю-Ца-Фу!

И уже из отары выбираются три овцы, послушно тянут морды на знакомый зов, прицокивают к отцу, ластятся к нему, покорно трусят за ним, как на поводу домой. Каждая овца твердо запомнила свою кличку – Лю-Ца-Фу. И откуда только такие клички пришли отцу на ум?

...Пасется в степи за оврагом стадо коров. По пути в Коктерек мы с отцом проезжаем мимо.

– Марта! Марта! – громко кричит отец.

Наша корова вальяжно поднимает морду, изумленно смотрит на отца, как бы недоумевая, откуда, мол ты взялся и приветливо отзывается:

– Му-у-у! Му-ууу!

И даже делает несколько шагов навстречу.

В военные годы отец, обслуживая близлежащие казахские аулы, чаще всего ходил пешком. Позже колхоз выделил ему лошадь – замученную, задерганную, заезженную, костлявую, облезлую, сплошь в волдырях клячу. К тому же обозленную на людей и весь белый свет. Я ее

побаивался. Падал с нее не однажды. Сколько же отец с ней возился! Смазывал ее раны солидолом и зеленкой, расчесывал гриву и хвост, обтирал ее бока, усиленно кормил, водил ее под уздцы. И кляча-замухрышка вскоре преобразилась, округлилась, залоснилась, повеселела, запрядала ушами. В ауле удивлялись: «Бельгер — колдун».

А как любили отца собаки! На моей памяти их было несколько — Шарик, Волк, Малыш, Рекс... Все умные, послушные, услужливые, деликатные. Мне казалось, что они понимали и чувствовали больше и лучше людей. С овчаркой по кличке Волк отец разъезжал по аулам, бригадам, пионерским лагерям. Оказав необходимую медицинскую помощь, отец демонстрировал способности Волка, чем доставлял взрослым и детям особую радость. Волк безошибочно находил спрятанную вещь, ловил на бегу брошенную палку, мяч, нюхом определял, в чьем кармане лежит комочек притягательного курта, делал стойку, ходил на задних лапах, исполнял множество других команд на потеху собравшихся. Радовались и восторгались все: и зеваки, и отец, и сам Волк, чувствовавший себя артистом-любимцем. Сторожем и защитником он был надежным.

В Ташкенте у отца был Рекс. Более верного, преданного, умного и деликатного существа среди четвероногих мне видеть не приходилось. Рекс понимал все и всех. Беспрекословно выполнял каждое желание, поручение, волю отца. Стоило отцу только шевельнуть указательным пальцем в глубь сада, как Рекс мчался опрометью туда, и, вернувшись «докладывал»: все в порядке. Прикладывая палец к губам, отец показывал глазами на калитку. Рекс подбегал к воротам, вставал на задние лапы, внимательно смотрел в щель, замечал все, что происходит в тупике и, прибегая к отцу, успокоительно колотил хвостом о землю. Дескать, никакой тревоги.

Оставаясь на усадьбе один, отец и Рекс подолгу «беседовали». «Ну, что?» — спрашивал отец, и Рекс глазами показывал на ведро, подвешенное к потолку летней пристройки. В ведре хранились сухари. Рекс, получив пару сухарей, благодарно хрустел ими и опять смотрел на ведро. «Еще?» — спрашивал отец. «Не мешало бы», — смущенно подтверждал Рекс, облизываясь и сильно колотя хвостом. «Ладно. Получай еще. Но сначала осмотри сад». Рекс, ловко отшвыривая хлипкую калитку, обегал сад,

громко тявкал, разгонял голубей и прожорливых африканских скворцов.

Рекс осознавал все горестные события, происходившие в последние годы в отчем доме. Сначала ушла моя мать. Потом уехали в Германию сестра, племянник, племянница, зять. Двор почти опустел. Три года, после тяжелой болезни, не посещали родную усадьбу я и Рая, и Рекс всем своим чутким и добрым собачьим сердцем понял, что прежняя оживленная, душевная жизнь вокруг безвозвратно угасает. Но оставался отец, согбенный, удрученный горем хозяин Байсунского тупика, и это было единственным утешением. Двор обезлюдел. Все пришло в запустение. Добрый дух покинул усадьбу. Потом ушел и отец, и Рекс понял окончательно: жизнь лишилась смысла. Пес приуныл, ушел в тоску, одряхлел, ослеп, тыкался по двору, волоча обмякший хвост, неприкаянный, беспомощный, ненужный.

Осознав никчемность своего жалкого бытия, он однажды, воспользовавшись приоткрытой калиткой, ушел из дому, куда глаза глядят. Говорят: хорошие собаки, чувствуя неизбежное, уходят...

...Даже, казалось бы, безмозглые петухи у отца неузнаваемо преображались. «Петя, Петя, Петушок-дружок!» — ласково приговаривал, бывало, отец, и петух гордо вскидывал голову, косил глазом, распускал крылья, начинал выписывать, вычерчивать круги, пританцовывать, «петушиться», хорохориться, доверительно клевать из отцовских ладоней зерно, приглашая к пиршеству свой гарем.

Любовь отца к животным в какой-то мере передалась внуку его — Артуру. Он тоже в детстве вечно возился с собаками, кошкой, голубями, сорокой, вороной, морскими свинками, черепахами и даже ужом. Не знаю, сохранилась ли эта его черта в Германии, где он ныне обитает...

Любил отец цветы. И в ауле в палисаднике он трепетно ухаживал за цветами, и в Ташкенте во дворе, в саду всегда росли у него цветы.

Отец умел радоваться по-детски всему хорошему, доброму, искреннему. Особенно восхищался природой — везде и всюду.

Музыка сопровождала его всю жизнь. Еще в молодости, в Мангейме на Волге, он играл в струнных оркестрах, обожал «духовиков». Со скрипкой не расставался до глубокой старости. Дома у него всегда были балалайки, мандолины, скрипки, гитары, позже появились гармонь-двух-

рядка, аккордеон, кларнет, сам смастерил барабан, цимбалу, кастаньеты, еще какой-то странный инструмент-гибрид.

Свою любовь к музыке отец усиленно прививал и своим детям, внукам, но безуспешно, что его огорчало. Один я — и то до института — охотно музицировал с ним. В школе он долгие годы руководил струнным оркестром, выступал на фестивалях, был бессменным председателем родительского комитета.

Любил спорт. Семь лет служил в РККА (1931—1938), пристрастился ко многим видам спорта: в молодости грудь его украшали значки БГТО, ГТО первой степени, «Ворошиловский стрелок», парашютист, отменно бегал, прыгал, плавал, ходил на лыжах, обладал приемами классической и вольной борьбы, крутился на турнике. Этому учил и меня (пока я был здоров), и внуков. В 70 лет отец еще забавлялся пудовыми гирями и подтягивался на турнике. Никакого физического труда не чурался.

Большое внимание уделял физической закалке. Меня в школьные годы заставлял спать в холодной комнате, будил в 6 часов утра, до занятий мы ежедневно час пилили дрова, не позволял хныкать или кваситься. К мальчикам он бывал особенно строг и требователен, загонял их в жесткий режим. К девочкам был снисходителен, но учил порядку и опрятности, аккуратности и исполнительности.

Об отце я писал много. В романе «Дом скитальца», в повестях и рассказах он фигурирует под разными именами. И, конечно, в иных художественных деталях он немного отличается от реального Папы Карла.

Если есть во мне что-то положительное, то тому я всецело обязан родителям, родному аулу и книгам. Это абсолютная правда.

2004

СОДЕРЖАНИЕ

Там, в долине.....5
Дождь со снегом.....74
Глухими зимними ночами.....111
Трудармейцы.....122
Кто такой БО-И-БО? 135
Боги не на земле обитают 142
В аул приехал комендант 147
Июль пятьдесят третьего 160
«Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце» 175
На сопках Маньчжурии 188
И пробил горький час прощания 200
В гостях 220
Байсунская, 59 235
Рыжий Рысбек из аула Кастек 262
Миниатюры 282
Импульсы 333
Отцовская тетрадь.....346

Художественное издание

Бельгер Герольд Карлович

ДОЖДЬ СО СНЕГОМ

Рассказы и миниатюры

(на русском языке)

Редактор *Н. Жиенгалиев*
Художник *А. Искаков*
Художественный редактор *Е. Тумабеков*
Технический редактор *О. Рысалиева*
Корректор *И. Кротов*

ИБ № 031

Сдано в набор 20.03.2005. Подписано в печать 29.04.2005.
Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 18,9. Уч.-изд. л. 19,79. Тираж 3000. Заказ № 1821.

Издательство «Атамура», 050000, г. Алматы, пр. Абылай хана, 75.

Полиграфкомбинат ТОО «Корпорация «Атамура»
Республики Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. М. Макатаева, 41.

6407 ав



В эту книгу известного казахстанского прозаика, переводчика, публициста и эссеиста Герольда Бельгера вошли его рассказы и миниатюры, опубликованные в разные годы в периодической печати. Драматическая история российских немцев, неожиданные пересечения людских судеб, сложные человеческие отношения в экстремальных условиях, мучительные размышления о родине, о месте человека на земле, о долге перед народом и Временем – таковы основные темы, затрагиваемые на конкретных и реальных примерах писателем, чьи гуманистические воззрения зиждятся на общечеловеческих ценностях.